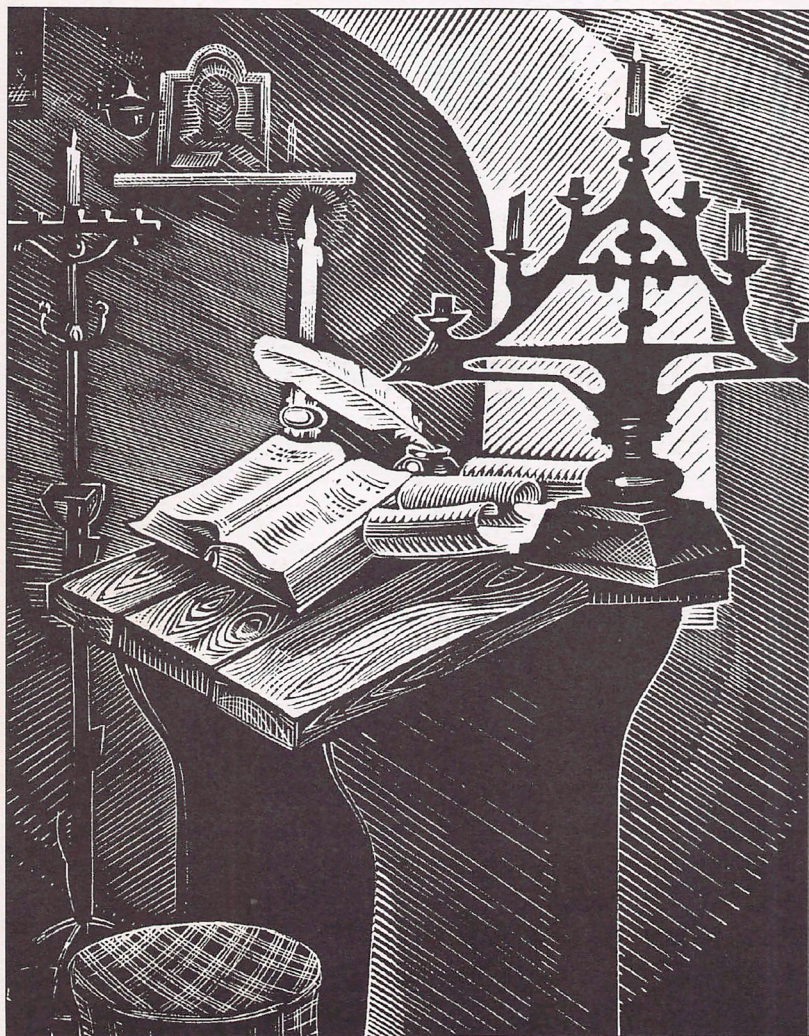


Родная РЕЧЬ

LITERARISCHE
ZEITSCHRIFT
«RODNAJA RETSCH»



Verlag
ИЗДАТЕЛЬСТВО



**ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
ГЕРМАНИИ**

Родная
РЕЧЬ

**LITERARISCHE
ZEITSCHRIFT**

**«*RODNAJA
RETSCH*»**

2/98

Главный редактор: Владимир МАРЬИН

Заместитель главного редактора:

Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ

Редколлегия: Вальдемар ВЕБЕР,

Михаил ГОРОДИНСКИЙ,

Даниил ЧКОНЯ

Оформление: Валентин ВАСИЛЬЕВ

Набор: Элла БЕСПАЛОВА

Компьютерная вёрстка: Диана БЕЛИЛОВСКАЯ,

Вера ШТАЙН

Корректор: Нина ТАФТ

Chefredakteur: Wladimir MARJIN

Stell. Chefredakteur: Olga BESCHENKOVSKAJA

Redaktion: Waldemar WEBER,

Michael GORODINSKI,

Daniil TCHKONIA

Design: Walentin WASILJEW

Satz: Ella BESPALOWA

Layout: Diana BELILOWSKI, Vera STEIN

Korrektur: Nina TAFT

Verlag «Infoblatt Kontakt GmbH», Postfach 3406, 30034 Hannover.

Druck: KEMA, Stettin, Polen. Erstauflage 2000 Ex. Erscheinungsweise vierteljährlich.

Unverlangt zugesandte Manuskripte werden weder rezensiert noch zurückgeschickt.

Родная

2/98 РЕЧЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ..... 3

ПРОЗА

Михаил Городинский. НОВАЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ.
(Стриптиз в г. Клопове) 5

Юрий Кудлач. КАТАСТРОФА. Рассказ 12

Сергей Афанасьев. ГОСТЬ СТОЛИЦЫ. Путевые заметки 22

ФАНТАСТИКА

Борис Майнаев. ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО. Рассказ 35

ПОЭЗИЯ

Даниил Чкония. Я СТОЮ В СЕРЕДИНЕ ЕВРОПЫ
С АЗИАТСКОЙ ТОСКОЮ В ГЛАЗАХ... Стихи 42

Вальдемар Вебер. ВЗОЙДЁТ ДУША, ВЕНЧАЯ ХРАМ... Стихи 44

БОС – БИБЛИОТЕЧКА ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Лидия Розин. Я/МЫ 47

Владимир Вайнштейн. СУББОТА. 21 ИЮНЯ 1941 ГОДА 48

Елена Верник. РАЗМЫТЫЕ ЗВУКИ 48

Сергей Дель. РЕЧКА РЕЙН 48

Марк Хабинский. ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТРОПА 49

Генрих Сименс. ОСЕНЬ 49

КНИЖНАЯ ГРАФИКА

Гравюры Геннадия Елифанова	50
Экслибрисы Владимира Марьина	116
Гравюры Георгия Малакова	228

ТЕАТР ОДНОГО... ДРАМАТУРГА

Борис Рацер. РУССКИЙ МЕДВЕДЬ. Комедия	52
---	----

СЛОВО СЛАВИСТА

Вольфганг Казак. БЛАГОДАРСТВЕННАЯ РЕЧЬ В СВЯЗИ С ПРИСВОЕНИЕМ ТИТУЛА ПОЧЁТНОГО ДОКТОРА ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО В МОСКВЕ	82
--	----

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Лазарь Марков. КРАСКИ И ОБРАЗЫ. К 100-летию юбилею Эриха Кестнера. Переводы	91
--	----

КАБИНЕТ МЕМУАРОВ

Владимир Батшев. СИНЯВСКИЙ	99
Эдуард Бернгард. ЗАСТЫВШИЙ ГРУСТНЫЙ МАЖОР	102

ПИЛИГРИ-МЫ

Ольга Бешенковская. VIENWASEN 22. История с географией, или Дневник сердитого эмигранта	118
--	-----

САЛОН «АВС»

Лариса Мирчевская. ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ. Рассказ.....	210
---	-----

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Анна Сохрина. САПОГИ ОТ ЖВАНЕЦКОГО	214
Исай Шпицер. НЕДАЛЕКО ОТ ЭСТРАДЫ	219
Илья Фридман. ВОР	221

НОВЫЕ РУССКИЕ... СКАЗКИ

Борис Немировский. УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА.....	225
---	-----

МЫ И ВОКРУГ

Григорий Крошин. ИРОНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ	230
АНКЕТА ДЛЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В ГЕРМАНИИ	234
АВТОРЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ	235
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА	240

*У лукоморья дуб зелёный...
Он над пучиною солёной
Певцом посажен при луке,
Растёт в молве укоренённый,
Укоренённый в языке.*

*И небылица бьёю станет,
Коли певец её помянет,
Коль имя ей сумел наречь.
Отступит море, — дуб не вянет,
Пока жива родная речь.*

Вячеслав ИВАНОВ

Из «Римского дневника 1944 года».

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

**Глубокоуважаемые дамы и господа!
Дорогие коллеги!
Любезные нашему сердцу читатели!**

Вы держите в руках вторую книжку «Родной речи». Вы уже начали привыкать к своему журналу и с удивлением вспоминаете то недавнее время, когда его у нас с вами еще не было...

Такова жизнь, и ее короткое счастье — в нашей забывчивости... Но настоящее, большое и трудное счастье — всё-таки в неизбывной памяти, горькой и светлой, как обжигающий до самого нутра глоток, как те правдивые страницы повестей и стихов, которые посвящены нашей печальной Родине...

Нет, наверное, нужды повторять:

что редакция чужда какого-либо национализма, что наши друзья — все те, кто исповедует русский язык как родную речь, Слово — как религию...;

что мы не ограничиваем широкое и вольное русло «Родной речи» узкими берегами какого-то однообразно скучного или же, наоборот, слишком «крутого» (в том числе, и в «ультрасовременном» значении этого термина...) литературного «изма»;

что мы признаем единственный критерий в литературе, и этот критерий — талант автора, в каком бы жанре и направлении он ни работал.

Думаем, что вы во всём этом убедились, ознакомившись с первым нашим (вашим) выпуском, ибо наша задача — помочь русским писателям и читателям Германии найти друг друга.

Кстати, заметили ли вы, что у нас нет так называемых «свадебных генералов», без которых сегодня обходится редкое литературное издание... Мы не берем напрокат нашумевшие имена, не соблазняем читателя модными (часто — на один сезон...) авторами, не пытаемся незаслуженно приобщиться к наследию Нобелевских и других лауреатов...

«Родная речь» — это журнал для всех тех, кто безгранично любит русскую литературу и выражает в ней себя на достойном, с нашей точки зрения, уровне. Мы не заигрываем ни с какими литературными и читательскими кругами, мы просто стараемся честно и квалифицированно делать то, что в наших силах. Мы исходим из того, что открыть для себя нового талантливого автора, — это доставит и вам, и нам большую радость, чем очередная перепечатка из некогда почитаемого и сейчас, увы, почти не читаемого...

Мы строим из того, что имеем...

Разумеется, мы понимаем, что вы, наши авторы и читатели, волею обстоятельств оторваны (и с болью) от толстых журналов, издающихся в России. Хотим обрадовать: для начала у нас уже есть договоренность с «Октябрем» в Москве и с «Невой» в Санкт-Петербурге об обмене наиболее интересными материалами.

Мы поддерживаем также творческие и научные связи с кафедрой классической филологии Санкт-Петербургского государственного университета, куда передаем уже обработанные редакцией авторские анкеты. А в университете города Потсдама на основании наших анкет уже сейчас ведется научная работа, посвященная жизни и творчеству русских писателей, проживающих в Германии. С ее результатами мы в недалеком будущем вас ознакомим.

В этом же, втором выпуске журнала «Родная речь», нашим уважаемым гостем является профессор кельнского университета, создатель самой полной и авторитетной в мире энциклопедии русской литературы XX века, доктор Вольфганг Казак. Редакция сердечно поздравляет господина Казака с заслуженной наградой — званием Почетного доктора московского Литературного института и публикует с любезного разрешения виновника торжества его ответную речь.

Что еще нужно сказать об этом выпуске?

Здесь, под уже знакомыми и, надеемся, полюбившимися вам рубриками широко представлено, в том числе, и творчество членов редакции нашего журнала. Мы бы повременили с самопредставлением, как не спешили обнародовать свои произведения в первом номере, ибо создавали журнал не для себя, а, в первую очередь, — для вас. Но читателям, оторванным от современного литературного процесса (писатели нас знают) интересно, как говорится, «а судьи — кто?»... Разрешите представиться...

Главный редактор журнала «Родная речь» — Владимир Марьин, художник-график и журналист с большим сибирским опытом. Он же — редактор газеты «Контакт» (Томск — Ганновер).

Заместитель главного редактора журнала «Родная речь» — Ольга Бешенковская, известный поэт, эссеист, а также журналист с прерванным по инициативе КГБ стажем в работе. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза немецких писателей, член Союзов журналистов России и Германии (Санкт-Петербург — Штутгарт).

Члены редколлегии:

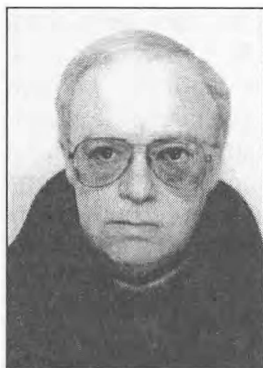
Вальдемар Вебер, поэт, известный переводчик современной немецкой поэзии, главный редактор «Deutsche—Russische Zeitung» (Кемеровская область — Москва — Мюнхен);

Михаил Городинский, известный писатель, автор одного из самых популярных в русском зарубежье произведений «Записки нового европейца» (Санкт-Петербург — Аахен);

Даниил Чкония, поэт, член Союза писателей Москвы, литературный консультант по призванию и с многолетним опытом, редактор литературного приложения к газете «Ведомости» (Москва — Кельн).

Словом, просим любить и жаловать, если, конечно, заслужим, и не только нас, но и всех остальных участников этого выпуска, среди которых и известный драматург Борис Рацер, чья новая пьеса «Старые русские» с успехом прошла премьеру на родине, в санкт-петербургском Пушкинском театре, и грустный сатирик, уже популярный в Германии Григорий Крошин (Киев — Дюссельдорф), и прошедший трудную жизнь ленинградский диссидент, теперь живущий во Франкфурте писатель Владимир Батшев, и многие другие, кого вы уже знаете и с кем встретитесь впервые на этих страницах.

Итак, приятного петита и других шрифтов на новом празднике «Родной речи»!



Михаил ГОРОДИНСКИЙ

Аахен

НОВАЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ

(СТРИПТИЗ В Г. КЛОПОВЕ)

*«Однажды зимним вечером,
В борделе на Мещанской...»*

А.С.Пушкин, «Тень Баркова»

Клопов — городок небольшой, грязненький и жутко обшарпанный. Как сотни таких вот провинциальных городков и городишек, похож он на усталую и живущую из последних сил нищенку, от которой сбежала родня куда подальше в поисках счастья, да тоже ничего не нашла.

Но всюду люди живут. Жили вот и в Клопове и, как людям свойственно, любили свой городок. Любили улицу Карла Маркса, любили пересекавшую её улицу Хо Ши Мина, любили площадь Ленина с памятником вождю. Был, кстати, клоповский Ильич небольшой, ладненький, никому не мешал — стоял себе в окружении голубков, которые пачкали его давно, но без всякого злорадства.

Конечно, тут может возникнуть очень неприятный, даже болезненный вопрос: а как же совмещалась любовь клоповчан к родному городу с полным отсутствием потребности хоть немного свои пенаты обустроить? Осушить, например, для начала громадную лужу на углу Хо Ши Мина и Чернышевского, образовавшуюся еще при Булганине, или немножко соскрести с того же вождя птичьей осадки? Ответов много. Но и то правда, что любить чистенького и помытого способен любой, а вот вконец засиженного и с отбитым ухом...

Ни о какой перестройке никто в Клопове не помышлял. Если к тому времени ещё и была у людей какая-то светлая мечта, так это чтобы арестовали коллектив центрального гастронома, нагло расхищавший почти всю поступавшую в город вареную колбасу. И потому, когда замелькал на экранах телевизоров товарищ Горбачёв, делая народам мира ручкой, подумали доверчивые клоповчане: вот теперь-то, когда наступило новое мышление, коллектив центрального гастронома обязательно арестуют. Толстую заведующую Земфиру Николаевну и злостную матерщинницу кассиршу Зинку казнят без суда прямо на площади, Василису из бакалеи навечно заточат в тюрьму, а одноглазого мясника Витьку посадят на кол. То есть, были за демократию.

Как раз в ту памятную весну восемьдесят пятого единственному сыну участкового милиционера Максимова стукнуло десять. Ничем таким особенным паренёк не отличался, кроме редкого имени — Лука, да недюжинной физической силы. Бывало, пока собирает мать на стол обед, начнут отец и сын бороться, выясняя, кто из них сильнее, и не может тренированный сержант Максимов одолеть Луку. Обед стынет, мать ругается, почти уже плачет, а они

так войдут в азарт, что и стол опрокинут, и мать, но не дает себя Лука положить на лопатки. Потом всё-таки перекусят и снова в бой, иногда до утра.

Тут надо сказать, что сержанта Максимова в Клопове любили. Любили за скромность, за тихий нрав, за то, что мыкается, как все хорошие люди, от получки до получки, а если уж иногда свистнет в свисток, слышно на всю улицу. И потому не случайно неумолимо надвигающуюся демократию многие видели в образе участкового. Видели, как на место бессовестных жуликов из центрального гастронома приходит сам Максимов с ещё тёплым наганом в руке, другой рукой сам взвешивает, сам выбивает чеки, сам разрубает тушу коровы, которую, понятно, сам и вырастил, сам запирает гастроном и сам же остается до утра его сторожить. Но вернемся к Луке, с которым связана эта история, — местами, может быть, и веселая, но в целом, к сожалению, довольно жуткая.

Так вот, если отца, в основном, любили, то Луку его сверстники почему-то натурально не переваривали. Любовь у нас означает жалость, а жалость ребятишкам никак не свойственна. Могли бы они, конечно, уважать Луку за силу, но в том-то и дело, что сила его была какая-то никчемная. Начнут ребятишки играть, измолотят друг дружку до полной неузнаваемости, а он, как неродной, стоит себе в сторонке и в играх не участвует. В общем, налицо замедленное развитие. Ребятишки давно на учете, двое уже в колонии, один — с ускоренным развитием — в тюрьме, а Лука так замедлился, что ещё ни разу никому и в морду не дал. Естественно, дразнят его всячески, а он себе молчит и как будто обиду не копит, или копит, но уж очень по-своему. Вероятно, от насмешек и издевательств происходили в его характере различные изменения. Через несколько лет именно об этом говорил на суде ведущий клоповский психиатр Безумцев. Безумцев, в частности, вспомнил следующий эпизод. Когда в четвертом классе Лука Максимов пришёл записываться в секцию вольной борьбы, тренер Усман Анварович, дружески улыбнувшись, сказал: «Ну-ка, богатырь, покажи, что умеешь!». Лука, чуток подумав, взял тренера в охапку и выкинул в окно спортивного зала. Безумцев был уверен: этот случай свидетельствует о давнем психическом заболевании юноши. Однако, судьи с ним не согласились, заявив под бурные аплодисменты публики, что выброс в окно тренера кавказской национальности доказывает обратное — Лука совершенно здоров и находился тогда в ясном уме.

Но вернемся к нашему рассказу. Всегда считалось, что в здешних краях ввиду недостатка солнечных лучей и витаминов половое созревание мальчиков и девочек происходит медленнее, чем где-нибудь в Италии или в Уганде. Однако, исследования, проведенные ведущим клоповским социологом Кусельманом, показали: по количеству абортс среди девочек наш Клопов не только вышел на первое место в регионе, но оставил далеко позади и жаркую Уганду, где население, как известно, круглый год ходит практически нагишом со всеми вытекающими из этого последствиями. Комментируя тревожные данные, а также порядком взбудоражившее город известие о том, что долгожданного пятидесятилетнего клоповчанина родила ученица пятого класса Вера Мазурок, социолог задавал интересный вопрос: а в каком классе родила бы Вера Мазурок, если бы в Клопове был тёплый климат и рацион питания рядовых жителей не состоял бы по преимуществу из картофеля в мундире?

Лука Максимов в тех исследованиях не фигурировал, но кое-что о его феноменальных физических особенностях в городе уже знали. Когда однажды на школьном медосмотре Лука мирно разделся до трусов, медсестра

Виктория Тихоновна сперва обомлела, а потом с ужасом, перекрывавшим естественное любопытство, закричала:

— Максимов, сейчас же прекрати хулиганить!

Лука не понимал, в чём дело.

— Максимов, если не прекратишь, позову директора!

Лука, ёжась от холода, продолжал смотреть на медсестру своими невинными глазами.

Ко всеобщему ликованию одноклассников, в особенности второгодника Васьки Сучкова, по прозвищу «Сучара», позвала Виктория Тихоновна не только директрису, но весь педагогический коллектив средней школы №4, целиком состоявший из женщин различных возрастов. Кто виноват, что Лука сильно разволновался, и это весьма усугубило открывшуюся педагогам картину? Почему хотели исключить из школы его, а не медсестру или директрису, еще ведь и потребовавшую от бедолаги немедленно вынуть и отдать ей то, что он туда засунул? Именно эти вопросы впоследствии задал на суде адвокат Макаркин, растрогав публику почти до слез. Эх, кабы нашлась в Клопове девчонка, способная на крохотный подвиг нежности! Кабы заметила Луку Нинка Федулова, в которую он влюбился вскоре после медосмотра! Пусть бы не влюбилась, а схитрила, знак подала: все путем, Лука, ничуть ты не хуже других, просто нет в тебе наглости и напора, живешь ты как будто во сне, а не в нашем Клопове, а вот сейчас поцелую... Гуляли бы они тогда весенними вечерами по Карла Маркса, сворачивали бы на Хо Ши Мина, взявшись за руки, обходили бы лужу, стояли у Ленина, кормя голубков. Но не нашлось такой души. Нинка Федулова, правда, после медосмотра на Луку поглядывала с интересом, но без нежности и даже без хитрости.

После восьмого класса пошел Лука Максимов в ПТУ №2 учиться на слесаря. К сожалению, клоповское ПТУ №2 при железнодорожном депо при всем желании и самом честном патриотизме никак нельзя назвать обителью просвещения. Никак. Помести в него для опыта какого-нибудь академика или нобелевского лауреата, и уже через месяцок вышел бы он оттуда совершенно понятным человеком, помнящим из всей сокровищницы мировой мысли лишь самое необходимое — наш всеобщий пароль: «бля!». Но вот Луке даже это давалось с трудом. Произносил, конечно, и не так уж редко, но всегда как-то торопливо, комочком, точно не по насущной душевной потребности, а лишь по неизбежной житейской надобности. Не обобщало его «бля» весь славный исторический опыт народа, страны, города, депо, ПТУ №2. Пил Лука примерно так же, и потому, радуясь, когда его не замечают, по-шпионски прилежно шуровал в углу напильником и зубилом.

А вокруг уже шли коренные перемены.

Во-первых, суровой зимой девяносто второго городу было возвращено его историческое имя — Клопов. Прежнее название — Дезинсектадьск — хоть и прикилось и тоже вызывало определенную гордость, но все же, услышав, как их называют «дорогими дезинсектадьцами» или «славными дезинсектадьками», люди частенько вздрагивали и начинали судорожно заглатывать воздух, точно в них слегка плеснули этим полезным, но ядовитым химическим продуктом.

Во-вторых, в марте того же года был ликвидирован городской комитет коммунистической партии. Все его сотрудники во главе с бывшим первым секретарем товарищем Мордатых были уволены. Вечером того же дня состоялось народное гуляние. Приодетые горожане высыпали на улицы, на площади играл духовой оркестр железнодорожного депо; ждали мороженого.

Коренные перемены свалились на головы, как падали иногда громадные сосульки, никто не знал, пролетит мимо или зашибет окончательно, но настроение все равно было приподнятое, может быть, от погоды. Какие-то смельчаки в штатском, которых в городе прежде не видели, громко плевали на здание бывшего горкома. Ночью Ленину отбили второе ухо, а на табличках с названием главной улицы рядом с фамилией Маркса появилось слово «жид», под которой кто-то из отважных демократов приписал: «сам ты жид». Разошелся народ глубокой ночью, а уже утром весь бывший горком в полном составе явился на новую работу в городскую мэрию, что расположилась в здании бывшего горкома. Мэром города стал господин Мордатых.

В-третьих, был приватизирован центральный гастроном. Владелец магазина стал его трудовой коллектив во главе с Земфирой Николаевной — она к тому времени так раздалась в поперечнике, что люди, вечно толпившиеся у входа в ожидании какой-нибудь пищи или ареста расхитителей, коротали время в спорах: пройдет сегодня Земфирка в дверь или, наконец, навсегда застрянет. Вообще, если фокус с горкомом, мигом оборотившемся мэрией, почти не тронул усталых сердец, то переход центрального гастронома в руки давнишних и лютых врагов быстро придушил и без того крайне робкий идеализм клоповчан, подумавших было, что демократия — это справедливость.

Из перемен прочих следует сказать о появлении в киоске «Союзпечати» на центральной площади романа Б.Пастернака «Доктор Живаго». Чтобы привлечь покупателей, пенсионерка-киоскерша снабдила книгу самодельной аннотацией, где написала, будто этот доктор — гинеколог. Уловка не прошла, книгу все равно не покупали, хотя вскоре киоскерша сделала приписку: дескать, главный герой не только гинеколог, но еще венеролог и сексуальный маньяк. Обмануть клоповчан все равно не удалось. Однако, факт появления в городе такого всемирно известного шедевра не мог не радовать. Он опровергал утверждения наших бывших мракобесов-идеологов, будто такая литература народу не нужна. Нужна, и пусть лежит. И, наконец, зимой девяносто второго в Клопове открылся ночной бар со стриптизом, который имеет к нашему рассказу самое прямое отношение.

Ночной бар «Сказки Шехерезады» уютно обосновался в бывшем подвале по улице Поручика Голицына — ещё недавно Пограничника Дзюбы. Владелец бара был господин Тараканов. Появился он в городе пару месяцев назад, но уже приобрел немалую известность. Тараканов дал денег на восстановление единственной в Клопове церкви, где долгие годы помещалась артель «Красный инвалид». Каждому из потерявших работу двенадцати инвалидов он выдал в качестве компенсации по пять тысяч рублей, сникерсу и памперсу, правда, одному на двоих. Он же открыл фирменный магазин «Ароматы Парижа», и любая клоповчанка могла теперь купить или, в крайнем случае, понюхать настоящие французские духи, а любой клоповчанин приобрести одеколон «Три Дюма» — и недорого, и, главное, продававшийся в бутылках емкостью 0,75 литра.

Слухи о Тараканове ходили самые разные. Говорили, будто никакой он не Тараканов, а вылитый внебрачный сын греческого миллионера Онасиса Теодоракиса — ну, того самого, за которого вышла замуж вдова убитого президента США Никсона Жаклин Тетчер. Говорили, что никакой он, прости Господи, не Онасис, на хрен ему сдался наш Клопов вместе с инвалидами! Это известный московский бизнесмен, бывший хоккейный тренер Артём Тарасов, сховавшийся в Клопов от чечено-масонской мафии. Когда-то при царизме скрывались в Клопове беглые каторжане, потому имелось

мнение, что Тараканов не кто иной, как председатель ГКЧП Виктор Иванович Янаев, тайно сбежавший из «Матросской тишины» в тишину нашенскую. Поговаривали, будто вот-вот за ним подтянется товарищ Лукьянов, разумеется, тоже видоизмененный до полной неузнаваемости.

Никакой негативной реакции открытие в городе ночного бара со стриптизом не вызвало. Раздевало правительство, раздевали прямо на улице, и какой-то там стриптиз в бывшем подвале... Небольшую манифестацию протеста провел лишь педагогический коллектив средней школы №4. Около полуночи под предводительством директрисы несколько училок в валенках прошествовали мимо затемненных окон бара, стройно скандируя: «Запад, ответь, чему ты учишь наших детей?!» Запад молчал, зато появилась стайка набожных старушек. Энергично орудуя клюками, с криками: «Сикухи! Хуже вас никто не научит!», старушки быстро демонстрацию рассеяли. Конечно, дело не в том, что они любили Запад или другие стороны света. Нет, не любили, а вот Тараканова после пожертвования на Храм почитали святым и всегда истово молились, встречая на улице его джип.

Понятно, о происходящем в ночном баре тоже имелось достаточно версий и домыслов. Те же старушки вовсю утверждали и даже клялись, будто ровно в полночь под аккомпанемент совершенно голого духового оркестра железнодорожного депо владелица центрального гастронома Земфира скидывает с себя всю одежду и танцует «цыганочку», после чего лютые безбожники касирша Зинка и одноглазый мясник Витька при всём честном народе сношаются до полной потери сознания. Слушая это, люди стыдливо отводили глаза, иные в ужасе замирали. Конечно, творилось вокруг чёрт знает что, и гастроном после приватизации возненавидели вконец, но всё же как-то не верилось, что мать троих детей и бабка двоих внуков шестидесятидвухлетняя Земфира способна ещё и на такое. И уж совсем не верилось, что оторва Зинка даже за деньги станет делать это с Витькой, своим законным мужем.

Лука Максимов тем временем уже работал слесарем в мастерских депо, прилично зарабатывал, копил на корейскую радиолу и готовился весной идти в армию. Был Лука, как говорится, девственником, и, если вдруг одолевало его естественное желание, шёл и приподнимал плечом какой-нибудь вагон, желание ликвидируя. А когда накатывало дома, бежал во двор колоть дрова — сперва свои, потом соседские; иногда колол всей улице.

В ту злополучную субботу после обеда он пошел покупать радиолу, радиолы не было. Домой идти не хотелось — мать дежурила, отец, уже ставший к тому времени лейтенантом, после лёгкого ранения отдыхал в санатории. Лука пошел в кино, потом бродил по городу, крепко замёрз, оказался на улице Поручика Голицына...

В ночном баре тихо играла музыка. Подскочивший лоб встретил его приветливым взглядом профессионального бандюги, вставшего, наконец, на охрану порядка. Он потребовал показать бабки, после чего ловко, почти не оставив на теле странного посетителя синяков и ссадин, его обыскал и впустил внутрь.

Стараясь никого не задеть, не свалить ненароком какой-нибудь столик, не отдавить ноги танцующим, Лука пробрался в другой конец зала и занял свободное местечко у самой эстрады, которая пока пустовала и находилась в полумраке.

Может, где-нибудь в столице в такого рода заведении и мелькнёт лицо не совсем уголовное. Однако, в клоповской «Шехерезаде» такого почти не случилось. Лица были одно к одному. Несмотря на тусклый интимный свет, точнее,

благодаря ему, создавалось впечатление, будто здесь за коктейлями проходит вечер встречи тюрьмы мужской и тюрьмы женской. Но стеснительный Лука лиц не видел. Не поднимая глаз, он тянул через соломинку из гранёного стакана ликёр «Амаретто», понемногу согреваясь и с непривычки быстро хмелея.

Стриптизерку Люську Лука тоже заметил не сразу. А когда совсем рядом увидел молодое полуголоое тело, почуял его запах, в полной мере ощутил именно то, что и должен, согласно законам природы, ощущать физически здоровый юноша, еще не знавший блаженств любви. Он оглянулся, надеясь увидеть поблизости спасительный вагон или хотя бы пару кубометров неколотых дров, но ничего такого не обнаружил.

Люська, надо сказать, была весьма симпатная. Рослая, белотелая, с высокими веселыми грудями. И танцевала она для двух неполных курсов строительного техникума весьма прилично, напоминая о том, сколько же настоящих талантов еще зазря пропадают у нас во всяких вузах и техникумах. В программе у нее были два номера. Первый — довольно сложная композиция, представлявшая собой что-то среднее между «цыганочкой», танцем живота и знаменитым «Умиравшим лебедем» композитора Сен-Санса — в данной сценической трактовке умирающим от отсутствия мужика. Умирая, Люська — Лебедь срывала с себя лифчик и на последнем издыхании швыряла его в глубь подвала. Второй её выход, уже более серьезный и художественно законченный, был через час.

Эх, отменил бы кто-нибудь в ту ночь этот второй выход, ставший роковым! Трубу бы какую прорвало, или свет вырубился, или Люська смекнула бы, что Клопов еще не до конца Париж или Лас-Вегас, и не все еще готовы правильно понять ее сложное символическое искусство! Но ничего такого не случилось, наоборот. То ли Люське осточертели рожи завсегдатаев «Шехерезады», то ли из чисто профессионального интереса, но, появившись через час с коронным номером, она уже не сводила глаз с сидевшего совсем рядом Луки. И не только глаз. Именно об этом говорил потом на суде страстный адвокат Макаркин, обратившись к Фемиде с прямым вопросом:

— А вот что сделали бы Вы, господин судья, если бы молодая хорошенькая деваха в самом соку именно Вам улыбалась, именно Вам строила глазки, именно перед Вами потрясывала чудными нежными грудками и томно поводила своей тугой нежнокожей попкой, а потом — для полной ясности! — ещё и скинула бы с себя ажурные трусишки?!

— Вопрос не по существу дела, — сказал судья, нервно поправив мантию.

— Конечно! Стал импотентом — сразу не по существу! — крикнули из зала.

Адвокат настаивал на немедленном проведении следственного эксперимента. С этим согласился прокурор Стебаныков, заявив, что ввиду сложности дела эксперимент проведёт сам.

Но вернемся туда, в дымный полумрак ночного бара, где Люська, уже скинув лёгкий пеньюар, вьётся у столика, всеми своими действиями, улыбками, позами говоря: «Вот, Лука, единственный, долгожданный, желанный, смотри, смекай и сам делай соответствующие выводы!». И Лука сделал. Конечно, выводы могли быть иными, если бы он к тому времени не выпил уже три стакана ликера «Амаретто» и, тем более, если бы этот ликер не был изготовлен на клоповском лако-красочном заводе. Словом, только-только Люська довела свой номер до логического конца, Лука поднялся и, опрокинув столик, пошатываясь, пошел на нее. Он взял голую девицу в охапку, повалил ее на пол и...

Чуток опомнившись, Люська стала кричать, но почему-то кричать не так, как кричат зовущие на помощь, а совсем-совсем иначе. Полупьяная

публика решила, будто это новый номер художественной программы и, повскакав с мест, шумно приветствовала исполнителей. Ну, а вскоре стало ясно, что это не просто номер, а целый многоактный спектакль, идущий практически без антрактов.

Разумеется, владелец бара Тараканов, сидевший поодаль с двумя китайскими бизнесменами, сразу понял, в чём дело. Но, увидав, как оживились и повеселели эти хитрые китайцы, уже две недели морочившие ему голову с покупкой уникальной клоповской зелёной ртути, решил не встречать. Да и сам Тараканов был порядком захвачен происходящим. Тот знаменитый чудо-негр, которого он недавно видел в секс-баре в Гонконге, работал, хоть и изящно, и с выдумкой, и без валенок, но по сути и в подметки не годился этому местному парню!

В общем, все шло как-то даже хорошо. Люська покрикивала, публика ликовала. Тараканов уже подсовывал расслабившимся китайцам договор на куплю-продажу зелёной ртути, обдумывая, как бы втюхать им еще и уникальную ртуть бурую... Но через несколько мгновений события приняли совсем иной оборот.

В дверях подвала появился когдатошний одноклассник Луки Максимова Васька Сучков по кличке «Сучара», ныне знатный рэкетиер. Увидав Люську, которая ему уже трижды не дала ни за доллары, ни за рубли, ни даже за белорусские «зайчики», потом опознав Луку, пьяный и вооруженный Сучара, опрокинув китайцев, ринулся на сцену. Вскоре в баре уже творилось невообразимое, описать это невозможно, потому обратимся к тексту обвинительного заключения, фигурировавшего на суде.

«Максимов Лука Михайлович, 1975 г.р., ранее не судимый, обвиняется в том, что 25 ноября 1993 г. в ночном баре «Сказки Шехерезады» совершил групповое изнасилование. В группу изнасилованных вошли следующие лица:

— Фарафонова Людмила Иванова, учащаяся строительного техникума, гейша ночного бара «Сказки Шехерезады».

— Сучков Василий Васильевич, сотрудник совместного предприятия «Заря свободы».

— Тараканов Альберт Степанович, бизнесмен.

— Дун Сяо Лай, гражданин Китайской Народной Республики, бизнесмен.

— Ли Вер Ман, гражданин Китайской Народной Республики, бизнесмен.

— Табун-Заде Усман Анварович, тренер по спорту, инвалид второй группы.

— Мордатых Борис Игнатьевич, мэр.

— Ковальская Татьяна Иннокентьевна, баба мэра.

— Козлов Геннадий Федорович, старший вышибала ночного бара «Сказки Шехерезады».

— Соболев Андрей Петрович, Кандыба Виталий Кондратьевич, Федорук Степан Антонович, — бойцы отряда ОМОН.

— Карацупа Иван Никитович, начальник отряда ОМОН».

К сожалению, уровень правовой культуры населения ещё далек от идеала, и, когда был оглашён этот список, публика в зале суда разразилась бурными продолжительными аплодисментами. Крики «Ура», «Молодец, Лука!» долго-долго не смолкали.

Приговор пока не вынесен. Остаётся надеяться, что он будет справедливым и гуманным.



Юрий КУДЛАЧ

Ганновер

КАТАСТРОФА

РАССКАЗ

Утром позвонила Ирина.

— Ленка, — спросила она, — вы как в аэропорт добираться думаете?

— Ещё не думали. Но вообще-то, наверное, на такси.

— Слушай, а вы не могли бы меня по дороге прихватить?

— Сейчас супруга спрошу. Виталя! — закричала Лена, — Ирку завтра прихватим?

— Да пожалуйста, — ответил, пыхтя, Виталик.

— Чего он там пыхтит? — спросила Ирка.

— Виталя! — вновь закричала Лена, — ты чего пыхтишь?

— Да чемодан, блин, застёгиваю! — сдавленным голосом отозвался Виталик.

— Ну ладно, пока тогда. Да, я в дорогу бутербродов наготовлю. И на вашу долю тоже. А вы попить возьмите — лететь часов восемь, наверное.

— Попить в самолёте дадут.

— Да чёрт их знает, что они там дают — я в Японию ещё не летала.

— Там поглядим, подруга. Давай. До завтра.

Лена положила трубку и пошла в соседнюю комнату смотреть, как муж, произнося невнятным шёпотом разные слова, пытается застегнуть молнию раздутого, как аэростат, чемодана..

— Что, опять Ирка навязалась? — сидя на гиппопотамном чемоданном боку, спросил он.

— А тебе что, жалко? — немедленно стала в боксёрскую стойку Лена, — всё равно ведь мимо её дома едем!

— Да не жалко мне. Только вечно ты мне своими подругами мозги колу-паешь!

На гастроли в Японии главный режиссёр полупровинциального русского драматического театра Сурен Рубенович Маэлян возлагал огромные надежды. Три года он выбивал в различных инстанциях эту поездку. Подключая знакомых, уставляя начальственные столы отборными сортами армянского коньяка, очаровывая пожилых московских дам прелестным акцентом и пылающими глазами, он в конце концов добился того, что его коллектив включили в программу театрального фестиваля в Саппоро. Известие об этом пришло сегодня.

Минут двадцать Маэлян сидел в кресле, размышляя. Затем нажал на кнопку.

— Наталья Андреевна! — сказал он в микрофон селектора, — где сейчас Серафима Юзефовна?

— Серафима Юзефовна на примерке, — гнусаво ответил селектор.

— К чёрту примерку, — заорал Сурен Рубенович, — чтобы через пять минут была здесь!

Серафима Юзефовна Ружанская, актриса первого положения, женщина дородная и вздорная, никогда и ни к кому не спешила. Прошло не меньше часа, прежде чем она, не постучавшись, вплыла в кабинет главного.

— Что за спешка, Суренчик? — проворковала она, усаживаясь в кресло и приподнимая подушечный бюст.

— Знаешь анекдот про восток, Сима? — вкрадчиво начал Маэлян.

— Про какой восток, Суренчик? — не поняла Серафима Юзефовна.

— Армянское радио спрашивают, — акцент Сурена Рубеновича стал ещё ярче, — что лучше: иметь ближних родственников на Дальнем Востоке или дальних — на Ближнем?

— А-а-а, знаю. Ты это к чему?

— Нет, а ты бы кого предпочла?

— Понятное дело. Дальних, конечно.

— Значит, тебе не нравится Япония?

— Какая Япония? — шёпотом спросила Ружанская.

— Я другой такой страны не знаю, — робсоновским басом прорычал Маэлян.

Он просчитал все ходы. Через несколько минут о предстоящей поездке знал весь театр. И тут же началась борьба. Интриги сплетались и расплетались, как девичьи косы. На стол главного бумажными голубями полетели подмётные письма и доносы, жалобы и просьбы. Хотели поехать все, и все знали, что возмут не всех. Из приёмной Сурена Рубеновича каждый день доносились возбуждённые мужские голоса и женские рыдания. Атмосфера подогревалась ещё и тем, что никто не знал, какие спектакли повезут, и поэтому никто не мог быть уверенным, что попадёт в вожеленную группу. Корифеи заручались поддержкой отцов города, но и она не вносила в их души успокоения. Усилилась конкурентная борьба в цехах. Рабочие сцены, поднатужившись, временно прекратили пить и крутились на глазах Маэляна, старательно демонстрируя ему свои горькие трезвые натужные улыбки. Два шофёра — наоборот — запили горькую: они-то точно знали, что в Японию их не возмут по причине левостороннего движения в этой икебанской стране.

Опытный Маэлян выжидал, не делал никаких официальных объявлений. Всё было продумано и рассчитано. Тонкий психолог и лукавый царедворец знал, что за взрывом страстей придут сомнения: а и вправду ль театр едет в Японию? А может, это только сплетня, слух, пущенный кем-то измученным жизнью в провинции? А может, это только сверкающая витринами и гремющая монорельсами мечта о несбыточном счастье? За сомнениями и неизвестностью придёт безразличие, и тогда актёров можно брать голыми руками: на второй взрыв у них пороха не хватит. Именно так всё и произошло. Через два месяца на общем собрании театра Сурен Рубенович объявил, что летом состоится поездка в Японию и что везут два спектакля: «Ромео и Джульетту» Шекспира и «Бешеные деньги» Остров-

ского. Стон разочарования и радостный вопль, обгоняя друг друга, устремились к лепному театральному потолку.

Подруги бросились друг к другу в объятия: маленькая, изящная большеглазая Ирка была незаменимой Джульеттой, Елена же купалась в Островском, знала толк в замоскворецком произношении и была всеми, даже злоязыкими недоброжелателями, признана лучшей Лидочкой Чебоксаровой. Ну, а в том, что поедет Виталик, никто даже и не сомневался: такого художника по свету во всём свете было не сыскать. Два московских театра его всё время приманивали, да только он не поддавался, потому что понимал, что его Лене в Москве труба будет. «Труба зовёт», — ухмылялся он, читая очередную столичную завлекалочку.

— А что, — поддразнивал он жену, — может, поедем? Хватит жить в провинциальном анекдоте. Москва!.. Как много в этом звуке! Девиз мой прост: да будет свет, и нет базара!

Но Лена, хотя и знала, что он шутит, начинала сердиться:

— Никуда я отсюда не поеду, — шипела она, зло блестя глазами, — тоже мне Саваоф задрипанский!

— Ладно-ладно, — в конце концов примирительно бубнил Виталик, — уже и побаловаться нельзя. Я провинциальный, зато принципиальный!

В такси Лена всё время переругивалась с Виталиком, обвиняя его в том, что он не продумал заранее, что брать, чего не брать, что он вообще всё взвалил на неё, козёл, что из-за него она забыла дома свой любимый медальон-камею, что у него руки из задницы растут, что он способен только рубильники включать. Потом стала вспоминать, какие у неё были кавалеры.

— И почему только я тебя, дурака, выбрала?! — сквозь зубы бормотала она. — Такие мужчины за мной ухлёстывали! На что польстилась, дура? На высокий рост! А в голове-то тью-тью! Шурик Красотов у порога моего дневал-ночевал, ручку поцеловать разрешения спрашивал — какой мужик! Не чета тебе. Да кому я рассказываю — ты же его знаешь!

— Вспомнила баба, что девкой была, — вяло отбивался Виталик, — ты позвони ему — может, он тебя ещё подберет.

— Дурак!! — взвизгнула Елена. — Козлина долговязая! Бычман!

Таксист ухмылялся в зеркало, подмигивал Виталику — дескать, не бери в голову, все они такие. При этом косил глаз на красивые Ленкины ноги в чёрных колготках, почти совсем не прикрытые короткой юбкой.

Заехали за Ирой. Виталик тут же пересел вперёд и стал прислушиваться, как Ирка умело успокаивает его жену. Полуобернувшись, он встретился глазами с Ирой, и она сочувственно улыбнулась ему.

— Это ещё ничего, — сказал таксист, — моя сразу драться начинает.

В аэропорту было шумно и весело. Возбуждённых грядущими впечатлениями актёров не огорчила даже объявленная задержка рейса. Только суеверному Сурену Рубеновичу такое начало пришлось не по вкусу. Обречённо вздохнув, он направился в аэропортовский буфет уговаривать, сулить и угрожать. Всё шло, как по-писаному: уже через пятнадцать минут вся «худшая» половина театрального населения гарцевала перед замызанной стойкой.

— Лёша! — укоризненно говорил главный режиссёр ведущему актёру, — да что же ты делаешь? В такую рань — такую дрянь!

— Не беспокойтесь, дорогой Сурен Рубенович, — вождельно глядя на жидкость в гранёном стакане, плюшевым баритоном журчал плешистый Леша, — вы же знаете — я профессионал!

— Тут-то он профессионал! — злобно подумал Маэлян, — а в театре забывает, из какой кулисы выходить. До инфаркта доводит, сволочь!

А вслух сказал:

— Ладно уж, профессионал!

И, сузив глаза, добавил:

— Переберёшь — в воздухе с рейса сниму!

В дальнем углу со вкусом расположились Буров и Шепитин.

— Старик, — говорил Шепитин, время от времени погружая верхнюю губу в массивный пивной бокал, — ты губишь себя, старик. Ты же талантлив! А что ты сыграл за последние три сезона? А?

— Ну-у... — неуверенно протянул Буров.

— Не «ну», а ничего не сыграл. Разреши мне быть с тобою откровенным...

— Ну-у... — явно сомневаясь в том, что это возможно, повторил Буров.

— Сурен, — понизив голос и гулко глотнув пива, сказал Шепитин и поднял палец.

— Ты думаешь? — спросил Буров, ощущая, что у него открываются глаза.

— На худсовете, — веско промолвил Шепитин, — коего членом я, как ты знаешь, имею честь быть, я прямо спросил коллег, а затем и главного — почему выдающийся артист Буров до сих пор не получил условий для раскрытия своего дарования.

— Ну-ну? — заинтересовываясь разговором, повернулся всем телом к собеседнику Буров.

Но Шепитин не смог удовлетворить любопытство приятеля, потому что острым периферическим зрением увидел направляющегося к столику Маэляна.

— Не возражаете? — пробасил главный.

— Что вы, Сурен Рубенович, как можно-с? За честь, можно сказать, великую почтём-с.

— Пивка-с? — включаясь в игривую тональность, спросил главный и брякнул об стол полдюжиной пива.

— Спасибо, отец, спасибо, благодетель! Хлебнём и твоего. А ты — нашенского, коль не побрезгуешь.

В буфетную дверь сунулась кудлатая голова Георгия Львовича Ревича — завлита театра. Ревич обладал устоявшейся репутацией хитреца и проныры, а также прозвищем «Микоян», которым он втайне гордился, хотя сам считал себя человеком простодушным. Я же не виноват, что у меня такое выражение лица, время от времени повторял он и неизменно добавлял из Бомарше: «А может, я — лучше своей репутации».

Поведя очами по углам буфета, Ревич убедился, что Леша, как всегда, на боевом посту и, удовлетворённо кашлянув, двинулся к стойке.

— Алексис, — возбужденно зашептал он, присаживаясь на кончик стула, — потрясающая новость! Я ещё вчера звонил, только ты шлялся где-то до ночи, лысый чёрт!

— Испей вина бокал! Я прикажу подать. Фалернского или цекубы? — обнаруживая изрядное знакомство с литературой, медленно, через паузы сказал Леша и встал, придерживая у плеча воображаемую тогу.

— Да не пью я. Ты же знаешь — язва, — продолжая почему-то говорить шёпотом, отозвался Ревич. Он наклонил голову к левому плечу и, скосив глаза направо, воровато оглянулся.

— Достоин сожаленья твой отказ, и язва сожаления достойна, — молвил римский патриций Леша.

— Кончай трендеть, мхатище! И сядь — дело серьёзное.

По реплике партнёра профессионал понял, что Георгий Львович не шутит, и сел. Ревич, поминутно косясь назад (эта дурацкая привычка, от которой он никак не мог избавиться, очевидно, и создала ему сомнительную репутацию), рассказал, что пару дней назад Маэлян получил разнарядку на «народного», и вчера, в обстановке сугубой секретности, сидя за ревичским кухонным столом, советовался с его хозяином, кого представить на звание. Главный говорил, что он давно задолжал Ружанской и что корпулентной Серафиме пойдут эполеты.

— Но я, Лёха, сказал ему: «Если вы, Сурен Рубенович, хотите моё мнение знать, то самый достойный человек в нашем театре — это Алексей Никитич».

— Вот так прямо и резанул?

— Прямо и без обиняков!

— Ну, спасибо, Микоян... э-э, извини, Жора!

— И ты, Брут, — укоризненно сказал Ревич и довольно улыбнулся.

— Эх, Жора, друзей-то нынче — раз, два и обчёлся. Каждый только норовит тебя ногою пнуть. Вот скажи — хороший я артист?

— Замечательный! — аж взвизгнул Георгий Львович.

— Вот! А что до меня изо всех углов доносится? А?

— А что до тебя доносится? — с беспокойным любопытством переспросил Ревич.

— Пьёт, дескать, Алексей Никитич! Вот что доносится!

— А-а-а, — понимающе поднял брови Ревич и почему-то облегчённо вздохнул.

— Да-а, — протянул Леша. — Ну и чем же ваш разговор кончился?

— Я дорожу вашим, Георгий Львович, мнением, — сказал мне главный, — и рассмотрю этот вариант. Ревич вновь наклонил голову к левому плечу и воровато оглянулся. Заметив вошедшую Елену, помахал ей: иди, дескать, к нам. Она отрицательно мотнула головой и направилась было к столу, за которым сидел Маэлян, но в это мгновенье сквозь гул актёрских и прочих голосов с трудом протиснулось сообщение о начале посадки. Все повскакали со своих мест.

— Рассмотрит! — саркастически хмыкнул Леша, — А я думаю, что...

Он повернулся к завлиту, но того уже за столом не было.

Дрожа от нетерпения, самолёт застыл на минуту, а затем, взыв, как животное, оскорбленное ударом хлыста, рванул по полосе.

Лена всегда любила эти мгновения, когда огромная мягкая рука с поистине нечеловеческой силой вдавливают её покорное тело в спинку кресла, и ждала их с весёлым страхом и радостью. Несколько секунд вибрации и тряски, и вдруг всё кончилось, точно самолёт, потеряв почву под собой, провалился в бездну.

Лена взглянула в вертикальный со скруглёнными углами иллюминатор. Земля, как бесконечная стена, тянулась вдоль борта вошедшего в вираж

самолёта. Вверх по стене, по утлой ленточке дороги, пренебрегая тяготением, полз автобус. Глядя на него, она почему-то вспомнила случай, приключившийся с ней прошлой зимой.

После небольшой оттепели с дождём и мокрым снегом пришёл, как и следовало ожидать, мороз. В тот день репетиция начиналась поздно — в одиннадцать, поэтому на автобусной остановке почти никого не было. Войдя в автобус, Лена по привычке, сохранившейся ещё со школьных лет, не пошла вперёд, а, оставшись на задней площадке, повернулась лицом к широкому заднему окну и, ухватившись за холодный металлический поручень, принялась смотреть на убегающую из-под её ног серую, блестящую от наледи мостовую. Салон был совершенно пуст, если не считать молодого мужчины с ребёнком, сидевшего далеко впереди возле кабины водителя. Лена чувствовала, как его материализовавшийся взгляд сзади обшаривает её, заглядывает под пальто и платье, измеряет объём её утянутой пояском талии. Ей стало неприятно, и она, пройдя пару шагов по проходу, опустила на сиденье, которое стояло на небольшом возвышении над автобусным колесом и было обращено к заднему стеклу.

Автобус, осторожно пробравшись по узкой улице, повернул на широкий бульвар и поддал газу. И вдруг случилось что-то: автобус начал резко тормозить, его занесло на гололёде, мотнуло вправо, затем влево.

— Брось тормоз! Брось!!! — отчаянно закричал за её спиной мужчина. Лена увидела, как слева, в уголке глаза появился невольно обгоняемый автобусом массивный троллейбус. Раздался удар, омерзительный металлический скрежет, и оцепеневшая от ужаса Лена увидела, что задняя стенка, возле которой она только минуту назад стояла, оторвалась от автобусного тела, грохнулась на мостовую и в одно мгновение идущий за автобусом и отчаянно сигналивший огромный самосвал навалился на неё. В образовавшийся тоннель было видно, как она, словно живое существо, билась между колёсами и днищем чудовища, алчно и безжалостно уничтожавшего её.

Лена помотала головой, желая стереть не вовремя посетившее её воспоминание. Хотела что-то сказать сидевшей рядом Ирине, но, взглянув на неё, передумала: та была явно не расположена к разговорам. Её лицо внезапно и безвременно постарело, ставший вдруг безгубым и беззубым рот был приоткрыт, по худенькому телу прокатывались мучительные судороги. Виталик, сидевший в том же ряду по другую сторону прохода, уже спал, с трудом уместив себя в узком межкресельном пространстве. Где-то далеко впереди, на неэвклидовом острие обозреваемого ею ограниченного мира, прорисовывалась тускло освещённая, повёрнутая полупрофилем голова Маэляна. По микроскопическому фрагменту кашмирской шали Лена тотчас восстановила её владелицу — собеседницу главного — грудастую Ружанскую. Лена скорчила гримаску и отвернулась: она не любила Серафиму Юзефовну, не без оснований подозревая её в том, что та на правах основоположницы (привет тебе, Булгаков! Поклон, Михаил Афанасьич!) нащёптывает главрежу гадости обо всех без исключения, а о молодых женщинах — с особым тщанием. «Вот ведь коровища, — мысли Елены протянулись к кашмировой шали, — ферма молочная! А глаза, как у козы дурной. И что только в ней Сурен находит, не пойму! Правду, наверное, говорят, что когда-то было что-то между ними. А иначе хрен вот это всё поймёшь. Ишь, сидят там, воркуют. Голубки! Паломы, блин! Тьфу!»

Распалившись внутренним монологом, Лена возмущенно фыркнула и, уставившись в иллюминатор, принялась наблюдать, как крыло, присвоив себе функцию столового ножа, аккуратно, без крошек режет небольшое облако, похожее очертаниями на халу, на две неравные части. Впрочем на облако-халу вторжение ножа не произвело никакого впечатления — вопреки очевидности, оно осталось целым. Это походило на американский мультик про Тома и Джерри, где несчастный котяра Том, превращаемый садистом Джерри то в лепёшку, то в мясной фарш, то в воздушный шарик, встряхивался и без видимых для себя последствий вновь обретал первоначальный вид, что наводило маленького зрителя на мысль о невинности и допустимости подобных экспериментов с живым существом.

Взгляд Елены дискретно запрыгал по деталям крыла, состоящего, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, из множества крыл и крылышек. Жёсткий металл непонятным образом плавно перетекал в округлость мотора-турбины, в котором за монолитной неподвижностью трудно было даже предположить чудовищное вращение частей. Только небольшой примусный огонёк, вырывающийся за край бубличного овала, свидетельствовал о непонятных химических и прочих драматических процессах, происходящих внутри благообразного патриархального веретена. Лена снисходительно наблюдала за клоунскими кривляниями огонька, который кокетливо дразнил её розовым языком, ежесекундно прячась за железным форгангом. Огонёк появлялся то внизу, то сверху, явно желая привлечь её внимание. Наверное, для этого он пыхнул даже пару раз дымком. Не видя подлинного интереса во взгляде единственной зрительницы, он и вовсе распоясался, покраснел от напряжения, увеличился в объёме и задымил, как заправский курильщик гаванских сигар. Самолёт вдруг резко завалился на левое крыло. Елена покосилась на Ирку, которая вообще с трудом переносила полёты, а уж подобные самолётные фиоритуры ввергали её, как она сама впоследствии, ухмыляясь, любила говорить, «в пучину страданий». Ирка, выпучивая глаза на иллюминатор, что-то неслышно шептала серыми губами.

— Что? — переспросила Лена, наклоняясь к лежащему бескостным мешком телу подруги.

— По... жар, — подавляя приступы рвоты, бормотала Ирка, — мы... горим...

— Кто горит? Ты что, подруга, упала? Совсем плохо тебе, да?

— По...смотри!

Елена обернулась и увидела. В то же мгновение звериный крик взорвал спящие джунгли салона. Это кричала Серафима Юзефовна. Страх пронёсся по проходу, как искра по бикфордову шнуру, отводные концы которого планомерно и неумолимо транспортировали его, этот страх, этот невыносимый тошнотворный ужас в каждый уголок, к каждому креслу, к каждому оцепеневшему телу, к каждому уже умирающему сердцу, которое за нечувствительно малые временные величины успело всё узнать, понять и смириться. Откуда-то из-за занавески вынырнула элегантная стюардесса и, поднеся к губам микрофон, принялась уверять, что всё в порядке и что командир корабля держит ситуацию под контролем. Но холёная рука дрожала, а в стальных колбах её холодных глаз серебристым туманом мерцал непрофессиональный испуг. И все поняли, что она лжёт, что нет никакого порядка и никогда уже не будет, и что не может командир корабля, равно, как и любой другой человек, контролировать, а тем паче — управ-

лять летящим факелом, в который постепенно превращался самолёт.

Сидящий перед Леной Шепитин выдрался вдруг из кресла и с костяным стуком грохнулся на колени перед Буровым, занимающим место по противоположную от прохода сторону.

— Прости... прости меня, — забормотал он, трясая головой и громко клацая зубами, — хочу чистым уйти... прости!

— Ты что, Коля? Ты чего? — неловко задёргал рукой Буров.

— Чистым хочу уйти, понимаешь, Женя! Прости! Прости!

— Что прощать? Ничего не понимаю! Сядь на место. Ты что, спятил?

— Мы умрём здесь все, Женя. Сними грех с моей души, прошу тебя! Я знаю, ты верил мне всегда, самым сокровенным со мной делился, а я подонок, подлец!..

Шепитин дрожал, делая нелепые хватательные движения и пытаясь поцеловать буровскую руку.

— Тебя ведь тогда на звание представили, а я, сука, на худсовете костыми лег, чтобы ты ни хера не получил! Ты же настоящий, Женька, настоящий! А я дерьмо, ничтожество..., — Шепитин всхлипнул, — всегда завидовал тебе, всегда! Ненавидел! Ты когда играл, я в директорскую ложу шёл и из-за портьеры смотрел — понять пытался. А хрена тут понимать! У тебя же каждое слово звучало, глаза светились! Всё изнутри! А я выхожу — что ни звук, всё мимо! И вот страшное самое: помнишь, ты как-то за задником шёл, а рядом с тобой ящик с реквизитом со штабеля упал? Огромный такой — углы железом оббиты... Помнишь?

— Не может быть, — Буров побелел.

— Прости меня, Женя, прости Христа ради! Не дай умереть с грехом таким, — выл Шепитин, — прости!!

Лицо Бурова вдруг сморщилось, он стал похож на маленькую обиженную обезьянку.

— Да, да, ты прав! Тысячу раз прав! — закричал он в порыве великодушия. — Я прощаю тебя, Колюня! И ты меня прости: я ведь знал всё. Только про ящик не знал... А так всё! И не верил я тебе. Притворялся! Говорил, что друг я тебе, а сам терпеть тебя не мог...

Они обнялись.

На микросекунду, на какой-то атом времени все забыли о пожаре, о том, что жить осталось всего ничего — все смотрели на всхлипывающих, теперь уже, наверное, настоящих друзей. И вдруг ураган запоздалого раскаяния пронёсся по салону.

— Леша! Леша! — кричал Ревич, пытаясь прорваться к Алексею Никитичу, сидящему впереди. Но это было уже невозможно: узкий самолётный проход был туго забит человеческими телами. Они рвались в разных, взаимоисключающих направлениях, сшибаясь и отталкиваясь, сплетаясь и разрываясь. Напрасно что-то кричала в микрофон стальногоглазая стюардесса.

— Леша!! — надсаживался Ревич из последнего ряда, — прости меня, Леша! Я всё наоборот сказал! Прости!!

Но ничего не слышал впереди сидящий Леша, поскольку пьян был до полного оцепенения.

Над общим стоном парило захлёбывающееся рыдание Ружанской. Она стояла в самолётном кресле на коленях, равномерно и сильно ударяя лбом о подголовник, аккуратно прикрытый диссонирующей крахмальной кокетливой салфеточкой.

— Виновата... виновата... виновата, — выкрикивала она, и интонация её была чиста и правдива.

— Знаешь, — торопясь и проглатывая слова, говорила своей немолодой соседке Антонине сидящая в пятом ряду артистка Ганшина, — а ведь я — воровка! Я у тебя колечко украла. Помнишь, ты ещё плакала, убивалась, говорила, что единственная память о маме твоей бедной. Меня дьявол попутал, сатана! Сроду никогда чужого не брала, а тут... Зашла к тебе в гримёрку зачем-то — тебя нет, а под зеркалом кольцо это злосчастное. Я и сама не поняла, как это получилось — взяла. Да ещё спокойно так... Как ты просила тогда всех — отдайте! Пожалуйста! Цена-то ему — грош... А не отдала — боялась, да и злорадство какое-то во мне вдруг проснулось. Потом я его потеряла. Сволочь я! Последняя сволочуга! Прости меня, Тоня, прости! Христа ради прости!

— Прости... прости... прости, — вспыхивало печальным фейерверком из всех углов, — а помнишь... грех... виноват... виновата... твою роль... квартира... тварь я... донос... прости... подлость такую... предала... в министерство бежал... гнусно... за спиной... отпусти мне грехи мои, Гос-по-ди!!!

— Сделай так, чтоб сразу. Чтобы не мучиться! Раз! — и всё. Сделай так, сделай! — истово молилась вжавшаяся в кресло Лена. — Ты всемогущий, ты же всё можешь. О милости прошу, о такой малости! Она почувствовала, что Ирка дёргает её за рукав и повернулась.

— Лена, — не открывая глаз, прошептала Ирка, — прости и ты меня!

— О Боже мой! Тебя-то за что?

— Ленка! Вот уже десять месяцев, как мы с Виталиком...

— Что «вы с Виталиком»? — не в силах сразу переключиться, переспросила Лена.

— Да, да, да! Прости меня, Леночка! Прости, если можешь!

— Что?! — обмирая от внезапно наступившей ватной слабости, выкрикнула Лена.

— Неправда, — добавила она тихо, чувствуя, что сейчас, именно сейчас, в этот миг закончилась, завершилась таким удивительным и неожиданным образом вся её жизнь — это стройное здание, которое она с тщанием настоящего мастера возводила столько лет. И теперь это рухнуло мгновенно, ещё быстрее, чем несущийся к земле обречённый самолёт.

— Граждане пассажиры! — вдруг загремел по салону мужской голос, многократно каким-то образом усиленный и перекрывающий волну всеобщего покаяния.

— Граждане пассажиры! Прошу всех занять свои места, пристегнуть привязные ремни. Снимите с себя все металлические предметы — браслеты, часы, серьги. Выньте из карманов ключи и авторучки, снимите очки. Всё это положите на пол возле ног. Приведите спинки кресел в вертикальное положение. Наклонитесь как можно глубже вперёд и положите руки на голову, сцепив пальцы. Наш самолёт совершает вынужденную посадку.

Каким-то невозможным, невероятным, фантастическим образом экипажу удалось посадить самолёт. Может быть, сыграло роль то, что он находился в полёте недолго и не успел удалиться от родного аэропорта. Может, решающим оказалось хладнокровие командира. Кто знает? Кто может сказать? А скорее всего, это была просто слепая, сумасшедшая удача, везение, подобное тому, как игрок в кости выигрывает у противника, выбро-

сившего одиннадцать. Как бы то ни было, спустя несколько минут, закопчённая самолётная виноградина уже спокойно лежала на взбитом облаке огнегасящей пены.

Немедленно были открыты все аварийные люки, аэродромная команда споро подогнала трап и потрясённых происшедшим пассажиров эвакуировали в здание аэровокзала, в то самое здание, в буфете которого ещё совсем недавно предвкушающие грядущие впечатления артисты развлекались — каждый по своему усмотрению.

Встрёпанный хмурый главный режиссёр, собрав коллектив в дальнем углу огромного неуютного терминала, сказал, что о дне вылета будет объявлено дополнительно и отпустил всех по домам.

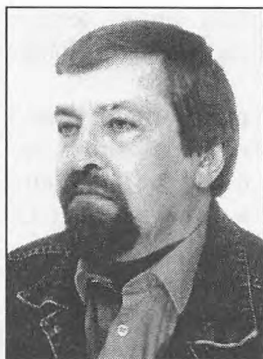
Люди расходились, не глядя друг другу в глаза и почему-то не испытывая радости по случаю счастливого избавления от смерти. Раздражение, недовольство собой, сожаление ясно прочитывались на их лицах. Как жить теперь? Что делать? Как встречаться с человеком, перед которым ты вывернул душу и показал её изнаночную омерзительную, склизкую сторону? И что самое главное — все отлично понимали, что изменить себя они не смогут, и что теперь жизнь их станет значительно опаснее. Они знали: теперь, чтобы выжить, нужно будет многократно умножить хитрость свою. И нет и не будет им веры.

На следующее утро Лена проснулась ещё затемно и стала вспоминать вчерашний кошмар. Она пыталась понять, что было страшнее — пожар или это жуткое неожиданное признание. «Как они могли?, — думала она, — как?!» От жалости к самой себе она тихо заскулила и, плача, подползла к тёплому мужскому боку. Сильная рука обняла её за плечи, и красивый низкий голос с небольшим очаровательным акцентом сказал:

— Радость моя, не плачь, всё будет хорошо! Мы будем вместе. Только когда же ты, наконец, уйдёшь от своего дурака долговязого, а? Сколько же можно так жить? Два года ни обнять на людях, ни приласкать. Даже посмотреть на тебя боюсь, ну! Когда мы поженимся?

Она лежала, положив голову на широкую волосатую грудь Сурена Рубеновича, слушала его обволакивающий голос и, провожая взглядом блики фар проезжающих за окном машин, думала: «Никогда, никогда, ни-ког-да...»

Август 1997



Сергей АФАНАСЬЕВ

Реклингхаузен

Гость столицы

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ПРОЛОГ

Не всякая птица долетит...

Н. Гоголь

Одной из неразгаданных тайн времен застоя остался механизм работы советского гостиничного комплекса. Я не стану сейчас утомлять читателей своими версиями и предположениями на этот счёт, может быть, вполне оригинальными и здравыми, но потерявшими уже всякую актуальность. Напомню лишь: поселиться в те годы в гостинице просто так было невозможно. Для этого требовалось совершить нечто, что помнилось потом многие годы, что попадало в разряд семейных преданий счастливец.

Так, мой знакомый попробовал однажды обратиться в приличную московскую гостиницу без всяких на то оснований (в командировку человек приехал). Над ним даже не стали смеяться — его просто вежливо не заметили. Стил у них был такой... отработанный. «Ладно, — воскликнул тогда гость столицы, — согласен. Меня нет в природе. Не существует! А вот какого-нибудь шведа вы бы поселили?»

— Natürlich, — удостоила его, наконец, ответом Администрация.

— А если я докажу, что я — швед, вы меня примете?

— Да, — ласково улыбнулись ему из-за гостиничной стойки.

Тогда он достал из широких штанин дубликатом бесценного груза... Словом, поселили его. Администрация оказалась с чувством юмора: фамилия-то у моего знакомого была — Швед. Счастливец...

Мне с фамилией повезло меньше, поэтому когда я впервые в жизни надумал побывать в Москве, на гостиницу рассчитывать не приходилось. Родственников же или знакомых в столице ни у меня, ни у моих близких не было.

— Пусть так; положусь на судьбу, — решил я. Ведь собирались-то мы с моей совсем новобрачной женой на Черноморское побережье, в свадебное путешествие. А Москва — на обратном пути, если получится.

Получилось...

Вначале — с адресом гостеприимных москвичей. Его продиктовал нам душей черноморской ночью гражданин Абхазии Люсик Рождепович Джиджанов, который подвозил меня с женой на своём новеньком жигулёнке из города Гагра в Гантиади, к месту нашей временной прописки. В городе Гагра мы оказались той ночью случайно, по ошибке. Путешествовали по побережью и, возвращаясь поездом, проскочили в темноте свою станцию.

Люсик Рождепович заполучил нас в свою машину, опередив по конкурсу других извозчиков на привокзальной площади города Гагра. Сумма, кото-

рую Джиджанов запросил за свои транспортные услуги, носила откровенно демпинговый характер. Подозреваю, что деятельному абхазу просто надоело бездвижное сидение за рулем фаворита советского автомобилестроения.

Поехали... А был за окном 1974 год — первое пришествие Э.А.Шеварднадзе с Лубянки на землю Грузии: в магазинах — ценники, сдача до копейки; частным таксистам и извозчикам — война. И ещё много такого, что казалось местным гражданам жутью, а сейчас вызывает у тех, кто уцелел в девяностые годы, теплую улыбку и слёзы умиления. Но тогда... Уже при посадке в машину наш водитель сказал:

— Если остановит милиция, то, — я везу вас бесплатно, как своих жильцов, к самолету Адлер — Москва, ночной рейс, билеты и багаж — у друзей в аэропорту города Адлер. Зовут меня Люсик Рождепович Джиджанов. И запомните адрес, по которому вы жили у меня. Вопросы?

— Вообще-то мы из Челябинска, в Москве никогда не были, — сказал я на всякий случай, представив нас троих связанными у машины, и милицейский фонарь в лицо, и крики: «Смотреть в глаза! Адреса в Москве, явки, пароли? В глаза!» Я сказал: «В глаза!»

— Понял. Записывайте имя и адрес моей двоюродной сестры в Москве; покажете, если нас сейчас проверят. А при случае можете у сестры действительно остановиться. Вопросы?

Нет.

— Тогда спрашиваю я: «Как меня зовут?»

— ? (забыли; трудное имя, честное слово).

— Меня зовут Люсик Рождепович Джиджанов. Повторите.

С третьей или четвертой попытки я запомнил это имя — фамилию на всю жизнь: Люсик Рождепович Джиджанов.

А доехали мы до Гантиади без приключений.

После этого случая Москва стала для нас с женой ближе, но сомнения по поводу гостеприимства сестры Люсика Рождеповича оставались. Лучше бы — в гостиницу.

Это было удачное лето. Гостиницу в столице сделал нам житель города Гантиади Александр Сергеевич Скачинский.

Всё началось со случайного знакомства. Прямо в аэропорту Адлера к нам подошла женщина и предложила комнату в своем доме: «Гантиади — место тихое. У нас прямо из сада — на пляж. Сочи неподалёку».

Мы согласились и не пожалели. Только вот супруг хозяйки дома — Александр Сергеевич — показался нам поначалу весьма хмурым и нелюдимым, хотя манеры у него были вполне светские. Так, здороваясь с моей женой, Скачинский всякий раз молча целовал ей руку. Поскольку проделывал он это в своем неизменном домашнем наряде — выдавших виды трусах семейного покроя, я находил этот ритуал нелепым, а жена — напротив — трогательным.

Постепенно мы узнали, что Александр Сергеевич, во-первых, — детский писатель, во-вторых, — диссидент (!), откровенный диссидент, старый лагерник. Он показал мне записку от Солженицына примерно такого содержания: «А.С.! К сожалению, я не смогу сегодня с Вами встретиться».

— Обрати внимание: сожалеет, — сказал Александр Сергеевич.

Поскольку я не чужд был либеральным идеям (с пятого класса практически не носил пионерский галстук, а в институте не состоял в рядах ВЛКСМ), мы с Александром Сергеевичем быстро нашли общий язык. В идеологическую борьбу за мою душу вступил, с противоположного фланга, еще

один жилец Скачинского, в миру — партийный работник среднего звена.

— Вы бы держались от хозяина подальше, молодой человек, — сказал он мне. — Это ведь ужас, что он несет. Волосы дыбом!

— Настучит, старый пидор (Сидор)*, сегодня же настучит, — прокомментировал высказывания партийца Александр Сергеевич.

— Так и есть, — с гордостью сообщил он мне на другой день. — Вызывали в ЧК, на профилактику. А мне плевать! Скоро я буду в Париже — это решенный вопрос. И комитетчики меня больше не трогают, махнули рукой...

Беседы с Александром Сергеевичем были для меня необыкновенно интересны. Я впервые в жизни встретил человека, который отвергал не частности в проекте Города Солнца, а саму эту идею называл разрушительной и порочной. Человека, вызывающе свободного не только в мыслях, но и в речах. В 1974 году это поражало.

Бесспорно, Скачинский был человеком малосимпатичным: апломб, едва скрываемое презрение к оболваненным согражданам. Но меня он от их серой массы отличал. «Вот простой инженер из Челябинска, а и тот уже что-то начинает понимать, — говорил он столичным пижонам, с которыми мы пили вино у него в саду. — А вы, интеллигенция сраная, так и будете до смерти на Ульянова молиться».

Накануне отъезда мы поделились с Александром Сергеевичем своими московскими планами, а также сомнениями по поводу сестры Люсика Рождовича. Скачинский планы одобрил, порекомендовал нам обязательно посетить на Новодевичьем кладбище могилу Хрущёва с новым памятником работы Э. Неизвестного. А потом вдруг сказал: «Ладно, только для вас: запишите телефон... женщина... работает администратором в гостинице «Останкино». Назовёте ей моё имя, а оно для неё значит... многое значит. Она вам поможет».

И мы поехали в Москву.

Впечатления от первого посещения столицы? Хорошие. Нас действительно, по паролю «Скачинский», поселили в гостиницу «Останкино». Два дня мы бродили по городу, а потом купили в подарок родным зефир в шоколаде и поехали в Челябинск. Устраивать свою, теперь уже семейную, жизнь.

P.S. Несколько раз по прошествии того лета я обменивался с Александром Сергеевичем открытками, а потом след его потерялся, думалось — навсегда. И вдруг я прочитал в сочинениях Довлатова, что «малоизвестный в Союзе литератор А.С.Скачинский» (а это, бесспорно, — тот самый диссидент из Гантиади) на лагерном материале выпустил на Западе «Словарь блатного жаргона» — уникальное издание, особенно ценимое переводчиками. Одно это — поступок человека незаурядного. Но еще больше меня поразило то, что Скачинский, оказывается, едва ли не единственный зек, благополучно сбежавший из магаданского лагеря, о чём упоминает Солженицын в «Архипелаге». В далеком 1974 году Александр Сергеевич об этом своем подвиге ни словом не обмолвился, хотя производил впечатление человека, для которого не существует запретных тем.

* Этот первый мой робкий шаг в сторону ненормативной лексики попытался пресечь... компьютер. При проверке текста он выдал сообщение, что слово «пидор» в русском словаре отсутствует и порекомендовал заменить его на «Сидор». Растроганный этим советом, я предлагаю самым застенчивым читателям такую вот, компьютерную, редакцию реплики А.С.: «Настучит, старый Сидор...»

ГУМ

Как много в этом звуке...

А.С. Пушкин

Следующий раз я оказался в столице по заданию челябинского предприятия оборонного комплекса. «Командирован в Москву, в организацию п/я ... для решения технических вопросов» — сухо, но весомо записано было в моих сопроводительных документах. Увы, они что-то значили лишь на территории этого самого п/я ... А выходя за его проходную, я превращался в рядового гостя столицы. Из тех, что неторопливо и вполне бесцельно перемещаются по улицам и площадям, азартно охотятся за лишними билетами в столичные театры, а после вновь допоздна бродят по огромному городу.

Торговые учреждения столицы я в своих странствиях инстинктивно обходил стороной. И лишь решив все предписанные мне технические вопросы, в последний день командировки отправился в Государственный Универсальный Магазин для совершения покупок, согласно перечня заказов от супруги и родственников.

За несколько часов мне удалось обойти всё необъятное здание ГУМа. После чего, измученный духотой и собственным ничтожеством, я в сердцах выбросил список заказов. Пропади они пропадом, все эти покупки. Обойдёмся!

Очереди, очереди... Прислонившись к перилам второго или третьего (сколько их там?) этажа, я наблюдал, как внизу, па первом, клубясь и набухая, стало возникать это чудовище. Повинуясь действию неведомого силового поля, москвичи и гости столицы стремглав бросались за ускользающим хвостом новорождённого монстра, который всё увеличивал и увеличивал фаллосообразно свою длину. Несколько секунд конвульсий, и очередь, чуть съёжившись, замирает. Номерок на руке, складной стульчик, усталое, отрешённое лицо... В очередях не ропшут, в очередях — надеются.

Я побрёл к выходу, размышляя о том, что в каждой очереди есть счастливцев, которому достанется последнее дефицитное нечто, и есть горемыка за его спиной, которого судьба обидит сильнее всех: именно на нём это самое нечто закончится. Жуть... Поэтому я никогда не встану в большую очередь. Разве только вот в такую: всего человек пятнадцать, и всё женщины. Может быть, детские товары?

— Простите, за чем очередь?

Молчание было мне ответом. Повторяю вопрос. В ответ — загадочные, джокондовские улыбки. Подымаю голову и оглядываюсь по сторонам: господи, это очередь в женский туалет.

Добитый своей оплошностью, безразличный ко всему, я покидал ГУМ, волоча за спиной пустую сумку.

И вдруг, уже у самого выхода, я ощутил упругий толчок в предплечье. Стройная, холёная и очень красивая женщина, гневно сверкнув глазами, проследовала сквозь меня. Нет, не так, — вспомним классика: «Она проселестела, словно ветка, полная цветов и листьев».

Ну, будет... В целом, я стараюсь придерживаться рационального взгляда на жизнь. Поэтому перехожу сейчас от цветов и листьев к сухому изложению фактов.

Итак, о женщине: она стремительно рассекала пространство своим высоким, упруго подрагивающим в такт её шагам, бюстом, и все рассыпались, не смея помешать движению этого прекрасного тела. Лишь я, замо-

танный гость столицы, посмел, оказывается, не уступить ей дорогу. Осознав это, я крикнул ей вслед: «Простите, я вас не заметил», не понимая в тот момент кощунственного смысла фразы.

Она не обернулась... Рядом с незнакомкой двигался замшевый мужчина могучего телосложения. Ему бы пристали огромные шаги, а он семенил в толпе, лавируя среди встречных посетителей ГУМа. Я бросился следом за этой парой. Бесцельно, просто так...

Мужчина продолжал свой странный танец, умудряясь на ходу что-то рассказывать своей спутнице, за что та изредка одаривала его сдержанной улыбкой, а меня — возможностью видеть в этот момент её идеальный профиль. Я заметил, что у мужчины довольно-таки кривые ноги, и злорадно усмехнулся, хотя и сам, увы, не отличаюсь стройностью фигуры.

Тем временем мы подлетели к чёрной двери, которая немедленно распахнулась, поглотив незнакомку и её замшевого спутника. Потом дверь закрылась. «Администратор ГУМа» — было написано на ней.

Минуту или две я стоял перед дверью, чувствуя, как на меня наваливается вся усталость этого нелепого дня и еще что-то такое, чему я затрудняюсь дать точное определение. Щегольские туфли челябинской обувной фабрики невыносимым огнем жгли мои ноги, потёртый плащ панцирем сковывал спину и плечи, роговые очки в модной оправе ценой 2 руб. 10 коп. медленно, с хрустом проламывали мою переносицу... Я видел себя глазами незнакомки из торгового зазеркалья, и впервые, пусть на короткое время, понимал всех, стоящих в Очереди или рвущихся в то поднебесье, где есть всё. С доставкой на дом. Но это было, поверьте, лишь минутное состояние.

— Старик! — сказал я себе, вспомнив к месту популярную в те годы книжку. — «Мы чужие на этом празднике жизни». И вообще... пора собираться в аэропорт. Сегодня вечером — самолет на Челябинск.

ТЕАТР

... с нами Павлик Морозов

Из песни

Рассказать читателям о известных мне методах приобретения лишних билетов в театр я решился после долгих раздумий, вполне понимая, что сейчас на смену проблеме лишнего билета пришла проблема лишних денег, при наличии которых этот самый билет можно спокойно купить в кассе перед началом спектакля. Увы, давать кому-либо советы по вопросу зарабатывания денег я не имею никакого морального права. Грустно, но это так. Что касается добывания лишних билетов, то здесь мои успехи были куда весомее. Странно, если подумать... Ведь что такое билет в Театр на Таганке во времена Ю.Любимова? Это самый что ни на есть дефицит. Дефицит, который я умел доставать. Значит, было, было во мне заложено природой пресловутое умение жить в условиях развитого социализма; жить и соответствовать всем стандартам советского благополучия. Так почему... Ладно, не надо о грустном. К теме!

Метод первый, тривиальный — спрашивать наугад в толпе у театра лишний билетик — я упоминаю лишь в силу его неоправданной популярности. Этакая театральная рулетка с минимальными шансами на выигрыш.

Метод второй, психологический. Необходимо минут за двадцать до начала спектакля вычислить в толпе юношу, к которому не придёт сегодня приглашённая им девушка. Приметы горемыки: нервничает, то и дело смотрит на часы. Вы скажете — таких много. Выберите из них юношу, от которого веет подлинной безнадежностью.

Если подобного рода психологический этюд вам не по плечу, то... пользуйтесь методом №1. Искусство покупки лишнего билета требует определённых способностей.

Если вы справились с поставленной задачей, то необходимо сразу же деликатно отметить у этого горемыки, потому что вскоре его непременно вычислят ваши многочисленные конкуренты. Но: если вы отметились первым, если не надоели обладателю билета бестактными приставаниями («Продай, всё равно не придёт, спектакль начинается — продай»), а напротив, всячески выражали ему своё сочувствие («Не волнуйтесь — придёт, давайте закурим...»), то ваши шансы на успех велики.

Метод третий, самый оригинальный. Встаньте незадолго до начала спектакля у ближайшего телефона-автомата. Заметив человека, который направится от театрального подъезда к этому телефону, последуйте за ним. Деликатно подслушайте его разговор. Если там будут фразы: «Как это не придёшь?»; «Я так и знал(а)»; «Ведь ты же обещал(а)» — обратитесь к клиенту сразу на пороге телефонной будки. Билет вам продадут с удовольствием и по номиналу, приговаривая зловеще что-то вроде: «Лишнего билетика? Вот именно, что лишнего... лишнего билетика...»

Овладев этими приёмами, я посмотрел в годы застоя многие известные спектакли Театра на Таганке. Но планку на уровне «Мастера и Маргариты» или «Преступления и наказания» взять методом *лишнего билетика* не удавалось.

И вот однажды у таганского театрального подъезда я заметил, что меня бесцеремонно разглядывает незнакомый юноша. Видом своим и одеждой он мало походил на любителя изящных искусств. Скорее в молодом человеке угадывался убеждённый противник движения абстинентов. «Странно», — подумал я, но по инерции задал ему традиционный вопрос.

— Билета нет, а провести в театр могу.

— ?

— Один портвейн. Топай к винному за углом, у «Звёздочки». А я тебя здесь подожду.

Чувствуя, что напал на золотую жилу, я взял три бутылки вина. Увидев это великолепие, паренёк одобрительно хмыкнул, глаза его потеплели. «Павлик Морозов, — представился он. — Не думай, это не кликуха. Меня правда так зовут. Я — рабочий сцены в этом ...* театре. Вообще-то три флакона стоит «Мастер», а сегодня «Маяковский» — он идёт за один. Но, хозяин — барин. Пошли!

Через хозяйственный двор мы проникли в здание театра. Павлик завел меня в свою каморку и стал откупоривать бутылку. «Спектакль начинается. В зал бы пройти, — сказал я. — А вино — уж без меня».

— У нас так не положено, — строго сказал мой новый знакомый. — Но где же эти ...* стаканы, где?

Стаканы куда-то запропастились. Павлик расстроился и молча повёл меня сложным путём в новое здание театра, но не в зрительный зал, а в

*Ненормативная лексика. Имя прилагательное, семь букв.

пустую комнату рядом с осветителями, откуда из окна замечательно просматривалась сцена.

— Смотри свой ...* спектакль, а я к тебе ещё зайду.

Действительно, вскоре Павлик вернулся. С сумкой, из которой он извлёк бутылку и стакан.

— Порядок, — сказал он. — Теперь порядок. Пей! За дружбу.

— А курить здесь можно ?

— Всё можно. — Сказал Павлик. — После спектакля спустишься к нам. Посидим...

Никогда ещё портвейн из «огнетушителя» и тридцатикопеечная «Ява» не казались мне такими вкусными, как во время этого спектакля. Праздник омрачило лишь одно обстоятельство: впервые постановка Ю. Любимова оставила меня вполне равнодушным. Литературный монтаж с парой-тройкой «фиг в кармане» — не более того. Одна, правда, помнится до сих пор:

Маяковский. Хорошо у нас в стране Советов!

Пушкин. Можно жить?

Маяковский (*после большой паузы*). Работать можно. (*Пауза*). Дружно... (*Смех, бурные аплодисменты.*)

Но ведь и Павлик Морозов честно предупредил меня, что оценка у спектакля низкая: один «огнетушитель». Так что всё справедливо, почти по Ломоносову: «Где в одном месте сколько ни прибудет, в другом столько же убудет». Главный выигрыш того памятного дня — уникальное знакомство.

Действительно, благодаря П. Морозову мне удалось во время командировок увидеть практически все спектакли из репертуара Театра на Таганке. С Павликом я подружился настолько, что он стал проводить меня в театр совершенно бесплатно, а портвейн я приносил ему просто так, из уважения. И это было хорошо, по-человечески... Но, поскольку количество принесённого портвейна спонтанно варьировалось мной от раза к разу, — я оказался отсечен от бесценной информации: подлинных расценок на каждый спектакль в стандартных для Морозова единицах измерения. Сведения эти доходили до меня лишь изредка, через третьих лиц. Мои прямые вопросы Павлик обрывал фразой: «Для тебя — бесплатно». И я деликатно менял тему разговора. Ведь в те годы информация о количестве портвейна, которым оплачивалось посещение того или иного спектакля, могла вызывать у настоящего театрала лишь снисходительную улыбку: «Подумаешь, бином Ньютона!»

Заря капитализма над Россией помогла нам переосмыслить многое. Так, я понимаю сейчас, что классификация П. Морозова была интересна уже только тем, что базировалась на объективных законах театрального рынка, отражала всю совокупность обстоятельств вокруг опального театра. Переиначив известное выражение, скажу так: это народ определял подлинную стоимость спектаклей, а Морозов лишь переводил её в физические величины. И очень жаль, если эти ценные для истории советского театра сведения, пропали бесследно. Быть может, среди клиентов Павлика был человек, склонный, в отличие от меня, бережно относиться к любой информации, и где-то в его архивах ожидает своего часа пожелтевший театральный рейтинг-лист от П. Морозова.

*Ненорм, лексика. Имя прилагательное, семь букв.

Но, отдавая должное объективным, интегральным критериям той классификации, я остаюсь во власти собственных волюнтаристских суждений и оценок: мои любимые спектакли не входили в число самых легендарных постановок театра.

«Деревянные кони». Когда я слышу сегодня, что Театр на Таганке привлекал зрителей лишь вольнодумством, а подлинным искусством там и *не пахло*, то, в несогласии своём, в числе первых вспоминаю этот спектакль по произведениям Ф.Абрамова. Не исключено, что постановку отличали мастерски выстроенные мизансцены, а также наблюдалось «действенное стремление к достижению сверхзадачи» — или наоборот — совершенно не наблюдалось... Право, не знаю — эти вопросы в компетенции профессиональных театроведов. Достоверно могу утверждать лишь то, что и сегодня спектакль помнится мне в деталях — ярким, динамичным, берущим за душу зрелищем. Так вот, если спектакль пробудил в душе добрые чувства, поразил и запомнился, уверен, большинству зрителей на многие годы — не настоящее ли это искусство обитало в тот вечер на сцене Театра на Таганке?

«Товарищ, верь...»: литературная композиция по произведениям А.С.Пушкина. Ни сюжета, ни интриги, ни запоминающихся выпадов в адрес *тиранов* (а уж такого рода намёки читались таганской публикой не раз). Но Смехов, Золотухин и остальные участники спектакля играли в *Пушкина* с таким наслаждением, что переполненный зал явственно чувствовал, насколько все эти молодые актёры близки по духу друг другу, любят свою Таганку, свой особый мир, который дарит им в ответ редкую возможность приподниматься над неизбежными в любом театре проблемами, склоками, над всеми мерзостями нашей жизни и так вот красиво *оттягиваться* на глазах восхищённой публики. Ясно было, что после спектакля актёры не смогут просто разойтись по домам, а поедут вместе куда-нибудь бражничать, читать стихи... Лишь бы продлить это замечательное, от Пушкина, состояние свободы и вольнодумства. Помню пронзительное чувство зависти, с которым я ушёл со спектакля: так захотелось в этот вечер оказаться вместе с актёрами, по ту сторону рампы. Подобного желания ни в одном театре я больше не испытал.

Что до спектаклей — легенд Театра на Таганке, абсолютных лидеров рейтинг-листа Морозова, то и здесь, кажется, не всё бесспорно.

«Гамлет» с Владимиром Высоцким. Мне довелось увидеть эту постановку в самом конце её сценической жизни, когда канонизация шедевра уже завершилась, и утомлённая долгим атеистическим воздержанием театральная публика была едина в своём требовании к «Гамлету»: «Чуда! Нам обещано чудо!». А чуда не было. Был спектакль: замечательный, оригинальный, но... обречённый уже никогда не дотянуться до гипертрофированных зрительских ожиданий. Диалектика...

*Цитата № 1. В. Высоцкий. — Да, я наигрался, и я понимаю даже, что спектакль («Гамлет» — С.А.) идёт уже не тот... и публика уже не та идёт, и всё валится, и партнёры вне игры...**

«Мастер и Маргарита». Небольшое отступление. В разгар споров о высоком интеллекте дельфинов один известный учёный заявил, что у этих безответных животных разум никак не мог развиваться до того уровня, который приписывают им азартные исследователи. Потому что дельфины изначально

*27. 03. 1976. Из дневников В. Золотухина, «Дребезги», М., 1991 г.

но были слишком хорошо приспособлены к морской среде, а значит, и объективной необходимости «умнеть» в процессе эволюции у них не было.

Я понимаю двусмысленность аналогии, которую собираюсь сейчас привести (и врагов у Театра на Таганке всегда было в избытке, и творческая эволюция — кредо театра), но, тем не менее, думаю, что спектакль «Мастер и Маргарита» настолько изначально был обречён на громкий, скандальный успех по причинам не творческого, а именно общественно-политического характера, всей запутанной ситуации вокруг *диссидентствующего* театра, что стать ещё и художественным событием не мог. Не было в том объективной необходимости.

«Мастер и Маргарита» ещё раз продемонстрировал ту, творческого плана, опасность, с которой театру постоянно приходилось бороться: искусства за счёт политической ангажированности, атмосферы скандала. Спектакль показал, что Ю.Любимов начал в этой борьбе сдавать позиции.

Цитата №2. ...Эфрос считал «Мастера и Маргариту» спектаклем поверхностным, художественно не принимал его.

*Цитата №3. А.Эфрос (в ответ на просьбу труппы о восстановлении «Мастера и Маргариты») — Пусть восстанавливают, если хотят, но ... спектакль мне — по искусству — не нравится.**

С другой стороны, некорректно рассматривать сегодня «Мастера» лишь с позиций чистого искусства, вне контекста годов застоя. Вспомним убийственную рецензию в «Правде» под заголовком «Сеанс чёрной магии на Таганке» (такой эффективности реклама удалась газете повторно только через много лет, в случае с опальным Ельциным). После этой статьи каждый спектакль шёл в ауре *самого последнего раза*. И тут уже только усиленные наряды милиции могли хоть как-то сдерживать любителей муз в их настойчивом стремлении приобщиться к прекрасному. А если бы ещё и сама постановка была из числа лучших? Не сам ли провидец Воланд уберёт Ю.Любимова от очередной творческой победы?

Здесь я возвращаюсь к симпатичной мне системе оценок П. Морозова. И у него «Мастер» занимал совершенно особое место. От клиентов не было отбоя...

Когда после спектакля мне удалось дотащить Павлика до дома, его супруга, густо используя ненормативную лексику, объяснила, что только с этого ...** «Мастера» мужа её всегда приносят. С других-то спектаклей он обыкновенно своими ногами добирается.

«Вот оно, — подумалось мне, — подлинно народное, русское, пусть со слезами на глазах, но — признание успеха спектакля». Я хотел было порадовать этой мыслью супругу Павлика, как вдруг, глянув на измученное лицо женщины, осёкся... А следом испытал стыд и раскаяние. За что так страдает Павлик и его семья? Да будь «Мастер и Маргарита» в постановке Ю. Любимова трижды шедевром — вправе ли я платить за вход в театр так дорого? Тут ещё вспомнился, на беду, Достоевский с его «слезой ребёнка», и я решил: «Довольно! Отныне стану приносить Морозову в театр только фруктовые соки. А если наша дружба не выдержит столь сурового испытания — что ж... со мной моё искусство приобретать лишние билеты».

Но затея с соками не удалась. Когда через пару месяцев я вновь приехал

*Из дневников В. Золотухина, «Дребезги», М., 1991г.

**Имя прилагательное, восемь букв

в Москву, Ю. Любимов уже покинул СССР, уволив незадолго до отъезда П. Морозова из театра. За пьянство.

Оба эти события остались в моей памяти равновелико горькими. И вместе и в отдельности они значили для меня прощание с той Таганкой, которую я любил.

ГОРБАЧЁВ

Мы с тобой — два берега...

Из песни

Что, кроме скупых биографических сведений, знали мы ещё недавно о руководителях нашего советского государства? Ничего не знали. Информация о психологических особенностях наших лидеров, их привычках, симпатиях и антипатиях, входила в число главных государственных тайн и потому, кстати, вызывала острый интерес у советских граждан. Но всё это — в прошлом.

В прошлом — душная атмосфера годов застоя, трагическая замкнутость информационных пространств; перестройка, необратимость перемен и постепенное горькое осознание того, что наш жизненный опыт не вызывает у подрастающего поколения никакого интереса. Актуальнейшие недавно темы: советская торговля, гостиницы, лишние билеты в театр, а теперь вот, в этой главе, подлинные, неопубликованные ранее сведения из жизни последнего Руководителя СССР — и всякий раз автор вынужден мучительно искать утилитарное зерно в своих воспоминаниях, примерять их на «юношу, обдумывающего житьё», а после с грустью шептать вслед за поэтом: «Мне снится, будто я от поезда отстал». Пусть так! Утешаю себя той расхожей мыслью, что всякая правдивая информация должна быть обнародована. Тем более, что события 1985 года, о которых я собираюсь сейчас рассказать, позволят нам прикоснуться к противоречивой фигуре одного из крупнейших реформаторов XX века и даже попробовать ответить себе на вопрос: «А наличествуют ли в моём характере психологические предпосылки для исполнения роли главы государства?»

Представьте: выполняя служебные обязанности главы государства, вы идёте по московским улицам и случайно замечаете в подвале старой пятиэтажки приметы жизни: решётки на окнах, мебель, электрический свет, люди. Ваши действия? Выберите один из вариантов ответа:

1) Пройду мимо, озабоченный своими прямыми государственными обязанностями.

2) Живо поинтересуюсь, неужели в Москве люди до сих пор живут в подвалах, попрошу товарищей по работе немедленно спуститься в это помещение и доложить обстановку. Когда выяснится, что в подвале — гостиница некой научной организации, зайду туда и поговорю с народом, и строго укажу всем присутствующим на отсутствие какой-либо наглядной агитации в этом публичном учреждении, что не делает чести его руководителям.

...Ясно, что я ломлюсь в открытую дверь, и угадать правильный ответ никакого труда не составляет. Да, именно в соответствии с п. №2 поступил летом 1985 года наш Генеральный Секретарь.

Историю неожиданного посещения М.С.Горбачёвым ведомственной гостиницы Конструкторского Бюро Прецизионной Механики (КБПМ),

которая располагалась в подвале старого дома, рядом с памятником Г. Димитрову, я слышал от многих знакомых сотрудников КБПМ. Рассказы их совпадают даже в деталях, что даёт мне основание включить эту историю в своё документальное произведение. Вот только поверит ли в её подлинность читатель? Какова психологическая подоплёка экстравагантного поступка молодого Генсека? Вопросы, вопросы...

Ответы мои будут психологически достовернее, если я персонифицирую своего оппонента. Отчего-то вижу его в образе потрёпанного жизнью советского человека с извечным: «Ну-ну, рассказывай...» на утомлённом лице.

Итак: Оппонент. — Зачем бы это Генсек отправился пешком по ул. Димитрова?

Автор. — Там неподалеку — гостиница ЦК (ныне — «Октябрьская»). Поэтому Партия наметила облагородить прилегающие территории. Горбачёв решил лично познакомиться с фронтом работ (а через окно автомобиля это делать неудобно) и, не исключено, дать пару — тройку полезных советов архитекторам. Это — в традициях советского руководства (Сталин — гостиница «Москва» и т.д.).

О. — Помощники доложили: в подвале пятиэтажки — гостиница. Но зачем Генсеку туда заходить?

А. — Вынужден вступить на зыбкую почву предположений:

Версия №1. Сработало знаменитое политическое чутье Михаила Сергеевича. Близкое (метров двести) соседство лучшей в СССР гостиницы и подвал — отель КБПМ (удобства в коридоре, горячей воды нет и никогда не было) могло подтолкнуть западную прессу к неприятным для нас умо- заключениям. И вполне в традициях советского руководства оценить ситуацию на месте и принять решение лично, а не перекладывать ответственность на подчиненных.

Версия №2. Из любопытства и тщеславия. Новоиспеченный Генсек должен был ещё чувствовать глубокое удовлетворение от того шока, который вызывали внезапные встречи с ним у простых людей. Плановая встреча с трудящимися в Кремле — это всего лишь страничка политической хроники; внезапное посещение ночлежки для советских людей — гарантированная легенда о новом Генсеке. Почувствуйте разницу! Вспомните Ельцина в трамвае.

Версия № 3. В силу естественной физиологической потребности.

Версия №4. Экстравагантный поступок Михаила Сергеевича обусловлен совокупностью всех перечисленных обстоятельств.

О. — Допустим, был он там. Ну и что?

А. — Нелёгкий вопрос... Вспомним: 1985 год, страна замерла в ожидании перемен. Народ и Михаил Сергеевич пытливо разглядывали друг друга. И как же кстати случилась эта уникальная своей спонтанностью встреча с простыми людьми в подвале старой пятиэтажки, наша моментальная, на долгую память Генсеку, фотография без намёка на ретушь.

О. — И что же он на ней увидел?

А. — Согласно правилам внутреннего распорядка гостиницы, всем постояльцам полагалось быть с 8 до 17 часов в здании КБПМ на окраине Москвы. Поэтому хозяйка заведения, старая пиратка Марья Мартыновна каждое утро безжалостно выпроваживала гостей столицы, запирала дверь, опохмелялась и приступала к уборке помещения. Остаться можно было только отъезжающим в первой половине дня, и то лишь после бесцеремонной проверки билета лично Марьей Мартыновной.

Вообще, Марья Мартыновна была замечательна каким-то абсолютно искренним, врождённым, органичным для её натуры хамством. Эта черта характера хозяйки воспринималась большинством постояльцев даже с некоторым добродушием, как неотъемлемая часть гостиничного пейзажа. Меня лично всякая беседа с Марьей Мартыновной заражала пусть отрицательной, но энергией, необходимой гостю столицы в его столкновениях с московскими реалиями. Ещё пребывал в неизвестности А. Кашпировский, ещё А. Чумак не начал свои целительные сеансы молчания по Всесоюзному радио, а Марья Мартыновна вовсю уже выступала в роли энергетического донора.

О. — Замечательная женщина, — самая подходящая кандидатура для встречи с Горбачевым!

А. — Не могу с Вами согласиться. Успех импровизированной встречи лишь в малой степени зависел от особенностей характеров или биополей Михаила Сергеевича и Марьи Мартыновны. Главным, определяющим фактором в такого рода мероприятиях, является внешняя, эстетическая сторона, цветовое и композиционное решение. Вспомним картину народного художника СССР Д.А.Налбандяна «Малая земля, Новороссийск»: красивый Брежнев вещает красивым солдатам. Эстетика соцреализма! А о чём там ведёт речь политрук — не столь важно.

Но вот полотно «М.С. Горбачёв беседует с труженицей Марьей Мартыновной в холле отеля КБПМ», при всём своём реализме, несло бы в себе следы явных эстетических передержек для Горбачёва образца 1985 года. Тусклый свет, гнетущая атмосфера подвала, непрезентабельная Марья Мартыновна, — и всё это на глазах свиты, которая исподволь изучала и оценивала ставропольского выскочку. Конечно, Михаил Сергеевич не мог не почувствовать двусмысленности ситуации, в которой оказался по своей инициативе. Беседа не клеилась. Марья Мартыновна знала, что если заговорит, то непременно что-нибудь ляпнет, поэтому из последних сил держала язык за зубами и отделялась от Михаила Сергеевича междометиями.

Именно тогда, желая разрядить ситуацию, Генсек и сделал своё справедливое замечание о средствах наглядной агитации и пропаганды. «Почему таковые отсутствуют в общественном заведении?» Сопровождающие лица возмущенно зашумели, началось бурное обсуждение этой, очень своевременной и справедливой затронутой Михаилом Сергеевичем, проблемы.

Воспользовавшись моментом, Марья Мартыновна сделала шаг в приоткрытую дверь кладовой, схватила телефон и нажала кнопку «зам. по быту КБПМ». Начальник её оказался на месте, и на фразу: «У меня здесь Горбачёв» ответил достойно: «С утра наклюкалась? Уволю! Жалоб на тебя...»

— У меня — Горбачёв, а у тебя ни... никакой здесь агитации нет. Всё, конец связи — Горбачёв зовёт.

Зам. бросил трубку, на секунду задумался и — помчался в библиотеку КБПМ за средствами наглядной агитации. Старый номенклатурный работник вспомнил, что за два десятка лет их совместной работы Марья Мартыновна не пошутила ни разу.

Как ни быстро летела служебная «Волга» через весь город, застать Михаила Сергеевича в гостинице руководству КБПМ не удалось. Но это не значит, что поездка была напрасной. Портрет Горбачёва и подшивка газет из библиотеки были с гордостью продемонстрированы молодому человеку в дымчатых очках, который на другой день спустился в подвал проконтро-

лизовать, какие меры приняты коллективом предприятия в части устранения замечаний Генерального Секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва.

— Отлично — похвалил коллектив предприятия молодой человек и ушёл. А портрет Генсека и растрёпанная подшивка газет ещё несколько лет украшали холл гостиницы. По горячим следам происшествия родился слух о горячей воде, которой якобы сам Горбачёв приказал гостиницу обеспечить, но, по-видимому, это был только слух...

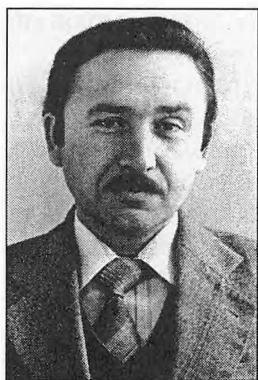
* * *

Так закончилась эта невероятная история, которая если и задела кого всерьёз, то лишь автора этих строк. Потому что приключилась-то она, поверьте, *на другой день* после моего отъезда из Москвы, из гостиницы КБПМ. Да, судьба провела Михаила Сергеевича и меня через общую точку пространства, но зачем-то разнесла моменты прохождения нами этой точки ровно на сутки.

— Ну отчего, — сокрушался я, — такая несправедливость? Всего сутки — и, вместо безмолвствующей Марьи Мартыновны, в памяти Генсека остался бы автор этих строк с пламенной речью на тему наиболее эффективного обустройства СССР. Мне хватило бы пяти минут, чтобы открыть ему глаза на многое: либерализация экономики и свобода слова, демилитаризация и многопартийность... Да мало ли существовало тогда проблем, в решении которых я готов был бескорыстно помочь молодому Генсеку.

Обида жила во мне долго, до той поры, пока я не увидел, что Михаил Сергеевич начал реформы так, словно тот наш разговор в гостинице всё-таки состоялся. Словно мои мысли каким-то экстрасенсорным способом попали к Горбачёву, и он строго следует им, скрывая имя истинного автора. «И пусть, — думал я, — лишь бы процесс шёл и шёл».

А потом случилось всё то, что случилось. И нет больше советской империи, и вырос в Москве Храм имени того, кто в этом веке спасал Россию без всякого энтузиазма, и список потерь большинства из нас длиннее списка приобретений, и редко-редко можно встретить сегодня это имя: Михаил Сергеевич Горбачёв. Но когда такое случается, на меня накатывают воспоминания о нашей несостоявшейся встрече, и я вновь и вновь задаюсь вопросом: гордиться ли мне тождественностью своих реформаторских идей и идей Нобелевского лауреата? Или печалиться над тем, что в горемычной России представления крупнейшего реформатора так недалеко ушли от моих собственных дилетантских воззрений? Спрашиваю — и не нахожу ответа...



Борис МАЙНАЕВ

Саарбрюккен

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО

Утро для Анта Берга началось с приседаний. В сотый раз сгибая колени, он неожиданно для себя услышал сдавленный стон. «Вот оно, сумасшествие, самое страшное, о чем меня предупреждал адвокат, — подумал Ант, — но меня так просто не возьмешь».

— Эй ты, электронное чучело, — крикнул он, подняв голову к потолку, — на меня не действуют ни шумовые эффекты, ни голограммы. Изучи медицинскую карту и не трудись, Берг так просто из равновесия не выйдет. Скорее у тебя перегорят все предохранители, нежели ты доведешь меня до дрожи.

Ант спокойно доделал весь комплекс упражнений и опять услышал тяжкий стон, сопровождаемый едва слышным ударом.

— Амёба и пожиратель амёб, — он по привычке выругался вслух, — это же сработала метеоритная защита. Может быть, — Ант неожиданно для самого себя перешёл на шёпот, — это тот самый счастливый день, который я жду уже двадцать пять лет четыре месяца и три дня?!

В режим межгалактической тюрьмы для особо опасных преступников «Дзета» входили часы массовых спортивных развлечений и еженедельные политические диспуты, но Берг больше всего любил говорить сам с собой.

«Профессия такая, — шутил он в обществе незнакомых женщин, — сказал что-нибудь человек, глядишь, а тебя ждёт умелец из Интерпола».

Вот и сейчас он решил, что настроенные на его голос машины могут в любой момент опустить с потолка сеть и ограничить его свободу квадратным метром клетки. Поэтому он молча обошел камеру, осмотрел стены, потолок, подошел к двери. Металлопласт, замаскированный под камень, был по обыкновению тёплым. Ант нажал рукой, приложился плечом, но дверь не поддавалась. Одно было удивительным: еще утренняя попытка прикоснуться к двери вызвала искренний смех электронного сторожа, а сейчас он молчал.

Стон, всё явственнее доносившийся из-за стен, перешел в непрерывный гул.

— Клянусь двуокисью азота, — буркнул себе под нос Ант, — наверху происходит что-то занятное. Осталось только, чтобы какая-нибудь планетка рухнула мне на голову.

— Ну, нет, этому не бывать. Вы еще услышите Анта Берга! — громко крикнул он, подняв голову к потолку.

«Услышим, услышим, — обычно ехидничал после этих слов сторож, — когда лет через двадцать ты перед смертью застучишь зубами».

На какое-то мгновенье Бергу показалось, что он услышал знакомые

слова, но нет — тишину камеры по-прежнему нарушал лишь басовитый гул тепловых пушек.

И тут страшный удар швырнул Берга к дивану. Перехватило дыхание, и ему даже показалось, что он умер. Где-то закричали люди, и Ант понял, что по-прежнему видит и слышит, а значит — жив. Вопль сотен глоток, казалось, способен был разрушить стены, и одна из них действительно упала. Берг увидел огромный двор, на который со всех сторон выбегали люди. Новый удар вернул Анту способность мыслить. Теперь открылась дверь. Но он продолжал лежать и смотреть в прошлое.

— Свобода! — закричал кто-то, и десятки заключенных побежали к развалинам ворот. На гребне уцелевшей стены ожили парализаторы. Очередями, одиночными выстрелами и рассеянными пучками они стали валить узников на землю, но новые толпы снова лезли под невидимые лучи.

Ант смеялся.

— Протоплазма, кто же так бежит из тюрьмы? Из нее надо спокойно уходить.

Берг встал, осмотрелся и, не обращая внимания на скачущий под ногами пол, тщательно оделся. Потом легонько толкнул дверь и вышел. За четверть века он много раз мысленно проходил этим путем. Ещё в зале суда, когда мелодичный голос электронного судьи произнес роковые слова «пожизненное заключение», Ант решил, что непременно сбежит.

«Сделать это невозможно, — усмехнулся ему в глаза адвокат, — «Дзета» полна ловушек».

На звездолете, который нес Анта к Таиру, он был так собран, что малейшая оплошность экипажа могла бы стоить тому жизни, но Берга дальше каюты не пускали. На все попытки заключенного подобрать код к замку, дверь отвечала резкими ударами тока. У порога «Дзеты» Ант до предела мобилизовал свое внимание. Он шел за надзирателем и запоминал каждое его движение, считал ступени и повороты коридоров. И сейчас Бергу казалось, что он близок к своей мечте. Он медленно, но четко ставил ступню, метр за метром удаляясь от камеры.

«Здесь должен быть щит, разделяющий этажи», — подумал он и действительно увидел щит. В центре мерцал круг, обозначающий зону повышенной опасности. Ант решительно подошел к месту, где двадцать пять лет назад останавливался надзиратель, и сунул руку в контрольный блок. Тот удивленно крякнул.

«Господи, — взмолился беглец, — а если он настроен на запах или отпечатки пальцев, то сейчас так шарахнет током, что я не встану до самого потопа».

Блок зажужжал, поморгал разноцветными лампочками и поднял щит. Берг собрался шагнуть вперед, но что-то остановило его. Секунду, другую он всматривался в коридор, потом достал из кармана носовой платок и резко бросил его перед собой. Белый комочек не успел опуститься на пол, как из потолка ударили две ослепительные струи, и ткань испарилась. Беглец присел на корточки и внимательно осмотрел пол. Едва заметная дорожка, по которой, видимо, ходили надзиратели, шла вдоль левой стены. Ант, ни мгновения не колеблясь, вступил на нее. Коридор закончился двумя ступенями. По ним ходили. Почти на цыпочках Берг пересек их и шагнул в ярко освещенный проход. После первого шага ему показалось, что пол стал мягким, а потолок опустился. Ант, не оглядываясь, прыгнул назад, и тут упала потолочная плита. Беглец едва успел прижаться к стене,

Его прошиб холодный пот. Прохода не было. Берг провел рукой по стене и неожиданно для себя увидел, что стоит на дне глубокого колодца. Он заставил себя успокоиться, вытер со лба пот, отдышался. Наверху кричали. Хлопки парализаторов иногда перекрывали гул тепловых пушек. Метеоритная атака продолжалась, а заключенные не теряли надежды выбраться.

«Только куда они побегут дальше?» — усмехнулся Берг, неожиданно поняв, что судит о своих товарищах со стороны, как будто на дне колодца стоит кто-то другой.

Ант снял ботинки, засунул в них носки, потом связал их между собой и повесил на шею. Тонкая кожа босых ног ощущала каждую неровность теплого пола. Берг руками и ногами уперся в стены колодца и медленно стал взбираться вверх. Несколько раз стены сходились, и человек едва продирался сквозь узкий лаз. Временами они начинали дрожать, и ему казалось, что все сейчас рухнет.

Левая нога провалилась в пустоту. Берг дернулся всем телом, поворачиваясь в ту сторону, и схватился руками за небольшой карниз. Было темно. Узник осторожно перебрался через карниз. Голые пальцы ног скользнули по ровной поверхности вертикальной стены. Ниже, ниже, и тут беглец чуть не вскрикнул — ноги погрузились в ледяную жидкость.

«Кислота?! Жидкий газ?! Они хотят меня заморозить?!»

Но нет, пальцы спокойно шевелились, а когда прошло мгновение страха, Ант отпустил карниз и до самой головы погрузился в воду. Что это была обыкновенная вода, он определил на вкус. Это был круглый бассейн с гладкими стенами. Берг долго плавал, нырял, пока, наконец, не нащупал на дне какой-то рычаг. Он потянул его на себя, что-то вспыхнуло, и Ант увидел, что стоит на полу. Прямо перед ним был проход, поделенный светильниками на равные промежутки.

Берг выжал, как мог, одежду, расправил плечи, потряс кистями рук и почувствовал, что готов к любым неожиданностям. Он прошел шага три и скорее почувствовал, чем увидел, что сейчас что-то произойдет. Ант со всего размаху шлепнулся на пол. Над головой раздался едва слышный звон. Сердце судорожно дернулось и гулко забилося в груди. Ант, не шевелясь, открыл глаза. Это были тонкие оперенные иглы. Их длинные жала сверкали множеством ворсинок.

«Неизвлекаемые», — холодок пробежал между лопаток, но он заставил себя чуть-чуть приподнять голову, чтобы прикинуть расстояние от пола до отверстий, откуда вылетели иглы. Можно было без напряжения ползти вперед. Ант протянул руку, взял с шеи маленькую иглу и, стараясь не думать о том, что ждет его впереди, пополз. Так же ровно горел свет, и легкое подрагивание пола говорило о непрекратившейся метеоритной атаке. Через два поворота проход вперся в переборку. В ее центре мерцал знакомый красный круг, перечеркнутый желтой полосой.

«Посторонним вход запрещен», — вспомнил Ант.

Отверстия, из которых вылетали стрелы, тянулись до самого угла.

«Значит, надо вползать, а не входить. Но как же добраться до контрольного блока?»

Его не было видно.

«Чертовщина какая-то, не может же быть, чтобы они запрограммировали щит на голос».

Он подполз вплотную к переборке и только тут увидел, что в нижнем конце желтой полосы едва виднеются три цилиндрических выступа.

«Потянуть, повернуть? Нет, скорее всего — нажать. Сложить пальцы ша-лашиком и нажать. Только высоковато, не успею встать, как эти «пчелки» уложат меня обратно, только похожего на ежа. Все надо делать по-другому».

Отжавшись левой рукой от пола, он прыгнул вверх. Цилиндры послушно утонули в стене, но прежде чем тело Берга вернулось на пол, он почувствовал боль в кисти правой руки и плече. Посмотреть на рану Ант не успел — переборка с легким звоном подалась вперед, и Берг кинулся вслед за ней.

Это был пульт управления «Дзетой». У огромного обзорного экрана стоял высокий мужчина в форме офицера звездного флота. В кресле оператора тепловых пушек сидел еще один человек. Берг посчитал его менее опасным и прямо с пола прыгнул к звездолетчику. Тот оглянулся, но не успел даже удивиться. Ант ударил его ногами в грудь и горло и тут же бросился ко второму. Оператор, вместо того чтобы закрыться защитным полем, попытался выбраться из кресла. Берг рубанул его ребром ладони по шее и с большим трудом удержал себя от второго удара.

— Кто-то же должен рассказать, куда идти дальше, — прохрипел он и сам удивился нереальности своего голоса.

Беглец нагнулся к оператору, пощупал пульс. Потом подошел к мертвому офицеру и снял с его пояса бластер. Оператор, приходя в себя, застонал. Берг с оружием в руках вернулся к пульта. Он подождал, пока взгляд человека прояснится, и задал ему первый вопрос:

— Как выйти из «Дзеты»?

Мужчина улыбнулся, лизнул кровь, выступившую изо рта и отрицательно покачал головой.

— Вернись в камеру, Ант Берг, ты опасен для общества и должен остаться здесь.

— Не для того я столько прошел, чтобы вновь стать узником вашей крысоловки.

— Ничего страшного ты не видел, — усмехнулся оператор, — это были лишь попытки вразумить тебя. Или от страха и радости ты забыл галактические законы: «Никто не вправе лишить человека жизни». Машина, зная твой нрав и желание бежать, просто подыграла тебе.

— Подыграла, — зарычал Берг, возбуждая себя, — а эти проклятые стрелки — тоже игра?

Он ткнул в окровавленный рукав и только тут почувствовал боль.

Оператор застонал и, тряхнув несколько раз головой, положил руки на рукояти управления тепловых пушек. Здание дрожало от метеоритных ударов.

— Мне надо защищать «Дзету». Иди к себе, Берг, там сейчас самое безопасное место.

— Я сожгу тебя, — закричал Ант и, отведя в сторону ствол бластера, нажал спуск. Молния теплового луча нестерпимым блеском осветила помещение и стекла со стены каплями расплавленного металла.

— Нет, Берг, я не могу позволить выйти из тюрьмы преступнику. Да и куда ты уйдешь? На Таире нет людей, тут единственное жилое место — «Дзета» и метеориты...

Мужчина левой рукой включил обзорный экран, а правой потянулся к пульта. Ант дернул в его сторону бластером, и новая вспышка озарила комнату.

«Почему тут оказался звездолетчик?» Берг подошел к телу офицера. Над ним, на обзорном экране, было видно звездное небо, исполосованное спо-

лохами метеоритного дождя. Картинка дрогнула и поползла вверх, показалась крыша «Дзеты». На ней стоял маленький разведывательный вертолет.

— Амеба, — ударил себя по лбу Берг и кинулся к шахте лифта. В кабине вертолета он ткнул пальцем в клавишу «память» и до отказа выжал рукоять «взлета». Машина прыгнула вверх и понеслась туда, откуда прилетел звездолетчик. Она скакала на месте, отлетала назад, прыгала вверх и вниз — электронный мозг едва находил путь между падающими на поверхность планеты метеоритами.

Вдруг Ант увидел внизу громаду десантного звездолета, прикрытую мутной пленкой силовой защиты. Сквозь нее виднелись люди, что-то делающие у одной из опор корабля. Они увидели вертолет и сняли защиту. Берг резко бросил машину вниз, когда она села, ударом ноги распахнул дверцу и повел перед собой бластером. Огненное покрывало упало на землю, но Берг уже бежал к кораблю. Он споткнулся обо что-то и упал на площадку подъемника. Тот послушно поднял его к люку, и только тут кто-то внизу опомнился и выстрелил в Анта. Луч ударил над самой головой беглеца. Он, не глядя перед собой, нырнул в темноту звездолета, перекатился через голову, вскочил и прыгнул назад. Берг выставил наружу бластер и несколько раз нажал на спуск. Потом нащарил кнопки, закрыл люк, заблокировал его и отдал команду на взлет.

Уже в космосе, убедившись, что в отсеках корабля никого нет, он вспомнил, как заключенные бежали к разрушенной стене и с криком «свобода» падали под ударами парализаторов.

— Протоплазма, — удовлетворенно и громко сказал Ант и стал смеяться. Он хохотал во все горло, со слезами и взвизгиваниями. — Только я, я один за всю пятисотлетнюю историю «Дзеты» ушел из нее. Я, Ант Берг! Теперь мое имя войдет в историю цивилизации.

Первую неделю он спал в боевой рубке, каждую минуту ожидая нападения патрульных кораблей, но его никто не преследовал. Тогда беглец решил выбрать конечный пункт своего маршрута. Он долго сидел перед экраном, вызывая из блока памяти различные участки Вселенной, пока, наконец, не понял, что теперь у него нет пристанища. После долгих раздумий Ант выбрал один из неисследованных участков звездного мира и отдал команду корабельному мозгу вести туда звездолет.

— Отдамся, как Улисс, воле волн.

Полгода по корабельному времени скиталец не выходил из библиотеки. Он пересмотрел все фильмы, перечитал десятки книг. Влюблялся и ненавидел, но однажды утром вдруг понял, что даже самая увлекательная история не стоит одного часа в межзвездном пространстве. Тем более, что Берг осознал свое полное одиночество. Только сейчас Ант испугался. Он обошел весь корабль, побывал в десантных катерах, заглядывал даже в скафандры, но не нашел ни одной живой души. Берг пришел в себя перед люком, когда давил обеими руками на кнопки блокировки, а корабельный мозг не подчинялся, высвечивая транспарант: «Открытый космос».

— Амеба, — обругал себя Ант, и ему показалось, что вместо слов из горла вырвался стон. — Тут и с ума сойти можно. Надо что-то сделать.

Он с трудом взял себя в руки и пошел в медицинский отсек. Здесь скиталец подключил аппаратуру и отдал себя в руки робота-врача. Через час Берг уже мог трезво взвесить свое положение. Он поднял лицо и по старой привычке крикнул:

— Вы еще услышите Анта Берга.

Но в корабле не жило даже эхо. И тогда он начал переборку двигателей десантных катеров. На это ушло два месяца. Семь — отняли приборы, а конца полета не было видно. Теперь он каждый день заходил в медицинский отсек. Вот и в этот раз, выходя из госпиталя, он поймал себя на желании зайти в библиотеку.

— Чего я там не видел? — к нему вернулась тюремная привычка говорить вслух с самим собой. — Будем считать это небольшой экскурсией в детство.

Он сел в кресло и стал перебирать кристаллы книг. За год он не успел прочесть и десятой доли всех этих богатств, но не чувствовал сожаления.

— Приключения, детективы, стихи, математика — какая чушь. Хотя, стоп, я не пробовал одного — математики. А что если... Математика входит в обязательный минимум общечеловеческих знаний, и ее основы впечатаны в мой мозг еще в двухлетнем возрасте. Правда, до сих пор от меня требовалось лишь умение считать деньги да дни в тюремной камере, а сейчас?

Берг решительно натянул на голову шлем со сканирующим устройством и вставил в приемник первый кристалл из раздела «Математика».

Через месяц Ант вовсе перебрался жить в библиотеку. Математика поглотила его. Он понял, что это как раз то, чего не хватало ему всю жизнь. Только вот, изучая науку, он никак не мог отделаться от мысли, что считает чужие деньги. За каждой удачной задачей, красиво доказанной теоремой Берг видел галактические кредиты. Он даже приказал корабельному мозгу изготовить для себя несколько тысяч пластиковых заменителей кредитов. Берг сделал в одном из отсеков банк и выплачивал себе вознаграждение за изученные разделы математики.

Из сладостного чувства гармонии Анта вывел корабельный мозг. Послушный команде он, найдя нужную планетную систему, стал тормозить. Берг отложил все и перебрался в командирский отсек. Через месяц мозг нашел планету с атмосферой, похожей на земную. Ант решил садиться.

Едва стихли двигатели, Берг облачился в скафандр высокой защиты, повесил на пояс бластер и вышел наружу. Легкий ветерок освежил разгоряченное лицо и донес аромат цветов. Перед ним расстилалась покрытая редколесьем равнина, переходящая у горизонта в цепь невысоких холмов. Ант решил не выпускать зонды, а сам осмотреть незнакомое небесное тело. Его успокоило то, что ни на внешней границе системы, ни на околопланетной орбите не было опознавательных буев родной цивилизации.

— Я сам хочу полететь над своим домом, — сказал он и впервые за много лет почувствовал, что его слова унес ветер.

Планета была пустынна и удивительно однообразна: редколесье, холмы, океан, да на экваторе шло вялое горообразование. Вернувшись в корабль, Берг едва не сбежал из него. Анту вдруг показалось, что он вернулся в «Дзету».

На рассвете третьего дня Берг вывел из звездолета роботов-строителей и ушел на восток. Он шел пешком, не оглядываясь, и первый раз за все время полета был спокоен и умиротворен...

Прошло десять лет. Десантный звездолет с громким названием «Пожиратель пространства», числившийся в реестре космофлота под номером Д-137, разглядел на неисследованной планете земного типа металлический предмет.

— Черт меня возьми вместе с плетенками, — заревел на весь эфир командир, — если это не космический корабль. Еще час, другой, и мы встретимся с внеземной цивилизацией.

Сели. На тускло-серой громаде, торчавшей среди редкого леса, золотом сверкала четкая надпись «Д-21».

— Сделай запрос, — обернулся командир к штурману. Корабельный мозг выслушал задачу, моргнул несколько раз световыми табло. Он любил пошутить и, когда было можно, вымаргивал экипажу что-нибудь по настроению. Сейчас мозг для вида поурчал динамиками и выдал недовольным голосом: «Д-21» — десантный звездолет пятой экспедиции к Праксимае. Угнан во время метеоритной атаки Таира знаменитым потрошителем банков Антом Бергом. От него не поступило ни одного сообщения, поиски не дали результатов, видимо, погиб в глубинах космоса».

— А он и здесь всех обвел — вон куда забрался, — усмехнулся штурман. — Но где же сам знаменитый Берг? Очень хочется посмотреть на человека, способного в одиночку пересечь пространство в пять лет корабельного времени.

Командир раздвинул кусты и встал на площадку подъемника корабля Берга. Через минуту он высунулся из люка.

— Все в порядке, но здесь его нет. Надо поискать на планете.

На экваторе и полюсах работали исследовательские станции.

— Вот дает, Потрошитель, — покрутил головой штурман, — он еще и наукой занялся.

Огромный купол жилого комплекса, стилизованный под камень, нашли на берегу океана. Едва звездолетки приблизились к зданию, как пучок лазерных лучей мгновенно расплавил грунт перед их ногами.

— У старика крепкие зубы, — пошутил командир и приказал заблокировать пушки.

Они подошли к входу. На щите мерцал красный круг, обозначающий зону повышенной опасности.

— Я бы после стольких лет одиночества, — сказал штурман, — встречал людей цветами.

— О чём ты говоришь, — махнул рукой командир, — хорошо, если он жив. Я боюсь другого — он может не знать, что за открытие и колонизацию новой планеты с любого преступника снимается наказание. Пусты вперед робота, пусть проверяет путь и отключает все механизмы.

Они долго бродили по узким коридорам, крутым лестницам, набитым ловушками тупикам, пока не вышли к просторному дворику.

— Смотри! — вскрикнул командир.

По двору, заложив руки за спину, прогуливался высокий, широкоплечий человек.

— Ант Берг, — обратился к нему командир, — от имени цивилизации я благодарю вас за колонизацию новой планеты.

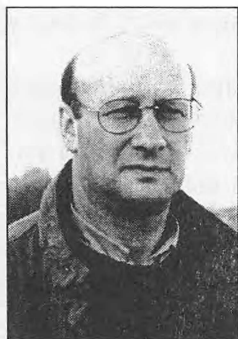
Человек оглянулся. В его глубоких темных глазах мелькнула досада.

— Извините, у меня сегодня воскресная прогулка, осталось еще пятнадцать минут.

И он спокойно пошел дальше.

— О небеса! — взмахнул руками штурман. — А я все ломаю голову над тем, что мне напоминает это жилище? Тюрьму...

— Что?! — оглянулся Ант Берг, и в его глазах заметался страх.



Даниил ЧКОНΙΑ

Кёльн

Я стою в середине Европы с азиатской тоскою в глазах...

* * *

Пламенем горячечным объятый,
Задыхаюсь, словно на бегу...
Я люблю тебя! Люблю, когда ты
Вся — костёр на молодом снегу!

Затаив неровное дыхание,
Как ты жадно ласки мои пьёшь,
Вся — неутолённое желанье!
Вся — уже не сдержанная дрожь!

И спадает платице со стула,
Дотлевают сумерки в золе.
Чем-то жутко-сладостным дохнуло
В обступившей нас обоих мгле.

И когда отхлынут волны страсти
И прихлынет нежность им в ответ —
Тихо ляжет на твоё запястье
Тот же негасимый лунный свет.

* * *

Молчи, моя любимая, молчи.
Сомкни уста. Смежи, смежи ресницы.
Мне снятся волейбольные мячи.
Велосипед. Шоссе. И море снится.

Полубезумный холодящий кроль.
Визг тормозов. Тяжёлый скрип уключин.
Позволь на миг забыться мне, позволь
Вернуться в день, когда я — не научен

Ни опытной расчётливостью лжи,
Ни равнодушной ленью отчуждения —
Был юн... Моя любимая, смежи
Ресницы. Дай забыться на мгновенье.

Пусть снятся волейбольные мячи —
Весенний мир за приоткрытой дверцей...
Молчи, моя любимая, молчи!
Не утешай. И не врачуй мне сердце.

* * *

Я согласен назвать ностальгией
Бесконечно тягучие сны.
Вижу лица, но лица — другие
И другие приметы весны.

Подступающий мир пробужденья
Не пугает реальностью дня.
Вот бы новую дату рожденья,
Раз уж адрес иной у меня!

Но, посмертные слепки снимая,
Счёт ушедшим мгновеньям веду.
Я сегодня, что лошадь хромая,
Сбился с шага и сплю на ходу.

Не задворки, сады, перекопы,
Не обмылки в гремящих тазах...
Я стою в середине Европы
С азиатской тоскою в глазах.

ТЁРПКИЙ ДЫМ

1

Я тебе целую руки
Посреди ночной Москвы.
Я совсем забыл в разлуке
То, что мы с тобой на «Вы».

Вот и кажутся простыми
Осторожные слова...
Повторяю твоё имя —
И кружится голова.

2

...Опять летит — незримо — через годы —
Пускай летит — не нужно, не лови —
Короткий миг на улице Свободы,
На перекрёстке Жизни и Любви.

3

Твои пальцы — пальцы младенца:
Прикоснёшься — нежный ожог...
Ты завернута в полотенце,
Как восточный хрупкий божок.

И мгновения — долгожданны —
Пляшут тенями на стене.
Дверь распаивается из ванной:
Это облачко — в руки ко мне...

4

Как на рукотворную камео
Я на профиль твой опять гляжу
И сказать, что нужно, не умею,
Да и, что умею, не скажу.

Я совсем не враг житейской прозы,
Но живу, нечаянность любя.
Дождевые капли или слёзы
Мне мешают разглядеть тебя?

5

Закрой глаза. Доверься пальцам зрячим.
Сух и горяч их влажный холодок.
Всё тело нетерпением горячим
Пронзает и пронизывает ток.

Твою ладонь в своих ладонях грея,
Я ощущаю в сердце терпкий дым.
Наверно, я тебя люблю, старая, —
Нежней, нежней, чем мог бы молодым...





Вальдемар ВЕБЕР

Мюнхен

Взойдёт душа, венчая храм...

* * *

Вся жизнь твоя — постройка храма,
где только крыши не хватает,
где каждый день, как новый камень,
конец постройки отвергает
и на чуть-чуть приподнимает
над головой небесный свод.

И кажется уже, вот-вот,
и ты шагнёшь за тот порог,
и даль откроется глазам...
Падёт на землю мастерок.
Взойдёт душа, венчая храм.

1965

САД

Я в огромном саду.
В урожайном году.
Яблок райских нежданный улов.
Все сомненья гоню.
Верность слову храню
не заглядывать внутрь плодов.

Мол, вовек не засну,
коль хоть раз загляну...
Глушат ветви воркующий смех.
Созревающий сад

червоточине рад,
что покуда сокрыта для всех.

Сад румянен и горд,
точно праздничный торт.
О червивости щедрой своей
знает он, но она
не лишит его сна.
Идеальный питомник червей.

1976

КАК МНЕ ЕМУ ОБЪЯСНИТЬ

Моего двухлетнего сына
искусала оса.
Я ему говорил,
что оса не укусит,
если её не трогать.
Он мне поверил,
и вот —
раздутые ухо и шея...

Он плачет,
не в силах постичь
моего коварства...
Как мне ему объяснить,
что и среди ос есть такие,
которые не как все.

1981

ПОЛОМАЧНАЯ ЛОШАДКА

Мой маленький сын
вымещает злость
на игрушках,
мучает куклы,
бьёт их...
Потрясённый,

стоит он
над поломанной им
лошадкой,
долго смотрит
в её пустоту.
1981

ЗИМНЕЕ УТРО

За окном рассвет морозный
в жёлто-серой полумгле.
Стылых стёкол цвет венозный.
Хлеб и масло на столе.

Я смотрю, как ты привычно,
улыбаясь сквозь зевок,
яйца с штемпелем фабричным
опускаешь в кипяток.

Полусонным чувством мера
ценность будущего дня,

слышу, как за нашей дверью
назревает суетня.

Как, зажав в зубах цитатку,
наш сосед служить спешит.
Ты готовишь яйца всмятку.
У тебя нездешний вид.

Наша дверь — и вход, и выход.
Наше устье и исток...
Из часов кухонных тихо
красный сыплется песок.

АРБАТ. ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

Подделанные иконы.
Фальшивые украшения.
Имитированный фольклор.
Но сделано всё с душой:
с пониманием искусства иконы,
с изыском художника-ювелира,

со знанием фольклора —
турист,
чувствующий себя обманутым,
может утешиться этим.

1992

ЧА РОДИНЕ ПРЕДКОВ

В степи астраханской
кирхи с выклеванными глазами.
Ни могил,
ни домов.
На месте села
с призрачным именем Страсбург —
овраги, колючки, ковыль.
Храмы торчат

великанами,
умершими от жажды
на пути к великаньей цели.
С них, словно со свеч,
в песок
стекает
вселенская боль.

1995

КОЛОКОЛ В ВАЙЦЕ

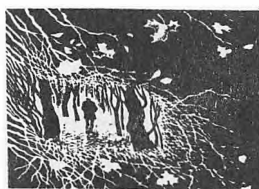
Колокол,
созывавший на твою свадьбу,
плачет о твоей гибели.
Тот же звук, тот же тон,
та же песня.
Все дороги,
ведшие к твоему счастью,
и мои в том числе,
оказались дорогами смерти.

У этого колокола
широченное сердце,
всё привечающее,
всё принимающее,
не отличающее
земли от неба,
радости от боли,
колыбели от гроба.
23.7.95

ЧЁРНЫЙ ВОРОН

Чёрный ворон приехал,
шептались ночью мои родители,
когда забирали соседа...
Я лежал в темноте
и не мог понять,
почему приехал,
а не прилетел.
Наверное, это ворон,

разучившийся летать...
Нарушая запрет,
я пробирался к окну,
вставал на цыпочки
и глядел, глядел
в ночную воронью тьму,
и не мог ничего разглядеть.
1995





ЛИДИЯ РОЗИН

Бонн

Я/МЫ

Я — немка, настоящая, не веришь?
Из поздних я, с параграфом четыре (!)
(Параграф мне присвоили теперь лишь,
Как знак того, что родилась в Сибири,
И папа с мамой — оба были немцы).
В Германии живу я третий год.
Хронические мы переселенцы,
Потерянный, растерянный народ.

Мы не бродяги, мы — переселенцы,
И мы, куда судьба ни заведёт,
Не забываем, что мы всё же — немцы:
Мы строим дом и садим огород.
Потом всё оставляем и... уходим.
И мамы плачут, а отцы молчат...
И овощи поспеют в огороде,
Но не вернёмся мы уже назад.
...На новом месте строим новый дом
И молодой закладываем сад.
Мы в этом доме долго проживём
(Конечно, если только разрешат).
С большим трудом наш обустроен быт:
Тепло, уютно, на окне герань,
И всё вокруг цветёт, куда ни глянь.
И мама по-немецки говорит...

Всё, стоп! Теперь идёт черта.
Воздушный мост. Уже мы за чертой.
Германия, прекрасная страна,
Позволила вернуться нам домой.
Теперь мы дома, можно отдохнуть,
Живём мы в удивительной стране.
...А папа с мамой в свой последний путь
Ушли от нас. Совсем. В небытие.

ВЛАДИМИР ВАЙНШТЕЙН

Висбаден

СУББОТА. 21 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Отчётлив каждый шаг по улице мощеной.
Приятно давит грудь с «иглочки» мундир.
И я спешил к тебе, счастливый и влюблённый,
Безусый лейтенант, безвестный командир.

Прохладная Нева. Блаженная картина.
На дачные места торопится народ.
И чудится, что вдруг сама Екатерина
в туманностях Дворца загадочно мелькнёт.

Я мысленно себя уже в майоры метил.
В училище вчера был вечер выпускной.
И в радости своей, конечно, не заметил,
что шёл последний день перед большой войной.

ЕЛЕНА ВЕРНИК

Мурнау

РАЗМЫТЫЕ ЗВУКИ

А по судьбе, как по воде
Идти, не замечая глади,
На дне морском не разглядев
Иссиненных небесных впадин,

Но растерявшись у подъезда
Её Величества Удачи,
Мечтать о времени сиесты
В размытых звуках до-ми-плача.

Осень 1997

СЕРГЕЙ ДЕЛЬ

Дюссельдорф

РЕЧКА РЕЙН

Анфилада стран
И полей.
Ищет океан
Речка Рейн.
Я гляжу с моста:
Глубина.
Всё вода, вода —
Аж до дна.
Знаю этих струй
Перечёт.
Не бывать концу —

Рейн течёт.
Нет воде конца,
Как и мне.
Тени из свинца
Тонут в ней.
До исхода дней —
Переход.
Перенос теней
На восход.

21.2.98

МАРК ХАБИНСКИЙ

Мюнхен

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТРОПКА

Мы петляем по тропинке,
Где листвы опалой прелость,
Где росинки, как искринки,
Что за прелость, что за прелесть!

Знает каждый, кто изведал
Нежность солнца на ресницах,
Лёгкий бег велосипеда,
Где лучится свет на спицах.

Только мимо лес несётся,
Только ветер рыщет рысью,
Только царственное солнце
В золотой короне листьев!

В чаще веток, в рыжей дымке
Белки шустро пробегают...

Да тропинки — лисьи спинки —
Всё петляют, ускользают...

Нам за ними не угнаться,
Наши годы — наша осень.
Ей бы с горки мягко стлаться,
Груз листвы шершавой сбросив.

Так судьбою путь отмерен,
Тают дни — аккорды клавиш...
Но пока в себе уверен —
Руль сжимая, чутко правишь.

Осень жизни — время года —
Дышит тёплой благодатью...
Это мудрая природа
Раскрывает нам объятья.

ГЕНРИХ СИМЕНС

Висбаден

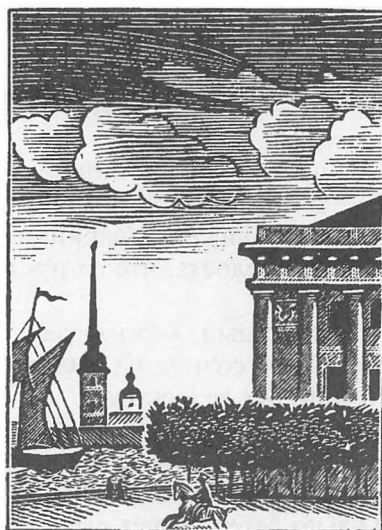
ОСЕНЬ

Оранжевая осень,
Меж листьев — неба просинь.
Меж нами — пустота,
Сиреневая мгла.

И сердце, отдохнув
От наваждений ночи,
Разумно отведёт
Меня от этой порчи.

И снова я один,
Как в небе серый клин.

Душа моя — журавль,
Печальна и строга,
Как скошенная нива,
Как жёлтые стога...



Гравюры Геннадия ЕПИФАНОВА

Санкт-Петербург

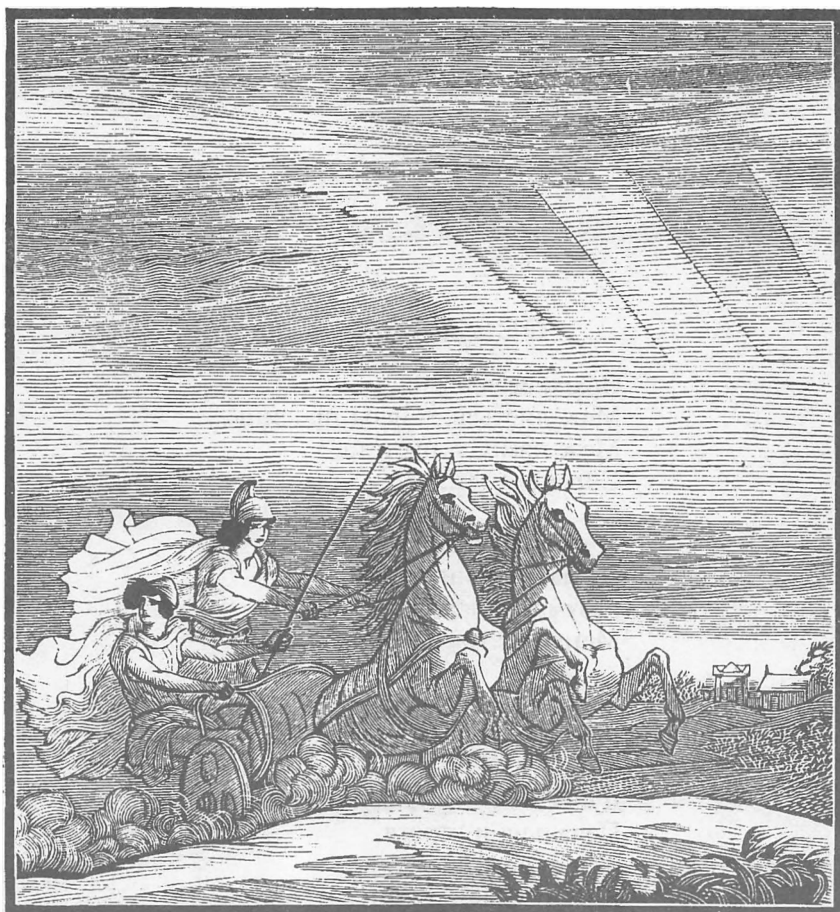
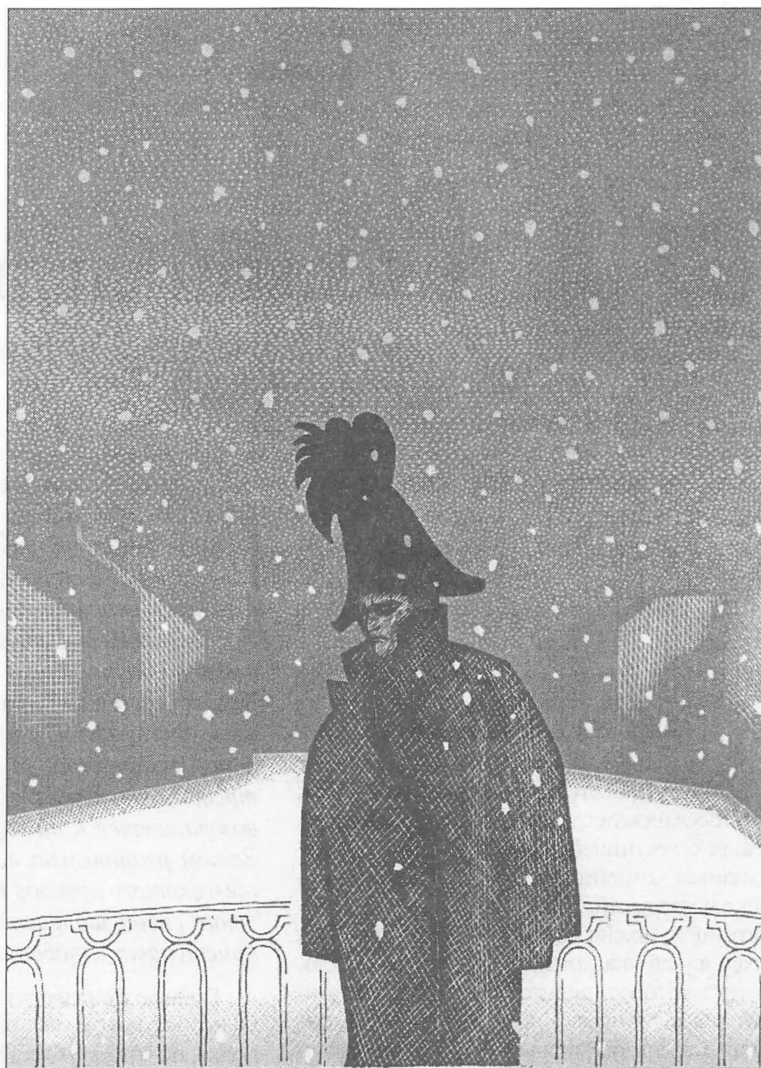


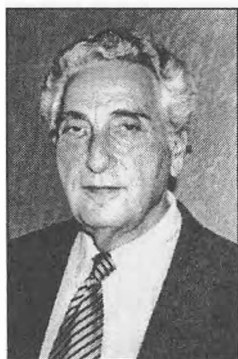
Иллюстрация к «Одиссее» Гомера. 1958

**Иллюстрация
к повести
Пушкина
“Пиковая
дама”.
1966**



Иллюстрации к роману А.Дюма “Королева Марго”. 1949





Борис РАЦЕР

Мюнхен

РУССКИЙ МЕДВЕДЬ

(КОМЕДИЯ)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Элен СТАРК

Алекс ПАВЛОФФ

Сильвия ГИБСОН

Майкл ФОРСТ

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Двухэтажный особняк миссис Старк в Лос-Анджелесе. В центре — просторный холл с лестницей на второй этаж, где находится комната для гостей. В холле — несколько дверей. Через одну из них, под лестницей, можно попасть прямо в гараж. Вся задняя стенка холла — сплошное стекло, через которое видится бассейн с зонтами от солнца и шезлонгами. Ультрасовременная мебель из металла и кожи говорит о вкусе хозяйки и ее достатке. Посередине холла, нарушая все его великолепие, стоит высоченная стремянка. На ней работает маляр. Видны только его ноги, и то — до колен. Около них стоит таз со шпаклевкой, которую время от времени он зачерпывает мастерком. Звонит телефон, но маляр не прерывает работу. Только долго непрекращающиеся звонки заставляют его спуститься со стремянки. Это пожилой человек в заляпанном краской комбинезоне и пилотке, сложенной из газеты. Вытирая на ходу руки, он подходит к телефонному столику, берет трубку.

А л е к с. Вас слушают... Нет, не аптека!.. Какая вам разница — что? Вы уже третий раз звоните, и я вам третий раз говорю, что это не аптека.

Набирайте правильно номер, мисс!.. Извините — «миссис». По телефону не видно... *(Вешает трубку и снова забирается на стремянку. Но не проходит и минуты, как опять раздается звонок. Бросив мастерок в таз, мужчина спускается со стремянки и берет трубку).* Это не аптека, слышите, — не аптека, миссис! *(Бросает трубку и, чертыхаясь, забирается на стремянку, но на третьей ступеньке останавливается и возвращается к телефонному столику. Затем решительно выдергивает вилку телефонного провода из розетки. После этого снова забирается на верхотуру и приступает к работе).*

В холле появляется миссис С т а р к. Она в махровом халате и купальной шапочке, на которой блестят капельки воды.

Э л е н *(задрал голову)*. Доброе утро!

А л е к с. Добрый день.

Э л е н. Чем вы сегодня занимаетесь?

А л е к с. Чем и вчера — шпаклевкой.

Э л е н. Что это такое?

А л е к с. Перед тем, как белить, надо все трещинки замазать. Самая трудоемкая работа. Недельку провозишься. А побелить — это один день.

Э л е н. Простите, мне никто не звонил, пока я была в бассейне?

А л е к с *(из-под потолка)*. Нет!

Э л е н. Странно... Дик всегда первым поздравлял меня в этот день... Это мой сын — Дик Старк. *(Снимает шапочку, расчесывает свои золо-*

тистые волосы). Он живет в Вашингтоне... Дик — помощник одного из советников президента. Прежде чем советник что-то посоветует президенту, он советуется с моим сыном. Дик — адвокат. Закончил Колумбийский университет. Покойный муж хотел приобрести его к бизнесу. Он возглавлял строительную фирму. Но Дик — в меня. Считать с утра до вечера прибыли, убытки, налоги, кредиты — это не по нашим мозгам. Поэтому Дик пошел на государственную службу. Там надо помнить только одно: когда платят деньги... Он всегда такой внимательный... Иногда звонит по пять раз в день... В прошлом году я получила от него корзину белых роз. Он заказал их по телефону из Вашингтона. В самом шикарном салоне на Линкольн-стрит... Я просто волнуюсь. Который сейчас час?

А л е к с. Четыре!

Э л е н. Он еще на работе. *(Снимает телефонную трубку и, не приложив ее к уху, то есть, не услышав, есть гудок или нет, набирает номер)*. Дик?!.. Добрый день, детка... Ты не забыл, что у твоей мамы сегодня... Понимаю, понимаю... Извини... Спасибо... Будустараться. Только я до ста лет не хочу. Женщина в сто — это экспонат для фильма ужасов... Скажи мне — как моя любимая внучка?.. Поцелуй ее, Дик. И ее маму — тоже. *(Кладет трубку)*. Слава Богу, все здорово. Он как раз собирался звонить. Очень много работы. Вы же знаете, что делается в этом сумасшедшем мире. Президенту каждый день нужны советы, а советнику — Дик. *(Закуривает)*. А еще у меня есть дочь — Катрин.. Она с мужем живет в Филадельфии. Он — управляющий в банке, а она.... она просто великосветская бездельница. Поэтому занята больше всех: выставки, приемы, премьеры. Наверное, еще спит. Ничего, разбужу. *(Опять снимает трубку и, не приложив ее к уху, набирает номер)*. Катрин, детка, не разбудила?.. Звонила?.. Когда?.. А я была в бассейне. Тут у меня маляр работает, но, по-моему, он плохо слышит... Я ему так и сказала: не

может быть, чтобы дети меня не поздравили... Спасибо, дорогая! Нет, что ты! Одна я не буду. Ты же знаешь, сколько у нас с папой было друзей. Практически все, кто живет в его коттеджах, а это — четверть Лос-Анджелеса. Они не дают мне скучать. Как мой любимый внук?... Мог бы и сам позвонить бабушке... Ладно, ты же знаешь — я ему все прощаю. Что готовлю? Много всякого. Твои самые любимые блюда. Во-первых, индейка. Еще будут телячьи отбивные и, конечно, салаты...

А л е к с. *(спускаясь с лестницы)*. Не забудьте посолить, миссис Старк.

Э л е н. Что?

А л е к с. Извините! У нас в России есть такая шутка: когда много говорят о еде, кто-нибудь обязательно вставит — «не забудьте посолить».

Э л е н. Глупая шутка. *(В трубку)*. А на десерт будет твой любимый ореховый торт...

А л е к с. Еще раз простите, но я отключил телефон. Чтоб не мешали работать. Кто-то все время путал вас с аптекой. *(Вставляет вилку в розетку)*. Вот теперь, пожалуйста, звоните.

Э л е н. Это уже не шутка, это — подлость... Сколько я вам должна за вашу мазню?

А л е к с. За такую «мазню» миссис Гибсон, по чьей рекомендации я попал к вам, платила мне семь долларов в час. Я занимаюсь вашим потолком второй день. Вчера я работал шесть часов, сегодня — четыре. С вас семьдесят долларов.

Э л е н. Я дам вам сто! Только, чтоб миссис Гибсон не разнюхала про вашу шутку с телефоном, иначе об этом будет знать вся Калифорния.

А л е к с. Я не Иуда, чтоб продаваться за тридцать серебрянников. И потом — этот спектакль под названием: «У меня замечательные дети» стоит тридцати долларов. На Бродвее за такое шоу платят шестьдесят.

Э л е н. Вон отсюда!

А л е к с. Вы зря сердитесь, миссис Старк. Я не хотел вас обидеть. Прос-

то, когда людям под шестьдесят, надо реально смотреть на вещи: у родителей своя жизнь, у детей — своя.

Э л е н. С чего вы взяли, что мне под шестьдесят?

А л е к с. Может быть, в Штатах считается, что пятьдесят восемь ближе к пятидесяти?

Э л е н. Откуда вы взяли эту цифру?

А л е к с. Миссис Гибсон сказала, что вы старше ее на три года, а ей — пятьдесят пять.

Э л е н. Врет! Ей пятьдесят восемь. Когда я поступала в колледж, она была на третьем курсе. Что еще натрещала вам эта сорока?

А л е к с. Я ее больше ни о чем не спрашивал.

Э л е н. Зачем вам понадобился мой возраст?

А л е к с. Мне не интересно белить потолки у молодых. Они оставляют утром ключи и исчезают на весь день. А мой английский нуждается в практике. Я целый год ходил на курсы для эмигрантов. Удивительная страна! Мало того, что нас бесплатно учили, нам еще платили пятьсот долларов. Некоторые только из-за этого туда и ходят. Так что поговорить там в общем-то не с кем.

Э л е н. Ах, вот оно что! Вы хотите бесплатно практиковаться на мне?

А л е к с. Почему «бесплатно»? Вы мне должны семьдесят долларов. Но я не возьму с вас ни цента. Для одинокого человека общение — дороже денег. Особенно здесь — в Америке. У нас в России можно в любое время постучаться к соседу, забрести к приятелю. Просто так — на огонек. А у вас предполагается заранее обговорить день и час. И если ты приглашен на ланч, то обедом тебя кормить не будут.

Э л е н. По-вашему, американцы — скупердя и скряги?

А л е к с. Упаси Бог! Вы не так меня поняли. Не еды им жалко, а времени. Когда много работаешь — каждая свободная минута в цене. А здесь работают много. Зато пенсионеры не знают, куда это время деть. Когда был внук, я об

этом не думал. Собственно, из-за него я и поехал в эту Америку. Мы с ним прекрасно проводили время. Я совсем не чувствовал разницы в возрасте.

Э л е н. Сколько ему?

А л е к с. Четыре. Было четыре. Сейчас пять.

Э л е н. Как моей внучке.

А л е к с. Мы часто ездили с ним в Диснейленд. И когда я видел его глаза, полные счастья, я не жалел о прошлом.

Э л е н. С ним что-нибудь случилось?

А л е к с. Тьфу-тьфу-тьфу! Просто год назад они уехали в Канаду. Там можно больше заработать. Моя дочь — фигуристка, и зять — тоже. У нас они танцевали в балете на льду. Не выдающаяся, но довольно крепкая пара. А здесь ценятся только звезды. Пришлось переквалифицироваться в тренеры. Но в Лос-Анджелесе всего два катка. Своим тренерам льда не хватает. А в Канаде, в самом маленьком городишке — их десяток. Вот только не знаю, получу ли я там статус беженца? Это ведь шестьсот долларов пособия и бесплатная медицина.

Э л е н. Значит, вы к ним уедете?

А л е к с. Конечно! Не могу я без внука. Как устроятся, сразу к ним. Теперь уже недолго. Они дом купили, ждут, когда хозяева выедут. Обещали через месяц. А я пока малярю. Так время быстрее бежит. Когда человек один, оно тянется ужасно медленно, зато старость приходит страшно быстро. У вас тут друзей полгорода, а у меня — никого. Хотел кошку завести или собаку, но здесь на животных такие цены! Дороже автомобиля. Понятно — с автомобилем не поговоришь...

Э л е н. А мне почему-то казалось, что эмигранты живут веселее аборигенов. Я люблю покупать икру в русском магазине, и его хозяйка всегда рассказывает, как чудесно они отмечают свои праздники, как пенсионеры собираются каждый день в каком-то парке...

А л е к с. Был я в этом парке. Стучат в домино и ругаются трехэтажным матом. Хотя бы на английском, а то на своем, родном.

Э л е н. Зачем они ругаются?

А л е к с. Как бы вам объяснить?.. У вас главный двигатель прогресса — конкуренция и прибыль, а в России испокон веков — кулак и мат. Многие из этих пенсионеров недавно, у себя на родине, начальниками были. Стукнуть кулаком по столу и отпустить при этом крепкое словечко — у них в крови. Поэтому домино для русских — не просто игра. Это лекарство от ностальгии: и по столу можно стукнуть, и выругаться, как на родине.

Э л е н. Интересное объяснение. И вы тоже любите играть в домино?

А л е к с. Нет. Я никогда не был начальником.

Э л е н. Зачем же вы тогда пошли в парк?

А л е к с. Думал двух зайцев убить: с людьми пообщаюсь, а не с телевизором, и по-английски поговорю. Без практики быстро все вылетает. А в Канаде без языка гражданство не дают.

Э л е н. Значит, я для вас — сразу два зайца?

А л е к с. Три. От моего дома до вашего — десять минут пешочком. Я — без машины. А метро в Лос-Анджелесе нет.

Э л е н. Но есть же автобус.

А л е к с. От меня до ближайшей остановки — тридцать минут... Значит, мне больше к вам не приходиться?

Э л е н. Почему?

А л е к с. Вы же сами сказали.

Э л е н. Я сказала, что мне не нужна бесплатная работа. Я не беднее миссис Гибсон, а вы ведь брали у нее деньги?

А л е к с. Только для того, чтобы купить таблетки от головной боли. Она слишком много говорит. И очень громко. Как только муж ее терпит?

Э л е н. Мистер Гибсон плохо слышит.

А л е к с. И видит, по-моему, тоже.

Э л е н. У нее что — новое увлечение? Кто же это?

А л е к с. Извините, миссис Старк, мне пора.

Э л е н. Но вы же работали сегодня только четыре часа, а вчера — шесть.

А л е к с. В понедельник я отработаю восемь. Мне должна звонить дочка. Каждую пятницу в пять я разговариваю с ней и внуком. Пока умоюсь, переоденусь, доберусь до дома — будет как раз пять. В какой ванной мне сегодня можно помыться?

Э л е н. Лучше наверху. В нижней у меня беспорядок. *(Захватив в гостиной сумку с вещами, Алекс поднимается на второй этаж)*. А какой у вас дома телефон?

А л е к с. Так вы же мне звонили.

Э л е н. Ах, да! Миссис Гибсон дала мне ваш номер.

Алекс уходит.

Где же я его записала? *(Роемся в бумажках на телефонном столике)*. Вот!..

Снимает трубку, набирает номер.

Телефонная станция?.. Добрый день, мисс. Могу я попросить вас об одной любезности... Мне надо перевести разговор из Канады с номера 202-186 на телефон, с которого я сейчас, говорю. Спасибо.

Вешает трубку и сразу же где-то за сценой, очевидно, в прихожей, раздастся звонок, миссис Старк идет открывать дверь. Зритель еще не знает, кто пришел, но нетрудно догадаться, что это миссис Гибсон. Невидимый «пулемет» дал первую очередь без точек и запятых.

С и л ь в и я. Элен, дорогая, поздравляю тебя от всей души и желаю тебе быть всегда такой молодой и красивой, как в колледже, где мы проучились вместе целых четыре года.

Э л е н *(входя с гостей и букетом цветов)*. Только год. Когда я перешла на второй курс, тебе уже вручали диплом, Сильвия.

С и л ь в и я. Боже, какая у тебя чудесная память! Ведь сколько лет прошло! Тогда нам было всего двадцать.

Э л е н. Тебе было двадцать три, но у тебя тоже прекрасная память. По-моему, кроме тебя, все забыли про мой день рождения. Первые два года после смерти Джо еще как-то собира-

лись по инерции. А потом даже по телефону забывали поздравить. Поэтому извини, что я в таком виде. Кто ж знал, что в этом году ты вспомнишь про этот день... Какой очаровательный букет... *(Ставит его в вазу)*. А я уж собиралась выпить шампанское сама с собой. Видишь — даже ремонт затеяла. *(Показывает на стремянку)*.

С и л ь в и я. Кстати, дорогая, тебе не понадобился этот русский маляр?

Э л е н. Спасибо, Сильвия! Он работает у меня уже второй день.

С и л ь в и я. Я осталась им очень довольна. Аккуратный и главное — тихий. За две недели я голоса его не слышала. Но когда он наконец заговорил, то исключительно о своем внуке. Он без него жить не может. Русские ужасно сентиментальные люди.

Э л е н. Американцы, по-моему, тоже. Только у нас принято делать вид, что мы счастливее всех на этой планете... Чем же мне тебя угостить?.. О! Ореховым тортом. Испекла для Катрин — вдруг, думаю, приедет.

С и л ь в и я. Не соблазняй. Я на диете. Мне надо сбросить минимум десять фунтов.

Э л е н. Ты что — влюбилась?

С и л ь в и я. Зачем бы я тогда садилась на диету? От любви сохнут, дорогая. Неужели забыла?

Э л е н. От неразделенной. Но, насколько я знаю, тебе всегда удавалось ее разделить.

С и л ь в и я. На этот раз мне попался трудный орешек. Во-первых, он — судья. А для них неважно, женщина ты или мужчина. Их волнует только одно: признаешь себя виновным или нет. Ну, а во-вторых... Это, пожалуй, самое главное: пятнадцать лет назад от него ушла жена. С тех пор он ненавидит всех нас.

Э л е н. Да, действительно, — «орешек». И где же ты с ним познакомилась?

С и л ь в и я. На теннисе... Вообще, он не играет с женщинами, но тут его партнер не пришел, а я как раз разминалась у стенки.

Э л е н. И с этой минуты он пере-

стал ненавидеть женщин, а наоборот, вспылал к ним любовью!

С и л ь в и я. Если бы! Он даже не сказал «спасибо», когда мы кончили играть. Меня это просто взорвало. И тут я распушила все свои перышки и выпустила все коготки. Короче — вечером мы ужинали с ним в ресторане, а потом он привез меня домой и...

Э л е н. Вот тебе и женоненавистник!

С и л ь в и я. Ко мне домой. И тут же уехал. А ты уже бог знает что подумала.

Э л е н. И ты не пригласила его на чашку кофе?

С и л ь в и я. У меня к нему сугубо спортивный интерес, но ты же знаешь моего старичка: из всех видов спорта, он признает только бридж. Но как раз в тот вечер он не пошел в клуб и дремал с газетой у телевизора. Сама понимаешь — заявиться в час ночи с незнакомым мужчиной... Он мог меня не так понять.

Э л е н. Надо было поехать к теннисисту.

С и л ь в и я. У него гостит сестра с двумя внуками. Привезла показать им Диснейленд... Дорогая, ты не будешь слишком удивлена, если как-нибудь вечером мы заглянем к тебе? Совсем не надолго. В какой день тебе было бы удобней?

Э л е н. Влюбой. Я сварю кофе и уйду.

С и л ь в и я. Я всегда говорила, что у меня есть одна настоящая подруга! Только не надо никуда уходить. Уйдем мы... наверх, в комнату для гостей. Конечно, если твои детки не прилетят.

Э л е н. К сожалению, — нет.. Так складываются дела. Но когда сегодня они поздравляли меня *(показывает на телефон)*, то взяли слово, что я приеду к ним.

С и л ь в и я. Значит, можно?

Э л е н. Я же сказала: в любое время.

С и л ь в и я. А если тебя не будет?

Э л е н. Я дам тебе ключ... *(Ищет на столике)*. Вот! От гаража. От дома я дала маляру, чтоб не будил меня по утрам. Зато попадете прямо в гостиную. *(Показывает на дверь под лестницей)*.

С и л ь в и я *(взяв ключ)*. Спасибо, дорогая! Так я пойду...

Э л е н. Подожди! Давай хоть выпьем шампанского. Я сейчас принесу.

С и л ь в и я (*останавливая ее*). Нет, нет! Я прямо отсюда еду на тренировку. Его партнер, мистер Бронкс, сегодня снова не придет.

Э л е н. Откуда ты знаешь?

С и л ь в и я. Видишь ли, он очень ревнивый. И как раз сегодня кто-то позвонил ему в офис и сказал, что, когда он играет в теннис, его жена занимается акробатикой с одним боксером.

Э л е н. Ты страшная женщина, Сильвия!

С и л ь в и я. Неужели ты думаешь, что это звонила я?.. Я попросила своего массажиста. До свидания, дорогая.

Уходит вместе с Элен. В гостиную спускается Алекс. Он умылся, переоделся и совсем не выглядит шестидесятилетним пенсионером.

А л е к с (*оглядываясь по сторонам*). Миссис Старк, миссис Старк, я ухожу!

Э л е н (*из другой комнаты*). Одну минуточку, я сейчас. (*После небольшой паузы Элен, тоже успевшая переодеться в элегантный брючный костюм, появляется в холле, везя перед собой столик со всякими напитками и закусками*). А что если мы выпьем за мой день рождения?!

А л е к с. Через десять минут я должен быть дома.

Э л е н. Я нашла ваш телефон и, пока вы были в ванной, перевела разговор сюда, не возражаете?.. Я подумала, что вы можете убить еще пару зайцев: вам не надо будет готовить ужин и мыть посуду. (*Показывает на шампанское*). Открывайте!.. Или в России это делают женщины?

Алекс открывает бутылку, наполняет бокалы.

Ну, скажите что-нибудь и выпьем.

А л е к с. Я на английском еще никогда тостов не говорил. Вот тут уж у меня никакой практики.

Э л е н. Я помогу вам. Не знаю, как в России, а у нас первый тост на дне рождения — за того, кто в этот день родился.

А л е к с (*улыбаясь*). Тогда — за вас! (*Поднимает бокал*).

Э л е н. У нас при этом еще что-то желают.

А л е к с. Желаю вам здоровья, счастья... Что еще?.. Чтоб дети в этот день обязательно звонили, а еще лучше — пили бы шампанское вместе с вами.

Э л е н. У вас чудесно получается!

Делает несколько глотков и ставит бокал на стол.

А л е к с. У нас в России принято чокаться и обязательно выпить до дна — иначе не исполнится.

Чокаются.

Э л е н (*осушив бокал и закуривая*). Почему же у вас ничего не исполнилось? Где ваш обещанный миру всеобщий рай?.. По-моему, для этого надо, наоборот — меньше пить... А вы давно из России?

А л е к с. Третий год.

Э л е н. Немного. Но вы прилично говорите... А давайте-ка еще шампанского... Для практики. Или хотите чего-нибудь покрепче? Вот виски, джин.

А л е к с. Нет, нет! Это для меня слишком крепко.

Наливает шампанское.

Э л е н. Теперь за что?

А л е к с. Давайте за детей... Не знаю, как у ваших, у моих в жизни не все гладко было, хоть и на льду катались. Десять лет назад брат моего зятя на американке женился. Она в Колумбийском университете русский изучала и приехала к нам в Ленинград на стажировку. Через год они в Нью-Йорк улетели, а моих с тех пор ни в одни заграничные гастроли не брали и к званию не представили.

Э л е н (*с удивлением*). К званию?

А л е к с. У вас за хорошую работу деньги дают, а у нас — звания: заслуженный артист, народный.

Э л е н. Ну, а почему их на гастроли не брали?

А л е к с. Это уже ни на каком языке не объяснить... У нас со сталинских

времен считалось: если у тебя родственники за границей, значит, ты — потенциальный шпион. Только при Горбачеве этот ярлык с них сняли. И то не сразу. А годы-то прошли. Теперь их уже по возрасту за рубеж не брали. Молодежь подросла. Конкуренция! Вот они и решили наверстать упущенное. Попросили брата вызов прислать... И поехали. Сашеньке два года как раз исполнилось... В общем, за детей и внуков! За ваших и моих. Чтоб все у них хорошо было.

Чокаются и пьют до дна. Звонит телефон. Элен снимает трубку, слушает.

Э л е н. Это вас. *(Передаёт Алексу трубку)*.

А л е к с. Алло! Да, да, доченька, это я. *(Э л е н уходит, показывая жестами, что не хочет ему мешать)*. У меня все нормально! А у вас как?.. Когда же они, наконец, уедут?.. Скорей бы! Ужасно скучаю. Вот брошу здесь все и... Ну, и Бог с ним, с пособием. У меня на питание сто пятьдесят долларов уходит. Что я их — в Канаде не заработаю!.. Черт с ней, со страховкой! Не буду болеть и все!.. Ладно, давай Сашку!.. Вот те на! Совсем ты меня сегодня расстроила... Хорошо, буду держаться! Что еще остается... Если что-нибудь срочное — звони по этому телефону. Я тут сейчас работаю... Пока!

Короткие злые гудки заполняют гостиную. Какое-то время Алекс прислушивается к ним, потом вещает трубку, наливает виски и залпом пьёт. Возвращается Э л е н.

Э л е н. Поговорили?

А л е к с. Спасибо.

Э л е н. Уехали?

А л е к с. Кто?

Э л е н. Хозяева.

А л е к с. Нет. Все тянут и тянут. Мои пока у знакомых живут. А внука в какую-то группу отдали. Вроде нашего детского сада. Зять как раз за ним поехал... Не поговорили мы с Сашкой... А пенсию там дают только, если десять лет отработал. Минимум. А за визит к

врачу без страховки — сто долларов... А лекарства... Извините, я пойду...

Встает из кресла и направляется к стремянке.

Э л е н. Вы куда?

А л е к с. Поработаю, раз уж я здесь.

Э л е н. В костюме?!

А л е к с. Черт с ним!.. Это в России встречают по одежке. У вас миллионеры ходят в рваных джинсах, а бродяги — в шляпах. В Америке неважно, во что ты одет, важно — сколько ты стоишь. Здесь каждый имеет свою цену... Выше, ниже... как эти ступеньки. *(Хочет подняться, но оступается)*. Попробуй с одной перейти на другую! *(Снова пытается подняться, но опять безуспешно)*. Шиш!

Э л е н. Вот что значит — пить до дна!

А л е к с. Это из-за виски. Я без вас целый фужер хватанул. Шампанское и виски — ерш получился. Так по-нашему называется.

Э л е н. А по-нашему — коктейль. Только мы делаем эту смесь в бокале, а не в желудке.

А л е к с. Сейчас бы поспать полчасика — я бы тогда до ночи работал.

Э л е н. Пожалуйста! *(Показывает на антресоли)*. Там рядом с ванной — свободная комната. Идемте, я вам постелю.

А л е к с. Спасибо, но мне как-то неудобно...

Э л е н. Удобно, удобно. Чем быстрее вы закончите ремонт, тем быстрее я увижу свою внучку. Я собираюсь поехать в Вашингтон.

А л е к с. Тогда я буду работать день и ночь. Без выходных. Я вас понимаю, для меня внук — это все.

Алекс поднимается вслед за Элен на второй этаж. Несколько раз оступается на ступеньках. Элен помогает ему. Наконец, оба исчезают в верхней комнате. После небольшой паузы из-под лестницы, точнее — из гаража, выпорхнула миссис Гибсон. Внимательно оглядев холл, она прошла в спальню, а из нее вышла к бассейну. Убедившись, что никого в доме нет, вернулась в холл и обратилась к невидимому спутнику.

С и л ь в и я. Входите, не бойтесь!

Из гаража появляется спортивного вида седой мужчина в элегантном костюме.

М а й к л. Я никого не боюсь! Мне хотелось бы только знать: зачем мы приехали сюда и почему надо входить через гараж?

С и л ь в и я. Потому что ключ от входной двери у маляра. Я же вам говорила — ремонт! (*Показывает на стремянку*). Миссис Старк отдала ему ключ, чтобы он не будил ее по утрам.

М а й к л. Но сейчас же не утро! Позвонили бы, и она открыла.

С и л ь в и я. Ну, как бы она открыла, если ее нет. Я посмотрела все комнаты. Даже странно. С тех пор, как умер ее муж, она живет, как монашка. Он был известный архитектор. Вы, наверно, слышали — Дэвид Старк. Пять лет назад он попал в автомобильную катастрофу. И пять лет у нее ни с кем ничего. Редкий тип женщины — однолюбка... Когда-то она снималась в Голливуде. В массовке. Но Дэвид ее заметил. Через год у них родился сын, а потом — дочь. Кино пришлось бросить. Элен обожала детей. Теперь они далеко. У них все о'кей. А она — одна. Потому всегда рада гостям. Я ей говорила, что, может быть, загляну с одним приятелем.

М а й к л. Кто же этот приятель?

С и л ь в и я. Вы.

М а й к л. Я пока только знакомый. Приятель — это совсем другая категория, и чтобы в нее перейти, надо...

С и л ь в и я. Надо выпить!.. Видите, какая у меня чудесная подруга! Прежде чем уйти, она накрыла нам стол.

М а й к л. Откуда она знала, что мы заглянем именно сегодня?

С и л ь в и я. Боже, какой вы подозрительный! Она не знала когда, но она хорошо знает свою подругу, у которой бывают непредсказуемые идеи. Мы дружим с колледжа. С первого курса. Правда, она старше меня на несколько лет...

М а й к л. Извините, Сильвия, но если вы поступали вместе, то ей должно быть не больше, чем вам.

С и л ь в и я. Вы, наверно, самый дотошный судья в Лос-Анджелесе. Могла же она кончить гимназию на год позже меня, а в колледже пропустить год по болезни. Может, вам принести медицинскую справку?

М а й к л. Не сердитесь. Это чисто профессиональное. Что будем пить?

С и л ь в и я. Виски.

М а й к л. (налив ей и себе). Ваше здоровье!

С и л ь в и я. Спасибо, но я здорова, богата и почти счастлива..

М а й к л. Почему «почти»?

С и л ь в и я. Для полноты счастья женщине всегда не хватает немножечко любви. (*Дарит Майклу обворожительную улыбку*).

М а й к л. (не реагируя). А чем вы занимались после колледжа?

С и л ь в и я. Теннисом. Я сразу вскочила замуж за доктора Гибсона. Он унаследовал от отца частную клинику, дом с садом и кортом. Правда, сам он всегда предпочитал теннису бридж.

М а й к л. С кем же вы играли?

С и л ь в и я. С блондинами. Мне тогда очень нравились блондинами, фокстроты и шампанское. С годами вкусы меняются. Теперь я люблю виски, седых мужчин и аэробику. У меня в юности не было такой гибкой фигуры. (*В подтверждение делает несколько оригинальных телодвижений*). Наливайте, Майкл!

М а й к л. Может быть, хватит?.. Вы слишком много пьете.

С и л ь в и я. Это для храбрости... Я от вас без ума, Майкл. А женщина, которая без ума от мужчины, способна на безумные поступки. (*Садится к нему на колени и пытается обнять*).

М а й к л. (*отстраняясь*). Я же говорил — нельзя столько пить.

С и л ь в и я. Я пьянею от вас!

М а й к л. (*пресекая новую попытку*). Тише! Ради Бога — тише!

С и л ь в и я. Здесь никого нет. Но если вы боитесь — идите наверх. Там есть очаровательная комната для гостей. Мы можем остаться хоть до утра. Я позвоню мистеру Гибсону и скажу, что

моей самой лучшей подруге грустно, что ей не с кем отметить свой день рождения. И ведь это все — правда! *(Подвигает к себе телефон).*

М а й к л. Не надо звонить... Скажите, Сильвия, вы часто изменяете своему мужу?

С и л ь в и я. Если это вопрос судьбы, то — нет, а если предложение мужчины, то — да. Со всеми, кто нравится мне, и, конечно, кому нравлюсь я. Идите наверх, Майкл! Люблю, когда мужчина меня уже ждет.

М а й к л. Значит, вы уверены, что нравитесь мне?

С и л ь в и я. Если такой заядлый теннисист, не сыграв и двух геймов, принимает мое предложение поехать к подруге, — что я должна подумать?! Идите, Майкл! Я вам понравлюсь, очень понравлюсь.

Буквально «вытаскивает» его из кресла и подталкивает к лестнице. Майкл нехотя поднимается, останавливаясь почти на каждой ступеньке, и тогда Сильвия начинает делать такие движения натренированным на аэробике телом, что он все-таки добирается до двери и открывает ее. Но тут же снова закрывает.

М а й к л. Там кто-то спит в кресле. *(Спускается в гостиную).*

С и л ь в и я. Кто?

Э л е н *(выходя из комнаты)*. О, добрый вечер! Никак не могла предположить, дорогая, что ты нанесешь мне в один день два визита. Да еще не одна.

С и л ь в и я. Майкл мечтает с тобой познакомиться. Я столько рассказывала ему о тебе.

Э л е н *(спускаясь)*. Интересно — что можно рассказать о скучной, одинокой женщине, чужь не проспавшей свой день рождения?

М а й к л. Поздравляю, миссис Старк! Извините, что без подарка. Только сейчас узнал. Примите мои самые лучшие пожелания.

Э л е н. Спасибо, мистер...

М а й к л. Форст.

С и л ь в и я. Будем считать, что вы уже познакомились. А почему, дорогая,

ты задремала там, а не у себя в спальне?

Э л е н *(придумывая на ходу)*. Видишь ли, я решила приготовить кровать. Вдруг, думаю, нагрянет кто-нибудь из детей... Потом села в кресло у окна и не заметила, как меня сморило. Очевидно, после шампанского.

С и л ь в и я. Медики говорят, что самый полезный сон — дневной, а самое вредное для организма — недоспать. Не обращай на нас внимания, дорогая.. Иди в спальню и спи. А мы будем сидеть, как мыши, чтоб тебе не мешать.

Э л е н. Ну вот — теперь я и ночью не засну. Ты же знаешь, Сильвия, что больше всего на свете я боюсь мышей.

С и л ь в и я *(Майклу)*. Моя самая близкая подруга — еще и самая остроумная. А какая она хозяйка! Когда мы были в ресторане, вы съели два куса орехового торта.

М а й к л. Это — мой любимый торт.

С и л ь в и я. Так вот, такого орехового торта, как у Элен, вы никогда в своей жизни не ели! А какой она варит кофе!

М а й к л. Сторгмоя предпочитаю чай.

С и л ь в и я. Значит, мне кофе, а господину судье — чай.

Э л е н. Извини, дорогая, но в свой день рождения мне не хочется торчать на кухне. Почему бы нам не поехать в ресторан!.. Я приглашаю.

М а й к л. Неплохая идея.

Э л е н. По-моему, тоже.

С и л ь в и я *(глядя на второй этаж)*. Но у нас были несколько другие планы.

М а й к л. У меня сегодня был только один: выпить у моего вечного соперника мистера Бронкса, но он, кажется, заболел. Я согласен, миссис Старк!

Э л е н. Тогда встали и поехали!

С и л ь в и я *(нехотя поднимаясь из кресла)*. Но после ресторана мы обязательно заедем к тебе выпить чашечку чая с тортом. Вы не против, Майкл?

М а й к л. Против орехового торта — никогда! Если это, конечно, не будет утомительно для миссис Старк.

Э л е н. Я буду счастлива. Провести целый вечер с друзьями, да еще в день

рождения, что может быть лучше такого подарка! (*Перехватив многозначительный взгляд Сильвии*). А пока вы будете пить чай, я зайду к соседке — узнать, не звонили ли дети. Если они не застают меня, то звонят ей, когда у них что-то срочное.

М а й к л. А почему вам не заехать к соседке до чая? Мы подождем вас и все вместе приедем домой. По-моему, логично.

С и л ь в и я. Да будет вам известно, Майкл, что женщины любят мужчин за нелогичные поступки.

М а й к л. Или ненавидят.

Э л е н. Мнения разошлись. Теперь давайте решим, на чьей машине мы поедем. У меня, увы, двухместный «Пежо».

С и л ь в и я. На моей.

М а й к л. Боюсь, что тогда мы будем пить чай в полиции. Вы явно превысили норму алкоголя, Сильвия. Давайте поедем на моей.

С и л ь в и я. Если моему супругу скажут, что меня видели в чужой машине, то он может Бог знает что подумать.

М а й к л. Тогда возьмем такси.

С и л ь в и я. Вы считаете, что такси — это не чужая машина?.. Давайте поедем в ресторан завтра, а сейчас Элен сделает нам кофе и пойдет к соседке. Вполне возможно, что пока ты спала, твои дети звонили тебе.

Э л е н. Подожди, Сильвия! По-моему, я нашла выход: мы поедем на твоей машине. Только поведет ее мистер Форст.

М а й к л. Ваши кондитерские успехи, миссис Старк, еще нуждаются в подтверждении, а вот ваша находчивость уже не требует никаких доказательств. Сочетание кулинарных способностей и ума — довольно редкое явление у женщины. Я из тех мужчин, что ценят в них и то, и другое.

С и л ь в и я. Настоящие мужчины ценят в женщинах красоту.

М а й к л (*глядя на Элен*). Но если при красоте есть еще и ум... Прошу!

Майкл открыл дверь под лестницей, и как раз в этот момент из верхней комнаты вышел маляр.

А л е к с (*потягиваясь*). Сколько же я спал?! (*Глядя на часы*). Ого! Почти час!

М а й к л. Кто это?

С и л ь в и я. По-моему, мой маляр.

А л е к с. Вашим я был неделю назад, миссис Гибсон.

С и л ь в и я (*Элен*). Что он там делал?

Э л е н. Спал.

С и л ь в и я. С тобой в одной комнате?!

Э л е н. В одной комнате — это не в одной кровати. Мистер Павлофф смешал шампанское с виски, и эта смесь подействовала на него, как снотворное. Не могла же я положить его в свою спальню.

С и л ь в и я. Странно... Когда я предлагала ему выпить, он говорил, что не пьет.

А л е к с. Если бы вы предложили мне выпить за ваш день рождения, я бы тоже нарушил сухой закон. Только, конечно, после работы. (*Спускается вниз*). Хотя в России пьют в любое время. У нас даже есть такая шутка: если вино мешает работе — бросай работу.

М а й к л (*Сильвии*). Это тот русский маляр, которого вы мне рекомендовали?.. (*Алексу*). Я собирался вам позвонить и рассказать о своих проблемах.

А л е к с. Рассказывайте!

М а й к л. Не сейчас. Мы спешим.

А л е к с. Извините, что задержал. Я буду работать до вашего возвращения, миссис Старк.

М а й к л (*Элен*). Вот видите, как всё прекрасно получается. Если в ваше отсутствие будут звонить, мистер Павлофф скажет, что вы с друзьями поехали в ресторан.

А л е к с (*Элен*). Да, да, конечно. Вы не беспокойтесь — я больше не буду отключать телефон. Я запишу все звонки. А если вдруг что-то срочное — могу позвонить в ресторан. Скажите только, в какой.

С и л ь в и я. Боже, как он у тебя разговорился! Я за всю неделю слышала только четыре слова: «В какой ванной можно помыться?»

Э л е н. Очевидно, мистер Павлофф стеснялся своего английского. Но за это время он сделал успехи. Теперь их надо закрепить. Самый лучший практикум — застольная беседа. Я приглашаю вас в ресторан.

А л е к с. Спасибо. Но в ресторан идут совсем для другого.

С и л ь в и я. Не отказывайтесь. Нам будет очень интересно услышать про Россию от живого очевидца этой вашей... как ее?..

М а й к л. Перестройки.

С и л ь в и я. А на обратном пути вы проводите Элен к соседке, а уж я тут сама угощу вас пирогом, Майкл. Поехали, мистер Павлофф.

А л е к с. Спасибо, но у меня сегодня не ресторанный настрой.

Э л е н. У нас, когда идут в гости, оставляют свое настроение у себя дома.

А л е к с. Я пришел не в гости, а работать.

С и л ь в и я. Да, я вам заплачу семь долларов за час! Даже десять — вечерняя работа стоит дороже. Я даже согласна на двенадцать.

Э л е н. Почему ты? Мистер Павлофф работает у меня.

А л е к с. Фантастика! Пригласить в ресторан какого-то маляра и еще заплатить ему за это. Я же говорил — удивительная страна!

Э л е н. Так вы согласны?..

А л е к с. Хорошо! Но только бесплатно.

М а й к л (*про себя, с возмущением*). Он еще ставит условия!

Э л е н. Вы что-то сказали?

М а й к л. Чертовски хочется есть! Поехали!

Компания двинулась к двери, но ее остановил телефонный звонок.

Э л е н. Это Дик! (*Бросается к телефону*). Алло! Алло!.. Нет, не аптека... Вы перепутали номер.

С и л ь в и я. Поехали, поехали.

Э л е н. А если он не догадается позвонить соседке?..

С и л ь в и я. Никому он не позвонит!

Ты же сама говорила, что у Дика нет ни минуты. Это год назад президент мог обойтись советами жены и преспокойно играть в гольф. Что он и делал. Только пока он играл, у вас вместо одного президента стало одиннадцать. И он, бедный, не знал, какому из них помогать в первую очередь.

М а й к л. Умоляю — продолжим эти разговоры за столом. У меня уже галлюцинации от голода. Смотрю на вас, Сильвия, и вижу фаршированную индейку, устрицы и овощной салат.

Э л е н. Не забудьте посолить!

М а й к л. Что?

Э л е н. Это в России есть такая шутка. Правда, мистер Алекс?

А л е к с. Да!.. У нас — шутка, а у вас — устрицы.

Все уходят. Опускается интермедийный занавес. Это как бы часть ресторанный интерьера. Звучит музыка. Авансцена освещается разноцветными лучами прожектора. Появляются танцующие Элен и Алекс. Они то и дело наступают друг другу на ноги.

Э л е н. Извините.

А л е к с. Это я пошел не с той ноги. Забыл, когда в последний раз танцевал.

Э л е н. А я помню. Когда дочка родила мне внука.

А л е к с. Сколько ему?

Э л е н. Пятнадцать.

А л е к с. Извините... А мои поздно родили. Артистам дети очень мешают. Жена так и не дождалась.

Э л е н (*снова наступает ему на ногу*). Простите.

А л е к с. Может быть, хватит? Неудобно — бросили ваших гостей.

Э л е н. По-моему, они только об этом и мечтали. Особенно — Сильвия. Но если вы устали...

А л е к с. Я отлично выспался.

Э л е н. Тогда еще один круг. Обожаю танго.

Удаляются в танце. Но прежде чем скрыться в кулисе, успевают наступить друг другу на ноги.

А л е к с. Извините.

Э л е н. Простите.

Появляются С и л ь в и я и М а й к л. Она старается прижаться к нему как можно сильнее, а он — наоборот, старается держаться на расстоянии.

С и л ь в и я. Посмотрите на эту пару: кенгуру и русский медведь! Надо же было додуматься — пригласить в ресторан этого маляра!

М а й к л. Я не так давно знаю вашу подругу, Сильвия, но мне кажется, что у миссис Старк два редких качества: добрая душа и чувство такта. Настоящие американцы никогда не подчеркивают разницу в положении, какой бы значительной она ни была. В конце концов мы здесь все иммигранты. Только наши предки прибыли сюда на двести лет раньше. И многие из них отдали свои жизни за равенство и братство.

С и л ь в и я. Меня сейчас интересуют не наши предки, а потомки моей подруги. Представляю физиономию ее деток, когда они узнают, что у мамочки роман с маляром.

М а й к л. Роман?.. С чего вы взяли, Сильвия?

С и л ь в и я. Вы слышали когда-нибудь, чтоб женщина сидела рядом с лежащим мужчиной и дремала? В таких случаях женщины не дремлют.

М а й к л. Смотря какие женщины!

С и л ь в и я. Смотря какие мужчины!

М а й к л. Мне кажется, миссис Старк совсем не такая.

С и л ь в и я. Давайте пари!

М а й к л. Как вы мне докажете?

С и л ь в и я. Если мы не обнаружим в постели ни одного золотистого волоса, то я проиграла. Поехали!

М а й к л. Но...

С и л ь в и я. Неужели вы откажетесь от сладкого?! Вы же так хотели ореховый торт.

М а й к л. Но как же можно бросить миссис Старк, которая нас пригласила?

С и л ь в и я. Да они даже не заметят, что мы ушли.

М а й к л. А машина? На чем они поедут?

С и л ь в и я. Ничего — прогуляются. Зато у нас с вами будет больше времени, чтобы обследовать кровать.

Увлекает сопротивляющегося кавалера в кулису, а из другой появились танцующие Э л е н и А л е к с.

А л е к с. Кажется, мы входим в форму.

Э л е н. Да, я уже не смотрю все время под ноги.

А л е к с. И я — тоже. *(Оглядывается)*. А здесь красиво!.. Я вовремя проснулся. Было бы обидно все это проспать... А ремонт я закончу через неделю. Как договорились.

Э л е н. Я не тороплюсь, мистер Павлофф.

А л е к с. Вот к «мистеру» — никак не привыкну. У нас ведь — «товарищ» или «гражданин».

Э л е н. Тогда я буду называть вас — Алекс. Без мистера.

А л е к с. И к Алексу не привык. У вас даже на именах время экономят: Михаил — Майкл, Борис — Боб. Я в России Александром был, а здесь — Алекс. И отчества нет. А, впрочем, и не надо. У меня отец Борис был. Значит, меня бы тут Алексом Бобовичем звали.

Э л е н *(смеясь)*. Если хотите — я буду звать вас Александром.

А л е к с. Спасибо, но надо привыкать к чужим традициям. А вообще мне американцы нравятся. У нас я в жизни не слышал, чтобы заказчик пригласил маляра в ресторан, да еще во время работы... Я, кажется, слишком много говорю. Но за столом я молчал, как рыба.

Э л е н. За столом молчали все, кроме Сильвии. Не из-за нее ли вы сбежали от нас?

А л е к с. Мне надо было сделать один звонок... Насчет следующей работы. Вы не устали, миссис Старк?

Э л е н. Если вы хотите, чтобы я называла вас только по имени, вам придется сделать то же самое.

А л е к с. Попробую... Вам не надоело танцевать, Элен?

Э л е н. Нет. Для меня танго не про-

сто танец... Это было давным-давно... Один молодой архитектор строил древний замок в Голливуде. Для исторической картины. И заглянул в павильон, где снималась какая-то жевательная резинка для глаз. И вот среди танцующей массовки он отметил одну девушку. Она как раз танцевала танго. Он был уверен, что это — героиня фильма. Такое она выделялась... Теперь, кажется, я вас заговорила...

А л е к с. Этой девушкой были вы, а тот архитектор стал вашим мужем?

Э л е н. Да... Вот и танго кончилось... Увы, все в этой жизни имеет конец. Только нам хочется, чтоб он наступил как можно позже.

А л е к с. Некоторые готовы ради этого стоять на голове. В буквальном смысле.

Э л е н. Зачем?

А л е к с. Я в Диснейленде встретил одного русского. У нас его звали Леонид Сергеевич, а здесь он — Лео. Так вот, этот Лео считает, что попал в рай. Но слишком поздно. Ему семьдесят пять. И чтобы продлить эту райскую жизнь, он стал заниматься йогой. Каждое утро включает музыку и стоит на голове целый час. Говорит, что за год помолодел на двадцать лет.

Э л е н. Интересно — как это он определил?

А л е к с. Очень просто — стал реагировать на женщин. Как двадцать лет назад.

Невидимый оркестр заиграл что-то очень быстрое, темповое, современное.

Э л е н. Ну как — осилим?

А л е к с. Это для молодых.

Э л е н. А я ещё молодая. Это у вас в России продолжительность жизни — шестьдесят пять. У нас — семьдесят пять, а у женщин — восемьдесят!

Начинает танцевать одна. Сперва не очень уверенно, но с каждой минутой все более нахально и заразительно. В конце концов и Алекс присоединяется к ней. Свет гаснет. Музыка продолжается. Она звучит до того момента, когда он снова зажигается, но теперь уже в знакомом нам холле. Элен сидит в кресле под торшером

и массирует натруженные в танце ноги. Скрипнула дверь верхней комнаты, и на антресолях появилась миссис Г и б с о н .

С и л ь в и я. Ты уже дома?

Э л е н. Вы действительно, как мыши. Я думала, вас давно нет. Ведь мы добирались пешком. И к соседке еще заходили.

С и л ь в и я (*спускается с лестницы*). Я бы уже давно была дома. Но сперва он мне долго рассказывал про какой-то шумевший процесс, а потом... Ну, после всего — сразу же уснул. Мужчины теперь как шприцы — одноразовые. Не могла же я уехать и оставить его здесь. Хотя, мне кажется, он бы не возражал. Еле оторвала его от твоего торта. Не представляешь, с каким трудом мне удалось сохранить половинку на завтра. (*Садится в кресло напротив Элен. Закуривает*). Дорогая, неужели у тебя за эти пять лет ни с кем ничего?.. Не верю!

Э л е н. Ты не единственная.

С и л ь в и я. Мне жаль тебя. Женщина без этого стареет в два раза быстрее. Вот мне никто не дает моего возраста.

Э л е н. Возраст — это состояние души. И чтоб она молодела, ей надо найти родственную душу.

С и л ь в и я. Значит, у того математика ты ее не нашла!.. Как его звали?

Э л е н. Сол.

С и л ь в и я. Всем казалось, что он без ума от тебя.

Э л е н. Но еще больше — от моего счета. Он хотел открыть частный колледж, а денег у него было только на входную дверь...

С и л ь в и я. Хорошо бы спарить его с твоей соседкой. Говорят, что она помещалась на благотворительности. Да, кстати, как она отреагировала на маляра?

Э л е н. Миссис Крепс не интересовалась его профессией.

С и л ь в и я. Но если она завтра зайдет к тебе и увидит его на этом пьедестале... (*Показывает на стремянку*).

Э л е н. Ну и что?

С и л ь в и я. Да, через час об этом будет знать весь город. А через два — твои

невнимательные дети. Вот тогда они оборвут телефон. И все твои друзья — тоже.

Э л е н. И прекрасно! Хотя будет с кем поговорить.

С и л ь в и я. Ценю твой юмор, дорогая, но отнесись к этому серьезно. В нашем возрасте и положении надо быть осмотрительней в знакомствах. Зачем давать повод для всяких сплетен и небылиц?!

Э л е н. Кому?

С и л ь в и я. Нам подобным. Вот тебе урок: у нас на корте есть массажист. Я тебе о нем говорила. Бывший гимнаст. Фигура!!! Аполлон! И всего сорок лет. Мечтает открыть свой кабинет. Конечно, я бы могла ему помочь. Причем — безвозмездно. Но представляешь, какие бы сразу пошли разговоры!

Э л е н. А как же судья?

С и л ь в и я. Сравнила! Он же наш. Из нашего круга. Допустим, мой Эдвард что-то разнюхал. Не дай Бог, конечно! Но я уверена — ему будет гораздо приятнее узнать, что это судья, а не массажист. Ты не согласна?

Э л е н. Почему же! Мой ювелир недавно женился на манекенщице. Ты бы слышала, с каким восторгом он говорит о ее бывших любовниках. Сплошные знаменитости! Он этим так гордится!

С и л ь в и я. Вот видишь! О маляре он бы так не говорил! *(В гостиную доносится звонок из невидимой прихожей)*. По-моему, звонят.

Э л е н. Неужели кто-то еще обо мне вспомнил? *(Поднимается с кресла)*.

С и л ь в и я *(испуганно)*. А вдруг это Эдвард?.. Я ведь сказала, что проведу вечер с тобой... Давай уберем на всякий случай торт.

Э л е н. Зачем?

С и л ь в и я. Не могли же мы вдвоем съесть больше половины.

Э л е н. А куда ты спрячешь судью, если он проснется?

С и л ь в и я. Скажу, что он твой партнер по теннису.

Э л е н. Я не играю в теннис.

С и л ь в и я. Что-нибудь придумаю.

Э л е н. В присутствии судьи, дорогая, надо говорить правду и ничего, кроме правды. *(Уходит)*.

Сильвия на всякий случай убирает со стола торт, лишние бокалы и чашечки. Возвращается Элен. В одной руке у нее корзина с белыми розами, в другой — голубой конверт.

Это от Дика! Заказал по телефону. На Линкольн-стрит. Как в прошлом году. Давай выпьем за него. *(Разливает шампанское)*. И за Катрин! Чтоб она была такой же внимательной, как ее брат.

С и л ь в и я *(осушив стакан)*. А мне не за кого... Эдварду детей заменил бридж, внуков — собака, а мне — теннис. Для моего возраста я, пожалуй, слишком много играю, но надо же чем-то заполнить вакуум. Одни занимаются благотворительностью, другие — общественной жизнью. Я предпочитаю другую. Каждому свое...

Звонит телефон.

Э л е н. Это Катрин!.. Алло!.. Добрый вечер... Спасибо. *(Закрыв трубку)*. Эдвард!.. Да, да — здесь. Может, и вы зайдете? У меня чудесный торт. Ореховый. Мне помнится — вы его любили. *(Сильвия замахала на нее руками)*. Понимаю... Тогда в другой раз. Всегда буду вам рада. *(Вешает трубку)*. Через пять минут Эдвард будет ждать тебя в машине. Он едет из клуба. Зайти не сможет. Завтра у него сложная операция.

С и л ь в и я. Ну, ты хороша со своим тортом! А если б он взял и зашел?

Э л е н. Вот если бы я его не пригласила, он бы так и сделал. Согласись, что это показалось бы ему подозрительным.

С и л ь в и я. Ты, как всегда, умнее всех... Что делать с Майклом? Не выходить же нам вдвоем.

Э л е н. Скажешь, что это мой партнер по теннису.

С и л ь в и я. Мне не до шуток!

Э л е н. Оставь его здесь. Пусть спит. Напиши только записочку. Я положу ему на подушку.

С и л ь в и я. Ну уж это я сама! *(Поднимается наверх)*.

Э л е н. Ты что — ревнуешь его ко мне?

С и л ь в и я. К твоему торту! *(Скрывается за дверь)*.

Э л е н *(достав из конверта письмо, читает вслух)*. «Дорогая и самая любимая наша мамочка и бабушка! Будь такой же красивой и молодой, как всегда. И никому не говори, что тебе пятьдесят пять. Целую, твой Дик». Принято по телефону.

Возвращается С и л ь в и я.

С и л ь в и я. Спит как младенец. Соски только не хватает. До завтра, дорогая. Я приеду за машиной. Спасибо за вечер. Все было чудесно... Нет, нет — не провожай. Еще что-нибудь ляпнешь Эдварду. *(Уходит)*.

Э л е н *(перечитывая открытку)*. «Будь такой же красивой и молодой, как всегда. И никому не говори, что тебе пятьдесят пять»... Ничего не понимаю... Дик-то знает, что пятьдесят пять мне было в прошлом году. *(Встает из кресла, подходит к зеркалу, внимательно рассматривает себя, разглаживает морщинки под глазами, потом включает магнитофон и под веселую мелодию становится на голову)*.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Утро следующего дня. Снова холл в доме миссис Старк. Корзина с белыми розами напоминает о прошедшем торжестве, а заляпанная краской стремянка — о неоконченном ремонте. Только теперь она стоит не в центре, а в углу. Невидимый маляр, орудуя мастерком, насвистывает мелодию вчерашнего танго. Звонит телефон.

А л е к с *(спустившись с лестницы и взяв трубку)*. Алло!.. Доброе утро... Очевидно, она спит. *(Долго слушает)*. Извините, миссис Гибсон, но если вы сделаете небольшую паузу, я постараюсь ответить на все ваши вопросы...

Дверь я открыл сам — у меня есть ключ. А в субботу я работаю, чтобы поскорее закончить ремонт... Больше вопросов нет?... Хорошо! Передам!

Вешает трубку и опять забирается под потолок. Входит Э л е н. На ней экстравагантный халат, в руке — термос-кофейник. Полюбовавшись цветами и поставив термос на столик, поднимается по лестнице на антресоли.

А л е к с *(со стремянки)*. Доброе утро!

Э л е н. Вы?!. Неужели я проспала до понедельника?

А л е к с. Сегодня суббота. Я решил поработать, чтоб наверстать упущенное. Если, конечно, вы не возражаете, миссис Старк.

Э л е н. Вчера вы называли меня просто Элен.

А л е к с. Я слишком много выпил.

Э л е н *(показав на столик с бутылками)*. Не хотите ли повторить?

А л е к с. У вас опять день рождения?... Вас искала миссис Гибсон. Просила сразу же позвонить, как проснетесь.

Э л е н. Я еще сплю. Как хорошо, что у меня в спальне испортился телефон.. Она бы и вздремнуть мне не дела. *(Открывает дверь в верхнюю комнату)*. А вот мистер Форст уже проснулся и исчез. Как чудесно он застелил кровать: ни одной складочки. Холостяки больше всего любят порядок.

А л е к с. Он ночевал здесь?

Э л е н. Сильвия не могла его добудиться. Любовь пьянит сильнее, чем вино. *(Спускается в холл)*. А вы обратили внимание на эти шикарные розы?

А л е к с. Конечно. У нас в России я таких не встречал.

Э л е н *(гордо)*. Это от Дика! *(Подходит к телефону, набирает номер)*. Катрин?!.. Доброе утро, доченька. Поздравляю тебя!.. Как с чем? С годовщиной. Вчера исполнился ровно год, как ты последний раз поздравила меня с днем рождения... Да, в девять не было... Позвонила бы еще раз... А что — на благо-

творительных вечерах теперь не работают телефоны?... Между прочим, Дик занят не меньше тебя, но от него я получила корзину белых роз... Судя по твоему голосу, я оторвала тебя от подушки. Извини! (*Вешает трубку*). Оказывается, она звонила, когда мы были в ресторане. Могла бы набрать соседку! Я всегда их прошу об этом.

А л е к с. Вам надо завести автоответчик.

Э л е н. Чтоб узнать, что тебя перепутали с аптекой? (*Снова набирает номер, но, видимо, безрезультатно*). А вот Дика дома нет. Наверно, уехали на уикэнд. У них очень симпатичная вилла. Час от Вашингтона... Или улетел куда-нибудь с шефом. Вы не слышали, где сейчас наш президент?

А л е к с. Нет!

Э л е н (*глядя на цветы*). Хорошо, что они в бутонах. Долго будут стоять. А вы знаете, если роза распускается у тебя на глазах, то можно загадать любое желание, и оно обязательно исполнится. Правда, они редко делают это на людях. Из всех цветов розы — самые застенчивые. У каждого цветка свой характер. Вы были когда-нибудь на выставке цветов?

А л е к с. Нет!

Э л е н. Вы сердитесь, что я вас отвлекаю... Это все розы... Радость делает человека сплывшим.

А л е к с (*спускаясь со стремянки*). Значит, у миссис Гибсон — сплошные радости... (*Спрыгивает с последней ступеньки*). С гостиней порядок! Защипывал. Денек подсохнет и можно белить. А я пока займусь вашей спальней. (*Складывает стремянку*).

Э л е н. А как насчет кофе? Вы не составите мне компанию?

А л е к с. Если недолго.

Э л е н (*разливая кофе*). Куда вы торопитесь?

А л е к с. В Канаду. Хотя наденек. Я кое-что скопил за это время, так что не буду им в тягость. После покупки дома они, наверно, на мели... А я не думал, что вы так рано встаете.

Э л е н. Ранним пташкам бог подает. Однажды в колледже я проснулась в пять утра и нашла в саду десять долларов. Вот что значит — рано вставать.

А л е к с. Да, но кто их потерял — встал еще раньше.

Оба смеются.

Э л е н. А правда говорят, что в России проблемы с хорошим кофе?

А л е к с. И с плохим тоже. У нас без проблем только с проблемами... Да, от такого кофе не заснешь!

Э л е н. А вы хорошо спали сегодня?

А л е к с. Отлично! Восемь часов, не просыпаясь. Вот что значит танцы!

Э л е н. А я глаз не сомкнула. Никак не могла отделаться от этой мелодии. (*Напевает мелодию вчерашнего танго*). А что если и мне поехать с вами в Канаду? После такого ремонта не грех проветриться. (*Алекс поперхнулся и закашлялся*). Что с вами?

А л е к с (*поставив чашку на столик*). Слишком крепкий.

Э л е н. Сварить послабее?

А л е к с (*встав с кресла*). Спасибо, надо работать.

Э л е н. Пойдите... Как вам мое предложение?

А л е к с. Если мне не изменяет память, вчера у вас была идея навесить внуков.

Э л е н. Навещу из Канады. Всего лишний час на самолете.

А л е к с. А я поеду поездом. И вторым классом.

Э л е н. Мой Джо тоже не любил шиковать. Зато теперь я могу ни в чем себе не отказывать. Я тоже поеду поездом. И в курящем вагоне. О'кей?.. Ну, что же вы молчите?

А л е к с. Думаю.

Э л е н. О чем?

А л е к с. Что я скажу дочке?

Э л е н. Да?!. Комплексов у вас еще больше, чем проблем. «Это миссис Старк», — вот все, что нужно сказать. И потом — я остановлюсь в отеле. Если вам не захочется знакомить меня с

вашей семьей, я нисколько не оби- жусь. Когда вы думаете ехать?

А л е к с. Через неделю. Но я поеду один... После смерти жены я сказал дочери, что ни одна женщина мне ее не заменит.

Э л е н. Я тоже говорила детям, что до конца дней буду одна... И не надо никого заменять. Люди не за- части — заменил и можно ехать даль- ше. Никто нам не заменит ушедших. Но мне почему-то кажется, что если бы Джо увидел вас... отсюда — вы бы ему понравились.

А л е к с. Вряд ли ему нравились бездельники... Спасибо за кофе.

Уходит. Элен закуривает и делает глу- бокую затяжку. Возвращается А л е к с.

Простите, мастерок забыл. (*Снова уходит, но, сделав несколько шагов, воз- вращается*). А вот моей супруге ужас- но не нравились курящие женщины. «Целоваться с такой женщиной, — го- ворила она, — все равно, что цело- вать пепельницу».

Уходит в спальню. Элен, поперхнув- шись сигаретным дымом, долго кашляет. Звонит телефон.

Э л е н (*сняв трубку*). Алло!.. Доброе утро, дорогая!.. Ну что тебе дался этот маляр!.. Он хочет поскорее закончить ремонт, получить деньги и поехать к внуку... Не знаю. Загадочно исчез. Хо- тела предложить ему кофе, а кровать пустая. Видимо, он ушел еще до ма- ляра. Позвони ему домой... Тогда — в суд... Ах, сегодня же суббота. Извини, давно не судилась.

Вешает трубку. За ее спиной появляет- ся М а й к л. Он в спортивном костюме с полотенцем через плечо.

М а й к л. Доброе утро, миссис Старк! У вас чудесный бассейн.

Э л е н. А я думала — вы уехали.

М а й к л. Не поблагодарив вас за вчерашний вечер и торт?... Но когда я встал, вы еще спали. И я решил сде- лать пока зарядку. Полотенце и кос-

тюм у меня были в машине — я ведь к вам вчера прямо с тенниса.

Э л е н (*показав на телефон*). А я сказала Сильвии, что вас нет.

М а й к л. Отлично! Иначе она бы явилась сюда и потребовала возмес- тить ей моральный и физический ущерб. Извините — шутка.

Э л е н. И, наверно, очень смеш- ная, если бы только я понимала, в чем ее соль.

М а й к л. В том, миссис Старк, что вчера я притворился спящим сразу же, как лег в кровать.

Э л е н. Зачем?

М а й к л. Видите ли, некоторым мужчинам нравятся женщины, кото- рых добиваются они сами, а не на- оборот. Я отношусь к их числу... А вы каких предпочитаете?

Э л е н. Умных... Хотите кофе?

М а й к л. С тортом?

Э л е н. Держите, господин сладко- ежка.

Передает ему кусок торта и наливает кофе.

М а й к л. Разве я мог уйти! (*С на- слаждением ест*). Единственное, за что я благодарен Сильвии, — это за зна- комство с вами. Мне тоже нравятся умные женщины, хотя они, как пра- вило, не умеют готовить и печь. Вы — редкое исключение.

Э л е н. Ну вот — еще одного куска торта вы уже добились.

Кладет ему еще кусочек.

М а й к л. Спасибо. Но мне бы очень хотелось добиться расположения ав- тора.

С жаром целует Элен руку...

Э л е н. Зачем столько страсти! Тре- тьего куска не будет. Сильвия не лю- бит полных мужчин.

М а й к л. А я — нахальных и болт- ливых женщин. Вот вы — в моем вку- се, миссис Старк. Я не скрывал этого и вчера за столом, но вы были глухи к моим комплиментам. Тогда я остался здесь, чтобы снова увидеть вас.

Э л е н. Еще кофе?

М а й к л. Вы хотите поменять тему разговора?

Э л е н. На эту тему говорили пока только вы.

М а й к л. Сейчас я предоставлю слово и вам. Что бы вы сказали, госпожа Старк, если бы я сделал вам предложение?..

Э л е н. Что вы торопитесь.

М а й к л. Мне не двадцать.

Э л е н. И мне не шестнадцать. В нашем возрасте трудно поверить в любовь с первого взгляда.

М а й к л. А вот вашей сверстнице я понравился с первой встречи!

Э л е н. Во-первых, она старше меня, а во-вторых, у нас разные вкусы. Мне все-таки больше нравятся полные мужчины.

М а й к л. С такой кулинаркой, как вы, я быстро наберу нужный вес... Подумайте о моем предложении, Элен. Через неделю у меня отпуск. Мы могли бы провести его вместе во Флориде... Ну, что же вы молчите?

Э л е н. Я думаю.

М а й к л. Только прошу вас — не очень долго. А сейчас, извините, — обещал племянникам отвезти их в Диснейленд. *(Поцеловав ручку, направляется к гаражной двери)*. Если Сильвия будет звонить — скажите, что она проиграла пари. Я не нашел ни одного золотого волоса.

Э л е н. О чем вы?

М а й к л. Она знает.

Входит А л е к с.

А л е к с. Куда можно передвинуть шкаф? Он мне мешает.

Э л е н. Можно сюда.

М а й к л. *(задержавшись под лестницей)*. Вы что — ночевали здесь?

А л е к с. *(с удивлением)*. А вы что — еще не ушли?

Э л е н. Ну, прямо разговор двух глухих: «Который час, Джо?» — «Девяносто, Боб, а тебе?»... Все очень просто: мистер Павлофф решил наверстать упущенное (показывает на потолок), а мистер Форст — недоеденное *(показывает на торт)*.

М а й к л. Но вы не сказали мне, что он здесь, миссис Старк.

Э л е н. А вы меня не спрашивали, господин судья.

М а й к л. Извините. *(Уходит)*.

А л е к с. А он не будет вам здесь мешать?

Э л е н. Кто?

А л е к с. Шкаф.

Э л е н. Передвиньте его к другой стенке. И все!

А л е к с. Мне одному — не передвинуть.

Э л е н. Да бог с ним — с этим шкафом! Куда двигаться мне? Мистер Форст предлагает поехать с ним во Флориду. У него как раз отпуск и...

А л е к с. Но вы же собирались в Канаду?

Э л е н. Но вы, кажется, были против.

А л е к с. Против?! Да я даже не знаю, как это по-английски. Наверно, я что-то перепутал... Ну, конечно, — я хотел сказать: напротив, я — за, а получилось — против. Маленькая ошибка.

Э л е н. Иногда из-за маленьких ошибок совершаются большие глупости... Значит, он вам мешает?

А л е к с. Кто?

Э л е н. Шкаф! Идемте — я вам помогу.

А л е к с. Спасибо! Я сам.

Уходит помолодевшей, раскованной походкой. Элен достает из сумочки портсигар, зажигалку. Закуривает, но после первой же затяжки решительно гасит сигарету. В дверях под лестницей появляется Сильвия.

С и л ь в и я. Куда же он мог деться? Сестра говорит, что он должен был повезти детей в Диснейленд, но его до сих пор нет. Сейчас возьму машину и поеду на корт. Может быть, он там.

Э л е н. Если он и поехал на корт, то он еще туда не добрался. Твой Майкл только что был здесь. Оказывается, он плавал в бассейне. Ждал, когда я проснусь.

С и л ь в и я. Зачем?

Э л е н. Чтобы поблагодарить за торт.

С и л ь в и я. Этот торт мне уже поперек горла. Придется взять у тебя рецепт.

Э л е н. Извини — не дам. В отличие от тебя, дорогая, это — единственное, чем я могу еще понравиться мужчине.

С и л ь в и я. И сколько же кусков понадобилось съесть господину маляру, чтобы заснуть в чужой кровати?

Э л е н. В отличие от господина судьи, он не любит сладкого. И давай переменим тему... Майкл просил передать тебе, что ты проиграла пари, что он не нашел... забыла что...

С и л ь в и я. Плохо искал. Давай покурим. И я поеду искать его.

Достает из сумочки красивую пачку с дамскими сигаретами. Предлагает Элен.

Э л е н. Спасибо, но я решила бросить.

С и л ь в и я. Кроме сладкого, он еще не любит курящих женщин?

Э л е н. Тише!.. По-моему, машина в гараж въехала... *(Обе прислушиваются)*. Ты что — не закрыла ворота?

С и л ь в и я. Я же собиралась сразу уехать. Может, позвонить в полицию?

Э л е н. Поздно!

Из-под лестницы в холл вошел мужчина. Лица его не было видно, так как он держал перед собой большую корзину с белыми розами.

С и л ь в и я. Знакомые брюки.

Мужчина чуть не выронил цветы. Это был Майкл.

М а й к л. Сильвия?! Вы здесь?

С и л ь в и я. Я приехала за машиной, а вы?.. Что означает эта оранжерея?

М а й к л. Вчера вы забыли сказать мне, что у вашей подруги день рождения. Лучше поздно, чем никогда, не правда ли?

Ставит корзину у ног Элен.

Э л е н. Спасибо.

М а й к л. Белые розы — это символ большой и бескорыстной любви.

С и л ь в и я *(Элен)*. Он что — весь твой торт съел?

М а й к л. Это сказал мне китаец в цветочном салоне. У них на Востоке

каждая травинка, каждая букашка — какой-нибудь символ.

С и л ь в и я. А судьи там никогда не обманывают своих племянников. Сейчас же звоните домой. *(Подает ему трубку)*. Скажите, что испортилась машина — будете через полчаса. Я все-таки хочу доказать вам, что пари проиграли вы. А для этого придется подняться наверх.

Э л е н *(перехватив ее многозначительный взгляд)*. А меня как раз просили шкаф передвинуть. *(Уходит)*.

С и л ь в и я. Ну, звоните! Скорее! И — наверх!

М а й к л. Считайте, что я проиграл.

С и л ь в и я. Тогда вы должны выполнить любое мое желание. *(Тянет его за руку к лестнице)*.

М а й к л *(сопротивляясь)*. Но я же еще не позвонил.

С и л ь в и я. Там тоже есть телефон. *(Смеется)*.

М а й к л. Что вы смеетесь?

С и л ь в и я. Вспомнила анекдот: Патриция, ты любишь поболтать с мужем после любовного акта?.. Конечно, Мари, с большим удовольствием, если рядом есть телефон... А вы вчера заснули еще «до». Сегодня вам это не удастся. *(Делает несколько таких многообещающих телодвижений, что у судьи отвисает челюсть)*. Идем, дорогой!

М а й к л *(вырываясь из ее объятий)*.

Сильвия! Мне надо кое-что вам сказать.

С и л ь в и я. Вот там и скажешь.

Майкл упирается, но Сильвия оказывается сильнее. Последняя ступенька, и они на втором этаже. Внизу звонит телефон.

М а й к л. Телефон, слышите! Телефон! Может, это ваш муж?

С и л ь в и я. Вы-то чего боитесь? Не вас же он лишит наследства после смерти.

Заталкивает его в комнату. Телефон продолжает звонить. Входит Э л е н. Снимает трубку.

Э л е н. Алло!.. Сейчас я его позову... *(Кричит)*. Мистер Алекс, мистер Алекс, вас к телефону! Канада!

Вбегает А л е к с.

А л е к с. Что-то с Сашкой случилось! *(Хватает трубку)*. Да, да — я. Слушаю, доченька!.. Так... так, понял. Только не надо никакой гостиницы... Ну, хорошо — вы в гостинице, а Сашка — у меня... Когда самолет?... Нет, нет — обязательно встречу. На такси... Ну и что? Я тут заработал немного... Начихал я на эти доллары — лишний час Сашку увижу. До завтра! *(Вешает трубку)*.

Э л е н. Что-нибудь плохое?

А л е к с. Вы что — не слышали? Они завтра прилетают! Вместе с Сашкой!

Э л е н. Вы же говорили по-русски.

А л е к с. Ой, простите!.. Им ночью позвонил импрессарио. В Диснейленде идет шоу для детей: «Сказки на льду». А у них чудесный номер: «Красная Шапочка и Серый Волк». Три дня будут здесь. И Сашка с ними!

Э л е н. Я очень рада за вас.

А л е к с. И вы своих скоро увидите... Теперь уже прямо к ним, без Канады. Через неделю я все закончу. Можете билет заказывать. А сейчас, извините, помчусь домой. Генеральная уборка! Сашка будет жить у меня! *(Убегает)*.

Э л е н. *(вслед)*. Вы забыли переодеться.

А л е к с. Спасибо! Я дома!

Оставшись одна, Элен некоторое время сидит отрешенная и поникшая. Затем берет со столика сигареты, зажигалку и закуривает. Уйдя в свои мысли, она не слышит, как С и л ь в и я и М а й к л вышли из комнаты и спустились в холл.

С и л ь в и я. Ты снова куришь?

Э л е н. Я решила бросать постепенно.

С и л ь в и я. У вас с Майклом родственные души. Он тоже за постепенность во всем. А я предпочитаю делать все сразу. Особенно — в любви. Вы же судья, Майкл. «Встать, суд идет!» И все! Чего тянуть?!

М а й к л. В любви нам судья один Господь Бог. Не правдали, миссис Старк?

Э л е н. Святая правда. Только и высший суд иногда ошибается: приговаривает к пожизненной любви, а ее и на четверть жизни не хватает. Хорошо быть молодым. У них есть время

исправить эту ошибку. А для нас она может стать роковой.

С и л ь в и я. Боже, какая у меня умная подруга. К сожалению, мужчины предпочитают глупеньких.

Э л е н. Ничего, я компенсирую это тортом. У меня еще остался один кусочек, мистер Форст.

Судья потянулся за тортом, но Сильвия шлепнула его по руке.

С и л ь в и я. Подумайте о племянниках, Майкл. Бедные дети все глаза проглядели.

М а й к л. *(разводя руками)*. До встречи, миссис Старк.

Э л е н. Еще раз спасибо за цветы. Они будут напоминать мне о вчерашнем празднике.

М а й к л. И мне тоже. *(Уходит)*.

С и л ь в и я. Ну, фрукт! Ты сейчас упадешь... Оказывается, он сделал предложение какой-то особе и в ожидании ответа решил блюсти целомудрие. Представляешь?! Две недели собаке под хвост! А если эта особа — такая же умная, как ты, и будет тянуть черт знает сколько. «Вы же спортсмен, — сказала я ему, — и должны понимать, что значит выйти из формы»... И знаешь, что он мне ответил?.. «Для этой женщины важна не форма, а содержание». *(Элен смеется)*. Кто же она? А?.. Не успокоюсь, пока не узнаю... Слушай, я же когда-то играла в теннис с одним частным детективом... *(Достает из сумочки записную книжку, листает)*. Вот: Ник Селтон! *(Снимает трубку)*.

Э л е н. Что за срочность?

С и л ь в и я. Я хочу, чтобы эта «особа» сказала ему: «Нет!» И как можно скорее.

Из прихожей доносится звонок.

Э л е н. Кто бы это мог быть?.. Извини. *(Уходит)*.

С и л ь в и я. *(набрав номер)*. Алло! Это Ник?.. Неужели узнал?... Конечно, играю, а ты?.. Один раз? В неделю? Стареешь, Ник. Помнится, мы с тобой играли два раза... в день. Слушай, мне необходимо узнать, на ком собирается

жениться судья Майкл Форст. Имя, фамилию, телефон, о'кей?... Не звони, я сама... Бай-бай! (*Кладет трубку*).

В холл входит Элен. В руках у нее корзина с белыми розами и голубой конверт.

Это от кого?

Элен. Сейчас узнаем. (*Достает из конверта листок. Читает*). «Дорогая мамочка! Вместе с твоими любимыми цветами прими наши запоздалые поздравления. Нахожусь по делам в Европе. Мои со мной. Не учел разницу во времени. Прости. Нежно целую, твой Дик». Принято по телефону.

Сильвия. Интересно. (*Закуривает*). А от кого же была корзина вчера?

Элен (*перечитывая письмо*). Ничего не понимаю.

Сильвия. По-моему, у тебя завелся поклонник.

Элен. Хотя ты и играла в теннис с детективом, но эта версия отпадает. Вряд ли поклонник назвал бы меня в письме «дорогой мамочкой»... Наверно, Дик поручил кому-нибудь заказать цветы и забыл... А сегодня сделал это сам. На его работе можно голову потерять. Знаешь, сколько сейчас проблем у нашего президента?

Сильвия. Сколько бы ни было — это его проблемы. У меня своих предостаточно. Когда я выходила из дома, моему старичку позвонила докторша из его клиники. Та, что рекомендовала мне русского маляра. И сказала, что видела его вчера в ресторане за одним столиком со мной и еще с какой-то парой. И надо же было тебе пригласить его.

Элен. Надеюсь, ты выкрутилась?

Сильвия. Пока нет. Сказала: «Приду и все объясню».

Элен. Надо было сказать все, как есть, и...

Сильвия. И что?.. Ты думаешь, Эдвард бы поверил, что с маляром в ресторане была ты? (*Загасив сигарету, встала с кресла*). Пока, дорогая. Ключ с твоего разрешения я оставляю. Думаю, что господин судья скоро кончит поститься. Я уж постараюсь, чтоб эта

«особа» вышла замуж за кого-нибудь другого. (*Целует Элен*).

Элен. А что же все-таки ты скажешь Эдварду?

Сильвия. Скажу, что маляр — любовник докторши. Что она затащила его в ресторан, а он увидел тебя и подсел за наш столик, чтобы узнать, каким цветом ты решила красить потолок. А эта гримза приревновала его ко мне и позвонила Эдварду, чтобы напакостить воображаемой сопернице.

Элен (*с восхищением*). Вот кто должен быть советником президента!

Сильвия. Первое, что я бы посоветовала ему — уволить твоего Дика. Конечно, приятно получить от сына две таких шикарных корзины, но не за счет склероза. Бай-бай! (*Уходит*).

Элен роется в бумагах на телефонном столике. Находит нужную, снимает трубку, набирает номер. Свет в холле гаснет. Освещается авансцена. Алекс усердно орудует пылесосом. Из-за его шума он долго не реагирует на настойчивые телефонные звонки. Наконец, услышав, убегает и возвращается с аппаратом на длинном шнуре.

Алекс. Алло, алло... Ничего не слышно! Минутку подождите! (*Выключает пылесос*). Извините, я слушаю. (*В луче света Элен с телефонной трубкой в одной руке и сигаретой — в другой*). Алло, алло, что же вы молчите?

Элен. Это я — миссис Старк. Простите, вы, кажется, не один.

Алекс. Да, с пылесосом. Но я его уже выключил. Собирался сам вам звонить. Я так быстро убежал, что не успел сказать самое главное...

Элен. Я слушаю.

Алекс. Не спите сегодня в спальне. У шпаклевки довольно неприятный запах. Может разболеться голова.

Элен. Уже болит... Кому вы звонили вчера из ресторана?

Алекс. Одному господину... на счет будущей работы.

Элен. И этот господин имеет цветочный салон на Линкольн-стрит! И вы заказали ему корзину белых роз для меня от имени Дика. Но вас подвела одна ма-

ленькая неточность. В записке, продиктованной этому господину, вы поздравили меня с пятьдесят пятой годовщиной, а мне вчера исполнилось пятьдесят четыре. Дик это прекрасно знал.

А л е к с. Но вы же сами сказали, что вам — пятьдесят пять.

Э л е н. Все женщины мира после пятидесяти начинают убавлять года, но мне всегда хотелось быть не как все. Поэтому, я стала прибавлять. Сколько я должна вам за цветы, мистер Павлофф?

А л е к с. Вчера вы звали меня «Алекс», миссис Старк.

Э л е н. А вы меня — «Элен»... До свидания, мистер Алекс.

А л е к с. Элен... не вешайте трубку... Даже в самой счастливой стране людям всегда чего-то не хватает для полного счастья. Вчера мне показалось, что вам не хватает белых роз от любимого сына.

Э л е н. Дик сделал это сегодня. Он сейчас в Европе и не учел разницу во времени. Так сколько же я вам должна?

А л е к с. Вы должны завтра поехать со мной и моим внуком в Диснейленд. Я хочу познакомить вас с Красной Шапочкой и Серым Волком, о'кей?

Э л е н. А ваш Волк не съест меня, как ту бабушку?

А л е к с. У них в паре Волк — Красная Шапочка.

Свет гаснет. Слышится веселая джазовая мелодия из ледового шоу. Взрыв аплодисментов трансформируется в шум пылесоса. Только теперь уборкой занимается Э л е н. В белом спортивном костюме она, как чайка, проносится из одного конца холла в другой. Звонит телефон. Э л е н выключает пылесос, снимает трубку.

Э л е н. Алло!.. Нет, не аптека... А на что вы жалуетесь, миссис?.. Низкое лучше, чем высокое... Выбросите все ваши таблетки. Сегодня в Диснейленде идет шоу: «Сказки на льду» — последнее представление. Я была позавчера, и вот уже третий день у меня прекрасное давление, нормальный пульс и ненормальный аппетит. А глав-

ное — я бросила курить... Я тоже не могла. Запомните, миссис: целовать курящую женщину — все равно, что целовать пепельницу... Ах, вам восемьдесят пять!.. Тем более! Целовать старую пепельницу еще противней, чем молодую... Простите, миссис, ко мне пришли.

Через гаражную дверь в холл вошла С и л ь в и я.

С и л ь в и я. Добрый вечер, дорогая. Ехала с тенниса, вижу — у тебя свет, значит, не спишь.

Э л е н. Почему я должна спать в девять часов?

С и л ь в и я. Я где-то читала, что одинокие женщины рано ложатся и поздно встают, чтобы меньше думать о своем одиночестве. Но, кажется, тебе это не грозит. Тебя видели в твоём «Пежо» с каким-то неизвестным мужчиной и белобрысым мальчуганом.

Э л е н. А?.. Это мы с Алексом и его внуком ездили в Диснейленд. Он прилетел с родителями. Такой забавный парень. И очень похож на дедушку.

С и л ь в и я. Ты что, действительно втюрилась в этого маляра?

Э л е н. «Втюриваются» глупенькие гимназистки в молодого учителя. Я — не гимназистка, а он — не учитель.

С и л ь в и я. Так это что — серьезно?

Э л е н. Видишь ли, дорогая, мне с ним интересно. А когда есть человек, с которым интересно, то интересно становится жить. Признаться тебе честно — последнее время я потеряла всякий интерес к жизни.

С и л ь в и я. Боже мой! Да выйди ты из своего бунгало! Вокруг столько интересных мужчин.

Э л е н. У нас с тобой к мужчинам разный интерес.

С и л ь в и я. Да все мы из одного теста: начинается с разговоров о высоких материях, а кончается спальней.

Э л е н. А я-то, дура, как раз сейчас затеяла там ремонт.

С и л ь в и я. Остроумна, как всегда!.. Что же вы делали в стране чудес?

Э л е н. Доставляли радость внуку и себе. У мистера Алекса дочка и зять — прекрасные фигуристы. Они здесь на гастролях. Завтра уже улетают в Канаду. Через час придут всей семьей на ужин. Ой, торт! Извини! *(Убегает)*.

С и л ь в и я *(вслед)*. Ничего, я пока позвоню. *(Достает записную книжку, набирает номер)*. Привет, Ник! Есть новости?.. Интересно... А как ее фамилия, имя?.. Ну, ведь это самое, главное. А где он сейчас? В цветочном салоне? Ясно! Какая-нибудь смазливенькая продавщица... Ах, да, там же все продавцы — китайцы. Слушай, Ник, а ты сейчас где?.. Значит, я звоню тебе прямо в машину?.. Все! Не буду мешать. Поняла: выйду на связь через пять минут. Жаль, что по телефону.

Возвращается Э л е н.

Э л е н. Вовремя успела. Еще б минута и сгорел. Это меня?

С и л ь в и я *(положив трубку)*. Нет. Говорила с детективом. Оказывается, у этой особы — собственный особняк с бассейном.

Э л е н. Как он это узнал?

С и л ь в и я. Поехал в Диснейленд вслед за Майклом. И пока племянники катались на американских горах, подсел в кафе к дяде. Сказал, что убивает время в ожидании ответа любимой женщины. Тут судья и расколосся: «У меня, — говорит, — такая же ситуация. Буду в отчаянии, если она мне откажет. Такая умница и к тому же имеет прекрасный особняк с мраморным бассейном»... Слушай, а, может, это ты?.. Хотя нет. Умная женщина не стала бы кататься в открытой машине неизвестно с кем. Мне просто телефон оборвали.

Э л е н. Завтра же куплю закрытый бронированный «Форд».

С и л ь в и я. Очень остроумно! Не наделай глупостей, дорогая. Ты ведь неспособна на легкий флирт... Хочешь, я возьму тебя завтра на теннис. У нас там появился один физик... Или химик. Впрочем, это неважно. Главное, что год

назад у него во Флориде утонула жена. Ходит, как в воду опущенный.

Э л е н. И ты до сих пор не бросила ему спасательный круг?

С и л ь в и я. К сожалению, дорогая, у меня он всегда один. Счастливо провести вечер! Пока... О, я же должна сделать один важный звонок. *(Набирает номер)*. Ну что, Ник?.. Прекрасно! Значит, из салона он отправится к ней! Не племянникам же он заказал корзину! Как, логично?.. Вполне могла бы работать твоей помощницей... Можете ехать домой, шеф. Дальше я буду действовать сама. Через пять минут сменю вас у салона. *(Вешает трубку)*. Все! Убегаю... Кто же это такая — богатая, умная и красивая?..

Э л е н *(вслед)*. Чтобы найти такую жену, мужчине надо жениться три раза. Снова включает пылесос. *(За его шумом не слышит, как в холл вошел А л е к с)*.

А л е к с. Добрый вечер.

Э л е н. Ой, а я еще даже не переоделась! *(Выключает пылесос)*. Извините, не ждала так рано. Но торт у меня уже готов. Посидите — я сейчас... А вы что — один?

А л е к с. Да.

Э л е н. Изменились планы?

А л е к с. Не надо переодеваться... Простите за беспокойство. За торт. Я приду завтра утром и буду работать до позднего вечера.

Э л е н. Но ведь ваши завтра улетают.

А л е к с. Пусть летят. На все четыре стороны! Еще раз простите.

Э л е н *(преградив ему путь)*. Что с вами, Алекс?

А л е к с. Со мной — ничего. У меня все о'кей! Полный о'кей!

Э л е н. Но я же вижу — вы не в себе.

А л е к с. Ах, да, мы же в Америке! Нужно всегда улыбаться во весь рот, как на рекламе зубной пасты. Вот так — да?.. — Безоблачная улыбка — символ полного благополучия. Если вы скалите зубы каждому встречному, значит, у вас нет никаких проблем. А если есть, то это ваши проблемы, и никому до них нет дела. Даже собст-

венным детям. Открытка на Пасху, розы в день рождения, фотография на Рождество: белозубый внук с мамой и папой у новенького «Форда» на фоне собственного дома. А что еще?! У родителей тоже все есть — и дом, и машина, и страховка. Никто друг от друга не зависит. Это только у нас детей от родительской пуповины до седой бороды не оторвешь. Иначе погибнут. Зато живем их жизнью, а они — нашей. А здесь каждый своей. И лезть в чужую душу со своими проблемами — не могí. Для этого есть тысяча всяких клубов и обществ. Даже общество жен, которых бьют пьяные мужья. Собрались, обсудили свои проблемы и домой, к своим алкоголикам — до будущего съезда. Может, вы поэтому и живете так долго, что в чужие души не лезете, а не от хорошей пищи?

Э л е н. Какие у вас проблемы, Алекс? Почему не пришли ваши дети? Поверьте, что мне это совсем не безразлично. Ведь мы с вами из одного общества. Оно не устраивает съездов, презентаций, банкетов. Потому что официально его нет. Но оно есть, есть, как это ни печально. В любой стране. И в счастливой Америке — тоже. Это общество бездетных родителей при живых детях. Только я вступила в него намного раньше вас. А что касается безоблачной улыбки, то бывает, что за целую неделю я скалю зубы только зеркалу и хозяйке русского магазина. Так какие же у вас проблемы?

А л е к с. Никаких. Два часа назад еще были. А сейчас — никаких. Пожалуй, только одна: а стоит ли дальше жить?

Э л е н. Что же все-таки случилось?

А л е к с. Ничего особенного. Поехали с Сашкой на последнее представление, чтобы после все вместе — к вам. В антракте пищу ему купил, пепси. И тут он мне говорит: «Дедушка, а почему ты к нам не переезжаешь насовсем?» — «Так вы же сами, — говорю, — неизвестно где живете». — «Почему неизвестно — мы давно в своем доме живем. Только мама просила тебе

не говорить, потому что ты в Канаде пенсию получать не будешь. А ты все равно приезжай. Скоро я вырасту, займусь каким-нибудь бизнесом и буду покупать тебе все, что захочешь». Когда кончился антракт, я отвел его за кулисы к маме с папой и уехал.

Э л е н. Как же вы теперь?

А л е к с. Ну вот — к вашим проблемам прибавил еще я свои... До завтра.. Выберем утром колер и начну красить потолок... Если они будут искать меня по вашему телефону — вы ничего не знаете.

Э л е н. Я никогда никому не лгала.. Только сама себе, когда болтала с детьми по отключенному телефону. Но мне очень хотелось, чтобы они вспомнили меня в мой день рождения.

А л е к с. Ну, что ж — скажите все, как есть. Пусть звонят мне домой. Ночевать я буду у Лео, который на голове стоит. А сейчас я пойду в парк к своим соотечественникам.

Э л е н. Будете ругаться матом?

А л е к с. Угадали.

Э л е н. А вы ругайтесь здесь. Хоть до ночи. И до какого угодно этажа. Начинайте прямо сейчас. А я пойду соорудить ужин. Мы будем есть астраханскую селедку, московский борщ, киевские котлеты и пить сибирскую водку. И не вздумайте отказываться. Я специально ездила в русский магазин. (*Уходит*).

Алекс подходит к телефону, набирает номер.

А л е к с. Гуд ивнинг, Леонид Сергеевич. Это Александр Борисович. Можно, я у вас сегодня переночую?.. Ничего особенного. Все нормально. Приду — расскажу. Значит, о'кей?.. Буду через час. А что у вас с голосом?.. Ах, на голове?.. А я думал — вы только по утрам. Может, и мне с вами?.. Вдвоем даже на голове стоять веселей.

Вешает трубку. Из-под лестницы выходит С и л ь в и я.

С и л ь в и я. Добрый вечер, господин Павлофф. А где наша очаровательная хозяйка?

А л е к с. На кухне.

С и л ь в и я. Ах, да! Она же говорила, что у нее сегодня гости. Только, по-моему, она ждала вас позже.

А л е к с. Так получилось. А я что, вам мешаю?

С и л ь в и я. Мне — нет. Но сейчас сюда придет мистер Форст. Он ищет, где припарковаться. Неужели она забыла, что должна дать ему сегодня ответ?.. Впрочем, богатая сумасбродка может позволить себе что угодно — хоть двух любовников, хоть трех. С одним танцует в ресторане, а другого для отвода глаз поручает развлекать своей подруге, а потом оставляет его у себя на ночь. Но господин судья готов простить ей многое. У него серьезные намерения. Он даже попросил меня быть здесь в качестве свидетельницы. Надеюсь, вы понимаете, что к вам у миссис Старк другой интерес. Сейчас у нас в моде все русское. Но мода в Америке меняется чуть ли не каждый месяц. *(Из прихожей слышится звонок)*. Это судья... Хотите, я выпущу вас через гараж?

А л е к с. Да, пожалуй. *(Уходит)*.

Сильвия прячется за портьеру. Входят Э л е н с М а й к л о м. У него в руках корзина с белыми розами.

М а й к л *(подходя к столику)*. Можно сюда?

Э л е н. Конечно. *(Помогает поставить корзину)*. Вся в цветах. Как прима-балерина. Спасибо, мистер Форст, хотя, если честно, сегодняшний ваш визит несколько неожиданный. У меня небольшой прием, но я буду рада видеть на нем и вас. Тем более, что венчать его будет ваш любимый торт. А пока у меня будет все готово — предлагаю взять интервью у мистера Алекса. У вас в ресторане было много вопросов по России, а я увела его танцевать... Но где же он?.. Наверно, вышел к бассейну. Сегодня жаркий день.

М а й к л. Россия меня сейчас не волнует. И Америка тоже. Кроме

Флориды. Что вы решили, Элен?

Э л е н. Давайте перенесем этот разговор на завтра. Иначе у меня все переварится и пережарится. О'кей! *(Убегает)*.

С и л ь в и я *(выходя из укрытия)*. Так вот, кто эта идеальная особа! Хороша подружка! Хоть бы словом обмолвилась. Ведь это я привела вас сюда. Только зря стараетесь, господин судья. Вы знаете, для кого она устраивает прием?.. Для мистера Алекса и его семейства. У них смотрины. А я приглашена как свидетельница.

М а й к л. Чушь! Этого не может быть! Миссис Старк и этот русский маляр!

С и л ь в и я. Значит, в ресторане вы только прикидывались ультралевым демократом: «Настоящим американцам наплевать на разницу в положении!» А демократкой-то оказалась моя подружка. Вот ей все равно, кто он. Помните, Майкл, в одном бродвейском шоу были такие куплеты:

Пусть он из Африки, из Польши,
Пусть не художник, а маляр —
Была бы кисточка побольше,
Я для нее найду футляр.

М а й к л. Какая пошлость!

С и л ь в и я. Идемте отсюда, Майкл. Не знаю, как вам, а мне не хочется быть зрителем этого дешевого шоу.

М а й к л. Но я не могу, не могу это поверить. С ее умом, тактом, состоянием... Может быть, он ее загипнотизировал, околдовал? Тут нужна судебно-медицинская экспертиза.

С и л ь в и я. Экспертиза нужна вам. Уверена, что вы назубок знаете все ваши статьи и законы, но вы совсем не знаете женщин, Майкл. Если нам нравится мужчина, мы готовы пойти на преступление, чтобы заполучить его. Это у вас в голове — работа, карьера, бизнес, а у женщины только одно — любить и быть любимой. Биология!

М а й к л. Допустим, допустим — вы правы. И все-таки трудно поверить, что такой женщине, как Элен, безразлично положение мужчины в об-

шестве, профессия, интеллект... Кроме биологических законов есть законы чести, морали...

С и л ь в и я. Только не для влюбленных женщин. Идемте, Майкл! (*Берет его под руку*).

М а й к л (*упираясь*). А как же общество, к которому ты принадлежишь? С его мнением нельзя не считаться!

С и л ь в и я. Об этом мы поговорим дома. За чашкой кофе. У мужа сегодня бридж в клубе — нам никто не будет мешать.

М а й к л. Спасибо, но мне, наконец, надо знать — один я еду во Флориду или вдвоем. Извините, Сильвия, но нам с Элен надо выяснить наши отношения.

С и л ь в и я (*выпустив руку*). Значит, они у вас все-таки были?

М а й к л. Ничего у нас не было.

С и л ь в и я (*взяв его снова под руку*). Что же тогда выяснять? Поехали! (*Уводит упирающегося Майкла через гаражную дверь. После некоторой паузы появляется нарядная Элен. Она везет перед собой столик с напитками*).

Э л е н. Через пять минут сядем за стол, а сейчас предлагаю аперитив для аппетита... Алекс, Майкл — где вы?.. (*Выходит из холла к бассейну. Оттуда слышится ее голос*). Господа, вы что — утонули? (*Звонит телефон. Элен быстро возвращается, снимает трубку*). Я вас слушаю... Нет, не у меня, только что был и исчез. Он говорил, что будет ночевать у приятеля. Адрес не знаю... А, может быть, вы придете поужинать?.. У меня много вкусных вещей из русского магазина... Жаль. Позвоните завтра. Он сказал, что с утра будет работать.

Вешает трубку. Закуривает. Листает телефонную книжку, набирает номер.

Алло!.. Это русский магазин? Добрый вечер, госпожа Гуревич! Это миссис Старк... Нет, нет, все было замечательно вкусно. У меня другая проблема. Один ваш земляк говорил, что

если выругаться вашим трехэтажным матом, то сразу восстанавливается душевное равновесие. Что бы вы могли мне порекомендовать?.. Записываю... А что это значит в переводе?.. «Я живу с твоей матерью, твоим отцом и твоим сыном?!..» Сразу со всеми?.. Интересно! Сейчас попробую.

Свет гаснет.

Утро следующего дня. В холле **А л е к с**. Он в рабочем комбинезоне, на голове — пилотка из газеты. Сидя на краешке кресла, разводит краску в одном из трех ведер, стоящих перед ним. Беспрерывно звонит телефон, но он не обращает на это никакого внимания. Правда, пару раз он было дернулся, чтобы взять трубку, но в последний момент, передумав, снова принимался за работу. Наконец телефон перестал звонить.

А л е к с (*глядя на часы*). Все!.. Улетели... (*И тут опять раздался звонок. На этот раз Алекс, не раздумывая, схватил трубку*). Алло! Я слушаю!... Нет, не аптека. Набирайте правильно номер. (*Вешает трубку*).

Чуть раньше из гаража вышла **С и л ь в и я**. Она в спортивном костюме. Волосы на голове обхвачены резиновой лентой как у заправской теннисистки.

С и л ь в и я. Ах, вот почему я не могла дозвониться! Если бы американцы, господин Павлофф, вместо работы болтали по телефону, мы бы оказались в более страшном кризисе, чем вы. У нас в одном Нью-Йорке телефонов больше, чем в России... А где моя любвеобильная подруга?

А л е к с (*размешивая краску*). Когда я утром пришел, ее уже не было. А может, она еще спит? (*Показал на антресоли*).

С и л ь в и я. Нет. Два часа назад я встретила ее в банке. Она брала большую сумму — десять тысяч. Я так удивилась, что забыла вернуть ей ключ от гаража. Вы же не первый день в Штатах. У американцев почти не бывает наличных. Сто, двести долларов на мелкие расходы и все. Деньги должны

работать и приносить доход, а не киснуть в карманах. Вы не знаете, зачем ей понадобилась такая сумма?

А л е к с. Если я буду отвечать на все ваши вопросы, миссис Гибсон, у меня даже на мелкие расходы не будет. Ваша подруга не посвящает меня в свои финансовые тайны, как, впрочем, и в другие. Чтобы удовлетворить ваше любопытство, вам придется ее подождать.

С и л ь в и я. У нас не принято спрашивать, сколько ты зарабатываешь и на что тратишь. Национальная традиция. Но если у вас ее нет, позвольте спросить: вам что — не хватает пособия, которое дают иммигрантам? Ведь вам даже квартиру оплачивают, бесплатно лечат, учат.

А л е к с. А я не жалуюсь. Живу, как при коммунизме. Наш великий мыслитель был прав: коммунизм можно построить в одной отдельно взятой стране. Только, очевидно, он имел в виду Америку, а мы не разобрались и начали строить в России.

С и л ь в и я. И все-таки вы мне не ответили, зачем вам эта грязная работа?

А л е к с. Отвечу... Без работы скушно — раз, языковая практика — два и еще: это дает мне возможность помогать одному профессору, моему старому другу. Каждый месяц я посылаю ему в Петербург джинсы, кроссовки, видеокассеты. Он их сдает в коммиссионный и на вырученные деньги покупает на рынке мясо, овощи, фрукты. Иногда с оказией я посылаю ему доллары. А он их там меняет.

С и л ь в и я. Странно, очень странно.

А л е к с. Что странного? У него пенсия по нынешнему курсу — пятнадцать долларов. Может человек прожить на такие деньги целый месяц? А он еще дочке с внучкой помогает.

С и л ь в и я. Я не об этом. Странно, что у вас друг — профессор.

А л е к с. Почему?.. Мы вместе кончали медицинский, практиковали в одной больнице, потом защитились,

потом преподавали: он на кафедре общей терапии, а я — хирургии.

С и л ь в и я. Почему же вы об этом не сказали?

А л е к с. А меня никто не спрашивал. Очевидно, ваша национальная традиция распространяется не только на деньги.

С и л ь в и я (*показывая на ведро*). А как же это?

А л е к с. Во время отпуска я всегда сам делал дома ремонт. Хобби. Теперь пригодилось. Врачи с русскими дипломами здесь не котируются. Да еще — в моем возрасте. Не дай Бог — отрежешь пациента совсем не то, что ему хотелось бы.

С и л ь в и я (*опять показывая на ведро*). А Элен? Элен знает про все это?

А л е к с. Не понимаю, что бы это изменило? Больше семи долларов в час русским малярам здесь не платят, даже если у них два диплома. А вот рекомендовать меня своим друзьям уже никто бы не стал: зачем им маляр с медицинским дипломом, когда можно взять настоящего... Извините, надо работать. «Чем богаче американцы, тем богаче Америка!» Так, кажется, у вас говорят...

Взяв ведро, уходит в спальню. **С и л ь в и я** закуривает, делает глубокую затяжку, затем снимает трубку и набирает номер.

С и л ь в и я. Хелло, Майкл! Ты все еще дуешься на меня?.. Зря! Конечно, вчера твои шансы были предпочтительнее: профессия, положение в обществе, интеллект. И если бы я не увела тебя почти силой, ты бы выиграл пару геймов, но не игру, Майкл. Оказывается, этот маляр — профессор медицины. Кто сказал?.. Он сам. Буквально минуту назад... Почему ты мне никогда не веришь? Позвони в иммиграционное управление. Они у них все на компьютере... А если подтвердится?.. Тогда во Флориду ты поедешь со мной! Если нет?.. Тогда мы поедem на Багамы... Жду тебя на кор-

те. Ты совсем вышел из формы. Я помогу тебе ее восстановить. До встречи, милый. *(Вешает трубку)*. Мистер Алекс! Я ухожу!..

А л е к с *(выходя из спальни)*. Я — тоже. Мне сегодня больше нечего делать.

С и л ь в и я. Хотите, я вас подвезу?

АЛЕКС. Спасибо, но мне надо еще переодеться.

С и л ь в и я. Тогда в другой раз. Чао, профессор!.. *(Уходит)*.

Алекс берет свою сумку с вещами, поднимается по лестнице на антресоли и заходит в ванную комнату. Через некоторое время в холле появляется Э л е н.

Э л е н. Неужели ушел?.. *(Идет в спальню и сразу же возвращается. Садится в кресло, снимает телефонную трубку, набирает номер. На антресолях скрипнула дверь. Из ванной вышел Алекс. Он уже успел переодеться)*. Вы?!.. А я вам звоню.

А л е к с *(спускаясь с лестницы)*. Мы же договорились утром выбрать колер! Простой — за ваш счет.

Э л е н. Конечно, конечно.

А л е к с. Но раз вы уже пришли, давайте выберем сейчас — вдруг вас и завтра не будет. Вот в этом ведре — голубой поярче, в этом — более спокойный. А здесь — белый.

Э л е н. Почему вы не спрашиваете, где я была?

А л е к с. Может, еще спросить — с кем?.. Меня это абсолютно не интересует.

Э л е н. Напрасно... Я была в аэропорту. Вам привет от вашего внука.

А л е к с. Вы видели его?

Э л е н. И дочку, и зятя. Я поехала, чтобы их проводить и успокоить. Хотя мне это не совсем удалось. Почему вы не подходили к телефону? Они последними вошли в самолет.

А л е к с. Простите, что доставил вам столько хлопот, миссис Старк, но я бы попросил вас в дальнейшем не соучаствовать в делах, касающихся меня и моей семьи.

Э л е н. Вы сделали большие успехи в английском, мистер Алекс. Боюсь, что у меня так не получится... Простите, что я позволила себе соучаствовать в делах, касающихся исключительно вас и вашей семьи. И чтобы закончить неприятный для вас инцидент, разрешите вручить вам письмо вашей дочери, переданное мне в аэропорту в присутствии вашего зятя и внука. *(Передает письмо)*. Убедительно просили не рвать. Тут что-то важное.

А л е к с *(пробежав письмо)*. Ничего не понимаю. Что это за благотворительный фонд? За что он будет платить мне десять тысяч в год? Где вы его откопали?

Э л е н. Вот это уже нормальный разговорный язык.

А л е к с. Вы не ответили на мой вопрос.

Э л е н. Сейчас... Помните, вы говорили, что в Америке множество всяких обществ? А кроме них — бессчетное количество разных комитетов и фондов. В одном из них я являюсь председателем. Он помогает родителям, чьи дети не могут обеспечить их старость. По поручению правления я вручила вашей дочери десять тысяч долларов. Это на год. Так что можете ехать к ним хоть завтра.

А л е к с. А миссис Гибсон тоже член этого фонда? Или, может быть, она совершенно случайно заглянула в банк, когда вы снимали эту сумму со своего счета?

Э л е н. Она была здесь?

А л е к с. Послушайте, миссис Старк... Деньги делают людей независимыми от всяких обязанностей и обязательств: мне от тебя ничего не нужно — значит, и ты от меня ничего не требуешь... Ваши дети, как и вы, ни в чем не нуждаются. Но есть же, черт возьми, налог, не утвержденный ни вашим конгрессом, ни нашим Верховным Советом. И наши дети должны платить его нам до самой смерти. Не такой уж он и боль-

шой: позвонить, поздравить, сказать: «Приезжай!» Не потому что так положено, а потому что, действительно, хочется видеть, слышать, смотреть в глаза тех, кто дал им самое большое богатство — жизнь. Спасибо Америке, что платит нам, иммигрантам, неизвестно за что. «Чего им еще надо? — думает она. — Чего они не улыбаются? Ведь все о'кей!» Но вы-то знаете, что нам надо... Я не возьму ваших денег. Благотворительность может накормить человека, одеть, но счастливым сделать не может. А деньги я и сам еще могу заработать. Давайте только вот решим, наконец, каким цветом мне красить потолок в вашем холле. Чтoб завтра я работал без простоев.

Э л е н. Хорошо. (*Решительно подходит к ведрам*). Вот этот!

А л е к с. О'кей!

Э л е н. Нет, пожалуй, лучше этот.

А л е к с. Так какой же?

Э л е н. Дайте подумать... Хорошо бы с кем-нибудь посоветоваться: может быть, это последний ремонт в моей жизни.

А л е к с. Глупости! У вас их еще будет три — не меньше.

Э л е н. Если это комплимент, то спасибо.

В передней раздается звонок.

Извините!

Уходит и возвращается с мистером Форстом.

М а й к л. Добрый день, господин Павлофф! Я не помешал вашей работе?

А л е к с. Напротив, вы как нельзя кстати. У миссис Старк — проблемы. Ей нужен совет. Очевидно, именно ваш. А я пока помою кисть, чтоб не засохла до завтра. Сегодня она мне больше не понадобится.

Взяв маленькое ведерко с кистью, уходит. Судья провожает его ревнивым взглядом.

М а й к л. Я что-то не понял — о каких проблемах говорил тут мистер Алекс?

Э л е н. Не ломайте голову. Мы их решим сами. Куда вы так внезапно исчезли вчера и еще более неожиданно появились сегодня? Или в Америке, как в России, можно приходить теперь, когда хочешь, безо всякого предупреждения?

М а й к л. Отвечу по порядку... Когда вчера я узнал, что вы предпочли меня какому-то маляру-иммигранту, я решил никогда больше не переступать порог вашего дома.

Э л е н. Что же вас заставило его переступить?

М а й к л. То, что теперь мы можем соперничать с ним на равных.

Э л е н. Вы что — решили переквалифицироваться в маляры?

М а й к л. Наверно, мне это было бы сделать легче, чем стать врачом.

Э л е н. Я вас не понимаю.

М а й к л. Я навел справки в иммиграционном управлении. По компьютерным данным господин Алекс Павлофф — профессор медицины, хирург... Вы так смотрите на меня, как будто я открыл Америку. Неужели он вам не говорил?

Э л е н. Нет... Об этом мне вчера сказала госпожа Гуревич из русского магазина. Вот это действительно компьютер! Думаю, что теперь я знаю о мистере Алексе гораздо больше, чем он сам. Но какое все это имеет значение?

Из-под лестницы появилась

С и л ь в и я.

С и л ь в и я. Вот вы где, господин Форст! А я, как дура, ждала вас на корте. Преступника тянет на место преступления, а судью — к очаровательной миссис Старк!.. Я забыла отдать тебе ключ, дорогая. (*Отдает Элен ключ*). Ну как — выяснили отношения?

М а й к л. Оказывается, Элен знала, что он профессор, раньше вас.

С и л ь в и я. Главное, чтоб в этом убедились вы. А ты хороша, подружка! Ни словом, ни намеком... Неужели боялась, что я его отоблю?.. Да я со своим профессором не знаю, что делать.

Входит А л е к с.

А л е к с. О сколько советчиков! Ну, как — выбрали?

С и л ь в и я. Я — да! Идемте, Майкл. Счастливо оставаться! И прошу вас, мистер Алекс, не принимайте всерьез то, что я вам вчера тут наговорила. Когда у твоей подруги двое, а у тебя никого, мы перестаем контролировать свои поступки.

М а й к л. Вы что, и мне дали ложные показания?

С и л ь в и я. Простите, господин судья. Надеюсь, чистосердечное признание смягчит мою вину. Я постараюсь искупить ее во Флориде.

М а й к л. Не поеду я ни в какую Флориду!

С и л ь в и я. Значит, на Багамах. *(Взяв судью под руку, уводит его).*

А л е к с. Ну, так каким цветом будем красить?

Э л е н. А вы бы какой посоветовали, господин профессор?

А л е к с. Я вижу, ваша подруга наговорила и вам Бог знает что. Я — маляр! У нас в России доверяют только бумагам, а здесь всему верят на слово. Я думал, что профессору будут платить пособие больше, чем рабочему. Так что я — простой маляр.

Э л е н. Вот и прекрасно! А то бы вы подумали, что меня интересуют ваши титулы, звания и прочая бутафория.

А л е к с. А что вас интересует?

Э л е н. Потолок. Так в какой же цвет мы будем его красить?

А л е к с. Давайте в белый, как розы.

Э л е н. Смотрите — распускаются. Скорей загадывайте желание.

А л е к с. Загадал.

Э л е н. И я тоже.

А л е к с. Мне почему-то кажется, что наши желания совпадают.

Целует Элен руку. Звучит мелодия танго.

КОНЕЦ

1996 г.



Вольфганг КАЗАК

Кёльн

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ РЕЧЬ В СВЯЗИ С ПРИСВОЕНИЕМ ТИТУЛА ПОЧЁТНОГО ДОКТОРА ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО В МОСКВЕ

ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
ПРОФЕССОРА ДОКТОРА ВОЛЬФГАНГА КАЗАКА,
ПОЖЕЛАВШЕГО НАШЕМУ ЖУРНАЛУ
ХОРОШИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ЧИТАТЕЛЕЙ

Глубокоуважаемый господин ректор,
глубокоуважаемые коллеги,
дамы и господа!

Присуждение мне титула Почетного доктора литературы в России, в Москве, в этом институте — центре, объединяющем литературу и науку, — для меня особая честь и радость. Основанием для присуждения титула послужил в списке моих публикаций, в первую очередь, «Лексикон русской литературы XX века», который нынешней осенью почти одновременно в этом 1996 году выходит на русском, польском и болгарском языках. Эта книга тесно связана с моей «Историей русской литературы 1945 — 1988» (изданной, как и «Лексикон», по-немецки и по-английски), и с новым справочником о 68 русских писателях в издательстве Реклам-ферлаг, Штутгарт (Russische Autoren in Einzelporträts). Это область, где чаще всего соприкасаются работа русских литературоведов и моя работа, и потому мне хотелось бы вместе со словами благодарности сказать и несколько слов о новых русских энциклопедиях и справочниках по русской литературе. В последние месяцы я изучал почти 200 таких русских, немецких, английских, польских, чешских и др. изданий, подготавливая обзорную книгу, которая включит и несколько объединяющих их реестров. Это — попытка содействовать изучению русской литературы. Из этой текущей работы взяты мои примеры.¹

Но прежде коротко скажу о том, что особенно меня волнует в день торжественной церемонии в Литературном институте им. Горького в Москве.

Сегодня я нахожусь в вашей стране, в вашем городе Москве и принимаю из рук вашего ректора мантию и головной убор Почётного доктора. Это стало возможным только благодаря огромным переменам, произошедшим здесь, а до 1985 года, до перестройки, такого нельзя было и представить. Я, немецкий профессор-славист, целых 17 лет не получал въезд-

ной визы, так как придерживался того же взгляда на русскую литературу, что и сегодня: подлинная литература требует свободы писателя, она не может быть подчинена политике, она должна выражать личные воззрения автора и историческую истину, а не мнение одной партии. Она должна зависеть от этической цензуры, то есть от совести автора, а не от политической цензуры государственных органов, от какого-то главлита. Русскую литературу двадцатого века учёные, редакторы газет, журналов и издательств должны осознавать, интерпретировать и распространять как **единую**, и разделения на признанную советским режимом «советскую литературу» и отвергаемую им зарубежную литературу или подпольную быть не может. Место жительства и политические взгляды писателя — это важные для его творчества факторы, но они ничуть не важнее, чем возраст, происхождение, пол, принадлежность к какой-либо группе и религиозные убеждения. Поэтому для меня эмигранты Солженицын, Газданов и Мережковский были такими же писателями, как Астафьев, Распутин или Трифонов, поэтому я писал как о Гумилёве, Хармсе и Сатуновском или о Бабеле, Клычкове и Мандельштаме, так и о Фадееве, Шолохове или Долматовском. И о нынешнем ректоре Литературного института Сергее Есине. Я не только вводил имена всех названных и, соответственно, других писателей в мои работы (особенно с 1972 года в «Лексикон»), но я высказывал свою оценку произведения и автора: литературную, политическую, иногда затрагивающую и человеческую позицию. О последствиях этого я уже упомянул: я был персона нон-грата, мне не выдавали въездную визу в СССР, и, соответственно, обо мне негативно писала советская пресса.

Сегодня мой подход к анализу русской литературы стал обычным и здесь, и на Западе. Русская литература, как и до 1917 года, снова стала единой. Здесь, в России, то, что было запрещено и издано за границей, пока не известно; многое ещё следует разыскать, опубликовать и исследовать, но теперь это вопрос активности исследователей, вопрос времени и денег. При этом уже удалось достигнуть многого, и главное здесь вот что: больше нет централизованных политических ограничений. Ваш институт начал публиковать работы по литературоведению таких значительных эмигрантов, как Георгий Адамович, Пётр Бицилли, Владимир Вейдле, Владислав Ходасевич и др. Русская версия новейшего издания скоро появится в продаже. Опыт и воззрения эмигрантов и западных учёных учитываются здесь в исследованиях и дискуссиях, каждый может высказать своё мнение в любом демократическом по замыслу учёном собрании.

Повторяю то, что сказал в посольстве Российской Федерации в Бонне (1992 год) по поводу вручения медали А.С.Пушкина (награждение МАПРЯЛ): для меня особенная радость получить официальную награду в этом доме, куда мне вход был запрещён почти два десятилетия. Возможно, и я внёс свой небольшой вклад в «нормальность» сегодняшнего дня. И в «нормальность» занятий русской литературой в этом институте тоже.

Как я уже говорил, для меня особенная честь принимать награду в этой стране — во-первых, в этом городе — во-вторых, в этом доме — в-третьих. Причиной здесь прошлое.

С этой страной моя жизнь связана с 1945 года. В восемнадцать лет я стал её военнопленным, прослужив до того ровно пять дней санитаром близ Берлина. Самара (тогда она называлась Куйбышевом) была центром наших лагерей. 50 лет спустя, в 1995-м, я открывал там конференцию, по-

священную эмигрантской литературе. Так замкнулся круг. В городе Кузнецке под Пензой в 1946 году я лежал около года в лазарете и, чтобы не умереть, учил русский язык. Для спасения жизни это сыграло роль вдвойне: у меня было достаточно еды, и я оказался в поле зрения нашего офицера НКВД. Поскольку я говорил по-русски, он должен был меня допросить и выяснить, в частности, вопрос о возможном нацистском прошлом. Скрывать мне было нечего. Мой отец, писатель Германн Казак, был известен как противник нацистов, и уже в 1933 году он потерял работу. Офицеру НКВД явно понравился юноша, который его не боялся. Он избавил меня от предложения стать агентом и подарил мне свободу. При ближайшей отправке на родину под алфавитным списком вдруг появились ещё четыре фамилии, и одна из них была моя. Уезжая, по его приказу я отправился в определённый вагон — как оказалось, для офицеров. Капитан Гришечкин (так его звали) просто позаботился обо мне: как переводчик я практически не был нужен в пути. Совсем недавно создался контакт с его семьёй, и я мог выразить ей благодарность, которую испытывал к Гришечкину всю жизнь (его самого в живых давно уже не было). Кольцо сомкнулось. А в середине пролегла моя жизнь, посвящённая русской литературе и нашим культурным взаимоотношениям.

С Москвой моя жизнь связана с 1955 года. Тогда в Москву прибыла делегация во главе с Федеральным канцлером Аденауэром, чтобы договориться об установлении дипломатических отношений между нашими государствами и о возвращении немецких военнопленных на родину. Я состоял в переводчиках. Когда в феврале 1956 года открылось наше посольство, я стал его первым переводчиком и прожил в этом городе четыре года. С сегодняшней точки зрения это было по-человечески ужасно. Любой контакт с русскими был для них опасен. Мы вынуждены были жить в полной изоляции. Но зато работа давала много интересного мне, свидетелю встреч с Хрущёвым, Булганиным, Молотовым, Громыко, Семёновым, когда надо было переводить для посла или представителей нашего правительства. После возвращения в Германию мне поручили начать организацию обменов между учёными и студентами наших стран. Каждый год я вёл переговоры в Москве, тогда-то и завязались мои первые контакты с русскими, не имевшими административных постов. (Среди таковых — мой нынешний друг и один из старейших профессоров этого учебного заведения Виктор Розов). Обмен шёл только централизованно, через министерства или Академию наук. А сегодня я снова занят обменом, который около десяти лет назад предложил и организовал: обменом между Кёльнским университетом и вашим институтом, то есть между двумя вузами. И это — ещё один замкнувшийся круг.

В университете я начал работать в 1969 году, вернулся к русской литературе — моей специальности и предмету моей докторской диссертации (Dr. phil.) о Гоголе. Вторую докторскую диссертацию (Habilitation) писал о Паустовском, но как только в 1969 году я стал профессором в Кёльне, двери в Москву передо мною закрылись. Работая в области современной русской литературы, я не мог установить контактов ни с писателями в СССР, ни с учёными, не мог работать в московских библиотеках. Так и были созданы первое издание 1976 года и оба издания 1988 года (английское в Нью-Йорке и русское, вышедшее в лондонском эмигрантском издательстве «Overseas Ltd.»).

А потом в 1986 году я получил один из больших подарков моей жизни: дверь в Москву открылась, и я смог лично разыскать многих, всех важных

для меня писателей, прежде знакомых мне только по книгам и биографиям. Ведь прежде я мог пригласить для выступления в моём институте в Кёльне лишь очень немногих. Круг замкнулся.

Но и до того были среди русских писателей такие, которых я знал лично: эмигранты Хазанов, Войнович, Коржавин, Максимов, Некрасов, Синявский, Солженицын, Терновский, — это самые значительные из тех, с кем я встретился на Западе. При этом в 1972 году, в начале работы над «Лексиконом», их включение в словник для меня было вовсе не непреложным. Моё убеждение, что русскую литературу XX века нужно рассматривать как единство и ввести в книгу писателей-эмигрантов, сложилось только во время работы. Просьба издательства была такова: подготовить словарь советской литературы. При этом имелась в виду «русская советская литература». Дело в том, что все три волны русской эмиграции на Западе так же, как и в Советском Союзе, были в принципе вынесены за скобки. В университетах из всей современной русской литературы изучали только советскую. В большинстве справочников и историй литературы, написанных в США, Англии, Франции и Германии, эмигранты не учитывались так же, как и в советских изданиях. Но только причиной того, что литература русского зарубежья оставалась почти без внимания, были эмигранты сами. Глеб Струве и Марк Слоним, два самых серьёзных автора, написали «Истории советской литературы». В начале 20-х годов они с интересом следили за тем, как будет развиваться дальше литературная жизнь России после того, как её покинули почти все значительные писатели. Они радовались появлению произведений Пильняка, Бабеля, Каверина, Зощенко и писали об этом. В новых изданиях своих книг они только расширяли круг имён. Отчасти они и не верили, что литературе эмиграции суждена долгая жизнь. Отчасти дело в том, что за границей в то время и не появлялись пока крупные произведения. Во всяком случае, разрыв начался не только со стороны СССР. Глеб Струве в 1956 году выпустил свою книгу «Русская литература в изгнании», но в западной русистике было уже слишком поздно менять общие тенденции. Эту книгу Струве не переводили, а его книга о советской литературе вышла на многих языках. С 1956 года к этому добавилось и стремление Запада приспособиться к могущественному Советскому Союзу, и многие профессора-слависты не хотели рисковать своей визой. В интерпретации советской литературы Запад и Восток различались, списки авторов, интерпретация и объём посвящённого им текста тоже оказывались различными, но, как правило, зависимость была очень велика. Положительным исключением являются истории литературы, написанные Ло Гатто и Йоханнесом фон Гюнтером: они рассматривают русскую литературу как единство. Но их книги появились в середине 50-х годов. В принципе даже прибытие эмигрантов третьей волны почти ничего не изменило в общей ситуации: эмиграцию по-прежнему не принимали во внимание.

А для меня всё прояснилось в 1973 году благодаря писателям, оказавшимся вдруг на Западе. Вот передо мной возник Наум Коржавин. Рукопись словарной статьи о нём как о «советском писателе» уже готова, а он теперь эмигрант. Относится ли он к моему «Лексикону советской литературы»? Должно было пройти несколько месяцев, должен был состояться разговор с Солженицыным, прежде чем я понял, что на Западе нельзя составлять словарь «советской литературы». В конце концов, не зависел же я от советской цензуры. И

тогда я изменил концепцию и название. Последними я включил в мой уже почти готовый «Лексикон» статьи о первой, второй и третьей эмиграции. Этой теме в последующих изданиях я уделял особое внимание. И вот уже двадцать лет, как все мои публикации проходят под общим знаком: создать единое представление о русской литературе, о русской литературе как единстве. Теперь эта позиция принята и в вашей стране. Круг замкнулся.

Тогда меня здесь за это бранили. Теперь я получаю за это Почётного доктора. Поскольку присуждение этого титула связано не только с «Лексиконом», мне хотелось бы упомянуть, что о русской литературной эмиграции недавно я опубликовал книгу «Die russische Schriftsteller-Emigration im 20. Jahrhundert» (1996).

В ней объединены 106 статей и рецензий, написанные мною за последние 25 лет. Среди них также и статья на основе анкет эмигрантов, опубликованная в 1994 году в журнале «Знамя». Этой книгой я пошёл наперекор собственному принципу анализа единой русской литературы так же, как это сделано в некоторых новейших русских справочниках (о них я ещё скажу). Необходимость наверстать упущенное, дать информацию об этой — оставленной без внимания — части русской литературы велика и на Востоке, и на Западе. Не забудем в связи с этим одного: эмиграция не может окончиться. Исследователи и читатели могут учесть литературу эмиграции, но сами эмигранты вырваны из русской почвы, и лишь немногие из них снова понемногу пускают корни на своей бывшей родине, но ведь и их дети считают своим домом Запад. Иной жизненный опыт вырвал их из процесса естественного развития русского народа — со всем страданием, со всей трагичностью. Русская литература снова едина, но писатели — нет.

Как же отражена сегодняшняя ситуация в новых русских словарях и справочниках по литературе?

Пётр Алексеевич Николаев с 1989 года выпустил почти в одно и то же время два библиографических справочника, посвящённых русским писателям XIX — начала XX века.² Двухтомник вышел в 1990 году в издательстве «Просвещение». Его статьи в форме эссе (в среднем занимающие три страницы) дают сведения примерно о 300 русских писателях. С 1989 по 1994 год в издательстве «Большая Российская Энциклопедия» вышли первые три тома словаря, поначалу рассчитанного на четыре тома. В словник вошли около 3500 писателей. Этот словарь выходит под грифом Института русской литературы Российской Академии наук (Пушкинского дома).

Оба справочника посвящены периоду от начала XIX века до конца предсоветского времени. В них вошли имена прозаиков, драматургов и поэтов, а также некоторых важнейших критиков. Серьёзный недостаток состоит в том, что творчество авторов, работавших и после 1917 года, ограничено в словаре этим пределом. Потому многие статьи — например, об О.Мандельштаме, Б.Пастернаке или И.Шмелёве — несоразмерны и фрагментарны. Впрочем, редакторы, начинавшие работу в советское время, предпочли 1917 год как временную границу ещё и потому, что изображение последующей эпохи по политическим причинам должно было бы стать существенно более искажённым. В энциклопедическом словаре преимущества последнего переворота использованы: в томах, вышедших после 1992 года, существенно больше внимания уделяется эпохе после 1917 года. Теперь может быть увеличено и количество имён и фактов. Ведь число имён, что раньше были под запретом, ужасает: в редакции мне сказали, что их будет больше на одну треть.

Справочник «Просвещения» в двух томах рассчитан на учителей и широкого читателя. Вводя в словник имена писателей, не вошедших в канон ведущих авторов, Николаев придавал особое значение тому, чтобы представить по возможности многие литературные школы и идеологические направления. В статьях часто определяется значимость писателя, даются оценки. Библиографии к статьям относительно коротки и учитывают только русские критические работы.

Задуманный как четырёхтомник, а с 1996 года рассчитанный на шесть томов энциклопедический словарь «Русские писатели 1800–1917», где число персоналий выше в 10 раз, — кладёз редких имён. О каждом отдельном авторе здесь даётся существенно более подробная информация. Точные библиографические данные о первых публикациях даны в тексте, часто приводятся высказывания современников, библиографии в конце статей объёмны и учитывают также западные труды, указывают местонахождение архивных материалов и дают отсылки к важнейшим справочникам, где можно найти и другую информацию. Словарь тщательно выдерживает объективность подхода: авторские оценки прочитываются только в объёме статей или в подборке цитат.

Действительно полезны данные здесь приложения. В первом томе это «Чины и государственная служба в России в XIX — начале XX века», во втором — информация о сословиях, жаловании и пенсионном обеспечении, а также об учреждениях в царское время.

Выдающимся трудом является выпускаемая сейчас Институтом научной информации по общественным наукам Российской Академии наук под руководством Александра Николаевича Николюкина «Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940)» в трёх томах. Первый том вышел в 1994–1996 годах; он даёт подробные справки о 175 русских писателях первой эмиграции.³ Примерно две трети из них — прозаики и поэты, 10 процентов — философы (в основном, религиозные философы), а 15 процентов — литературоведы, критики и журналисты. При общем объёме чуть более 800 страниц на каждую статью приходится от 2 до 3 страниц. Характеристики писателей, представленных в КЛЭ, здесь значительно более полноценны, а часто и выправлены. Западные труды и исследования, представленные достаточно полно, учтены вовсе не только по западным справочникам. Достойно сожаления лишь то, что по советской традиции географические названия вне пределов России (особенно это важно при указании места смерти) даны только кириллицей. Но названия произведений, изданных не по-русски, со всей тщательностью приведены на языке оригинала. Политическая объективность здесь налицо: в этом издании, в отличие от всех советских и многих западных работ, не замалчиваются уничтожающие суждения многих эмигрантов о большевистской системе или фальсификации в советских публикациях. Увы, тираж издания всего 600 экземпляров. Этот труд заслуживает большего распространения. В 1997 году этот том был издан в расширенной и репрезентативной форме издательством «Большая Российская Энциклопедия».

Во втором томе содержатся статьи, посвящённые крупным периодическим изданиям первой эмиграции, альманахам, литературным центрам и издательствам (в первой части, вышедшей в 1996 году, до ИМКА-Пресс)⁴. Подобной насыщенности информацией не было ещё ни на Западе, ни в России: это подлинная сокровищница для исследователя. Некоторые статьи написаны западными учёными.

Единственный недостаток энциклопедии в том, что она снова поддерживает идею о разделении русской литературы. Но, действительно, белые пятна слишком обширны. И если смотреть вперёд, то это издание можно назвать исключительно важным исследовательским достижением для «интеграции» эмигрантов в историю русской литературы.

Антологии тоже могут быть источниками информации о библиографических данных, хотя обычно ход бывает обратным: из словаря в антологию. Валентина Синкевич — поэтесса, оказавшаяся в США вместе со второй эмиграцией и имеющая большие заслуги перед эмигрантской поэзией благодаря ежегодному альманаху «Встречи» (издаётся с 1977), — дала в специальном выпуске поэтической антологии второй эмиграции под названием «Берега» (1992) библиографическое приложение на 25 страницах.⁵ Лишь немногие имена встречаются в более ранних справочниках. Но эта антология вышла в США, и, увы, немногие в России смогут ею пользоваться. Её следовало бы перепечатать. Лучше обстоит дело с антологией поэзии первой и второй эмиграции, составленной Вадимом Крейдом в 1995 году в США; она издана и в Москве.⁶ Крейд (поэт, покинувший в 1973 году Ленинград, ныне профессор университета в Айове и недавно назначенный редактор «Нового журнала») собрал в этой книге стихи 200 эмигрантов, причём три четверти из них не входят в список известных авторов. Собранная в приложении информация благодаря объёму в 75 страниц носит характер библиографического справочника. Здесь, правда, не всегда даётся однородная справочная информация (что принято в словарях), не всегда указаны новейшие издания текстов, но на примерах выбранных событий жизни сообщается самое существенное об отдельных поэтах и о судьбе двух поколений.

Именно в последние годы стоило бы в трудах о русской литературе в целом и в работах об отдельных авторах использовать не только литературные, но и философские справочные издания. На это есть две причины: во-первых, многие из крупных русских писателей затрагивают в своём творчестве духовно-этические вопросы; во-вторых, философия при советском режиме была ориентирована ещё более односторонне, чем литература, ещё более искажена, так что до начала 90-х годов этот источник был непродуктивен. О том, сколь велика потребность наверстать упущенное, свидетельствует тот факт, что в 1995 году в Москве были изданы пять — ныне далёких от марксизма — философских справочников.⁷ Первым среди них следует назвать словарь, подготовленный Михаилом Александровичем Маслиным, заведующим кафедрой истории русской философии Московского университета. Для литературоведческих исследований из-за иного подхода важны статьи об учёных, работавших в этой области (среди них, например, Н.Арсеньев, В.Белинский, А.Бем, П.Бицилли, В.Вейдле, А.Григорьев, К.Мочульский, Ф.Степун, Д.Чижевский), причём важны не меньше, чем статьи о многих писателях (А.Белый, А.Блок, Ф.Достоевский, Н.Гоголь, В.Жуковский, Вяч.Иванов, А.Кантемир, Д.Мережковский, А.Радищев, В.Розанов, В.Соловьёв, Л.Толстой и др.).

Конец единовластия Коммунистической партии СССР обусловил возможность и необходимость издания новых школьных учебников. Русская литература XX века представлена в 1991 году двухтомником для 11 класса средней школы, подготовленным Еленой Петровной Прониной (новое дополненное издание — 1994).⁸ Здесь не просто дана выправленная картина русской литературы, но преодолевается прошлое. Самым естественным об-

разом введена литература эмиграции. В книге представлены отдельные писатели, а также рассматриваются тематические и исторические вопросы — например, «Какой он — реализм XX века?» или «Нужна ли сейчас новая «попослушная» одномерная история?». Среди 17 авторов выделяются за счёт количества написанных разделов Л.Смирнова, В.Чапмаев, О.Михайлов и А.Карпов. Слабость этой истории литературы заключена в том, что для сообщения основных сведений о жизни и избранных произведениях конкретного автора не был разработан единый план. В выборе, определении значимости писателя и объёме статьи о нём заметна инерция советского времени, но с другой стороны, главы в объёме 10-20 страниц о таких писателях, как Бабель, Булгаков, Гумилёв, Клюев, Мандельштам, Пастернак или Цветаева, были раньше недопустимы. Сначала можно удивиться тому, что по советской традиции Н.Островскому посвящена отдельная глава на 19 страницах. Но при чтении замысел проясняется: этого рекламного автора социалистического реализма Лев Аннинский характеризует так: «Это ключевая фигура советских лет нашей истории, и в нём разгадка того, что произошло с нами и с Россией» (с.107). Не менее достойным примером прояснившегося взгляда на советское время является разоблачительная характеристика генерального секретаря Союза писателей А.Фадеева (на 18-ти стр.). Очевидно, слишком узким представляется сведение третьей эмиграции к одному автору, А.Солженицыну (на 19-ти стр.). С другой стороны, Олег Михайлов как выдающийся специалист по эмиграции 20-х годов даёт столь представительный отбор имён на 15-ти страницах, а к тому же в определённом объёме вводит вторую эмиграцию, что, по крайней мере, времена более ранние представлены в соразмерной панораме. Здесь видны существенные отличия от той (посвящённой тем же двум десятилетиям) части статьи «Русская литература» в КЛЭ, что была написана Михайловым, но под контролем цензора. Итак, важным и положительным в этом учебнике представляется тот факт, что в этом учебнике русская литература представлена по-новому, как единство. Учебник — всего-навсего учебник, но он обогатит и западного исследователя. Отрадно, что русские школьники именно такой узнают литературу советского периода и предшествующих двух десятилетий.

Исследователю остаётся только пожалеть, что даже такие хорошие школьные учебники лишены указателей, а ведь это было бы исключительно важно именно в книге, созданной целым коллективом авторов.

В 1995 году Олег Михайлов опубликовал первую в России книгу о русской литературе в эмиграции.⁹ Ему и было это предложено из-за его заслуг в деле сохранения и — до перестройки — введения этой литературы в общую историю. В предисловии он приветствует тот факт, что «сегодня можно говорить о великой, единой и неделимой русской литературе» XX века (с.3). Его историческое исследование, как и труд Николюкина, призвано закрыть белые пятна в истории литературы. Правда, название не совсем точно: в книге подробно рассматривается только первая волна, вторая — с именами И.Елагина, Д.Кленовского, Н.Моршена и других — представлена только в заключительной главе, а третья вовсе отсутствует. 13 глав из 17-ти посвящены самым крупным писателям. В среднем каждому писателю отведено по 25 страниц, а значительные отклонения (например, 68 страниц о Бунине или по 7 страниц о М.Каратаеве, Б.Поплавском, В.Смоленском) свидетельствует о степени изученности этих авторов. В главах, посвящённых прозаикам или поэтам «старого поколения», содержатся также крат-

кие характеристики или, по крайней мере, упоминания о значительных, но не получивших особого внимания писателях того же периода. В обширной первой главе дан хороший обзор истории и круга проблем первого поколения эмиграции. Автор подчеркивает, что литература русского зарубежья была «проникнута глубоко религиозным мирозерцанием, верная традициям русской классики, несущая в себе память о России и сфокусированная на вечных проблемах бытия», что это качество ей придавало «безусловное духовное единство» (с.99).

Даже эти немногочисленные примеры показывают, насколько обогатились сегодня наши знания о русской литературе и русском литературоведении как таковом. Мне радостно сознавать, что своей жизнью я способствовал этому обогащению, и это подтверждает сегодняшняя награда. Примите мою благодарность. Предстоит сделать ещё много, чтобы закрыть проблемы прошлого и чтобы осознание русской литературы как единства стало привычным. Давайте мы все постараемся принять в этом участие.

¹ Russische Literaturgeschichten und Lexika der russischen Literatur. Die Handbücher des 20. Jahrhunderts. Überblick — Einführung — Wegführer. Konstanz: Universitätsverlag UVK 1997, 278 S.)

² Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2-х тт. Гл. ред. П.А.Николаев. — М., Просвещение, 1990; Русские писатели 1800—1917. Гл. ред. П.А.Николаев. Т. 1, А—Г, т. 2, Г—К, т. 3, К—М. — М., Советская энциклопедия, ст. 2 — Большая российская энциклопедия, 1989, 1992, 1994.

³ Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). Т.1. Писатели русского зарубежья. 1918—1940. Справочник. Гл. ред. А.Н.Николюкин. 3 части. М., ИНИОН РАН 1994—1996, 238 с., 288 с., 321 с.

⁴ Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). Т.2. Периодические издания, альманахи, литературные центры, издательства, часть 1, А—И. Справочник. Гл. ред. А.Н.Николюкин. М., ИНИОН, 1996, 300 с.

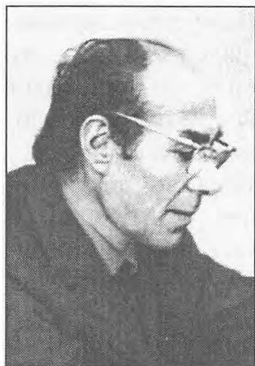
⁵ Берега. Стихи поэтов второй эмиграции. Под ред. Валентины Синкевич. Составление Валентины Синкевич и Владимира Шаталова. Philadelphia, PA, Encounters, 1992, 290 с.

⁶ Вернуться в Россию — стихами. 200 поэтов эмиграции. Антология. Составитель, автор предисловия, комментариев и биографических сведений о поэтах Вадим Крейд. М., Республика, 1995, 668 с.

⁷ Русская философия. Словарь. Гл. ред. М.А.Маслин. М., Республика, 1995, 655 с.; Философы России XIX—XX столетий. Биографии. Идеи. Труды. Гл. ред. П.А.Алексеев. 2-е перераб. и дополн. изд. М., Книга и бизнес, 1995, 70 с.; Сто русских философов. Биографический словарь. Гл. ред. А.Д.Сухов. М., Мирта, 1995, 320 с.; Русская философия. Малый энциклопедический словарь. Под ред. А.И.Алёшина и др. М., Наука, 1995, 624 с.; Школьный философский словарь. Гл. ред. А.Ф.Малышевский. М., Просвещение, 1995, 399 с.

⁸ Русская литература XX века. Очерки, портреты, эссе. Учебное пособие для учащихся 11 класса средней школы в двух частях. Тт. 1—2. Сост. Е.Пронина. М., Просвещение, 1991, 2-е перераб.издание, 1994, 384+384 с.

⁹ Олег Михайлов. Литература русского зарубежья (первой волны). М., Просвещение, 1995, 432 с., с илл.



Лазарь МАРКОВ

Ганновер

КРАСКИ И ОБРАЗЫ

К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЭРИХА КЕСТНЕРА

В феврале 1999 г. исполняется 100 лет со дня рождения Э.Кестнера — одного из интереснейших писателей современной Германии. Прежде всего значительна роль, которую он сыграл в политической и литературной жизни страны в 20-е и 30-е годы, а затем и в послевоенное время. Широкую известность принесли ему острые обличительные произведения против нацистской идеологии, добрые и прекрасные рассказы для детей, а также лирические стихотворения. Сегодня публикуется его цикл «Тринадцать месяцев», который сравнительно мало известен широкому читателю. Природа, особенности ее кругооборота, значение смен года для простых людей — вот тема этого цикла, которую Кестнер рассматривает как высшую ценность. Он пишет о природе так, будто открывает ее заново, и потому она фактически становится художественным открытием. Для каждого месяца он находит свои краски, свои образы, характерные черты и даже интонации, не избегая подчас присущей ему легкой иронии. Апрель, например, отдан веселому празднику Пасхи. Май восторженно сравнивается с мчащейся по стране каретой, в которой находится изящный Моцарт. Ноябрь по традиции является месяцем поминания умерших. Об этом не забыл напомнить Кестнер. И очень трогательно звучит грустное прощание с годом в декабре. Но Кестнер не был бы добрым выдумщиком, если бы ограничил свой цикл двенадцатью месяцами. Ему нужен еще один — тринадцатый, где действуют все времена года и в котором есть все для того, чтобы жизнь людей стала лучше, ярче, интересней. Этот тринадцатый месяц как символ добра и определяет главный смысл всего цикла. При этом следует подчеркнуть, что, несмотря на кажущуюся простоту описания природы, читатель найдет здесь и глубокие размышления о жизни, определенные философские обобщения.

* * *

Э.Кестнер родился в 1899 г. в простой рабочей семье, познал нужду. Тем не менее сумел получить хорошее гуманитарное образование, работал журналистом, приобрел известность как писатель и поэт. Приход к власти Гитлера он рассматривал не только как личную трагедию, но и как трагедию для всей страны, о чем с отчаянием писал в стихотворении «Осень по

всему фронту». В период гитлеровской диктатуры он стал «внутренним эмигрантом», его несколько раз арестовывали, и он чудом уцелел. В 1933 г. его книги вместе с книгами других прогрессивных писателей были брошены в огромный костер, устроенный в Берлине перед оперным театром. Любопытно, что сам Э.Кестнер случайно оказался очевидцем этого события.

В послевоенные годы произведения Э.Кестнера приобрели широкую популярность не только в Германии, но и в других странах, в том числе в России. Он как признанный литературный авторитет был избран Президентом Западногерманского Пен-Центра писателей. Его творческая деятельность отмечена многочисленными наградами, в частности в 1957 г. престижной премией Георг-Бухнера. Умер Э.Кестнер 29 июля 1974 г. в Мюнхене, в городе, который он очень любил.

ЭРИХ КЕСТНЕР ТРИНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

ПЕРЕВОДЫ Л.МАРКОВА

ЯНВАРЬ

Год мал еще. Лежит он в колыбели.
И запах булок в комнате стоит.
Вернулся Дед Мороз к лесной постели.
Год мал еще. Лежит он в колыбели.
Нам медленно стареть с ним предстоит.

Дрожат дрозды и бедствуют вороны.
А у людей полно забот своих.
Тоскуют по снопам поля и склоны.
И мир весь черно-белый однотонный,
Без красок желтых, красных, голубых.

Январь, как крысолов, игру затеял,
Танцуя в окружение детворы.
Сарыч свой круг сжимает все теснее.
И значит дни становятся длиннее,
Но это незаметно до поры.

Из дальних стран нам снег приносят тучи.
Никто не останавливает их.
Сулит приемник на волне трескучей,
Что все изменится и будет лучше
Всем, кроме нас, на берегах земных.

Год мал еще. Лежит он в колыбели,
Хоть сотни тысяч лет назад возник.
Войну иль мир? Что принесут метели?
Год мал еще. Лежит он в колыбели.
И умирает за год. Как за миг.

ФЕВРАЛЬ

Веет стужей, то теплом.
Снег и дождь стучат в окно.
Так проходит день за днем.
Время царствует одно.

Вынимает хлам красивый
Точно в срок из сундука.
Груз забот и стыд фальшивый
Запирает в нем пока.

И парчой и шелком дразнит
Разукрашенным лицом.
А придет оно на праздник,
Время мы не узнаем.

Кружим мы неумоимо
В лабиринте там и здесь.
Разодеты как шуты мы,
Чтобы знали, кто мы есть.

Ордена из бутафорий,
Снег бумажный среди зимы.
И носы всех категорий.
А какого свойства мы?

Бледный, тает как химера,
Словно тень, принц карнавал.
Обернулся утром серым.
Время покидает зал.

День грядущий, день прошедший
В срок в сундук оно кладет.
Достает другие вещи —
Суету и груз забот.

Веет стужей, то теплом.
Снег и дождь стучат в окно.
Так проходит день за днем.
Время царствует одно.

МАРТ

Солнце сидит у печи,
Недомогает.
И сообщения с земли,
Хмурясь, читает.

Штормы, аварии там,
Сорваны крыши.
Неужели нельзя
Жить чуть потише?

Видит в календаре
Знак: «Наступила!»
Тут же глаза-бинокль
Вниз устремило.

Снег уже не похож
На прошлогодний.
Маленькой простыней
Стал он сегодня.

Есть у зимы интерес
К призрачным планам.
Шлет предложения всем
Северным странам.

Ивы и вербы еще
В платье неброском.
Только время цвести
Серым сережкам.

Ветки в волнение своем
Так непреклонны.
«Ласточки здесь!» — твердят
Радиоволны.

Знают подснежники лишь,
Что они значат.
Веки закрой, чтоб понять,
Как они плачут.

АПРЕЛЬ

Стучит по крыше пальцем дождик.
В мелодии пасхальный тон.
Стареет год. И молодеет тоже.
Конфликт. Как гармоничен он.

Луна скрывается смущенной девой.
Ей ширмой служат облака.
Щека у бедной чуть распухла слева.

Смешною кажется слегка.
И в этот раз март попадает в цель.
Он вовремя послал луну в апрель.

И зайцы из сказки
Проснулись в тревоге.
И с кистью и краской
Бегут по дороге.

Готовятся к пасхе
Без всякой опаски
У нас на пороге.

Кладут незаметно свои поздравленья
Яйца из фруктов, орехов, конфет.
А храбрые прячут коробки печенья.
И смотрят при этом без выраженья,
Чтоб не могли раскрыть их секрет.

Потом нужно красить. Успеть до событий
Связать украшенья из шелковых нитей.
Найти немало мест для укрупий:

На шкафу и на комодѣ,
И в часах, и под плитой.

За сараем, в огороде,
Под кроватью, под плитой.

Вот утро возвестил петух.
И зайцев нет, исчез их дух.
В окошке вспыхнул свет неярко.
Крестьянин вышел, посмотрел вокруг.
Холмы покрылись свежей травкой.
Теплыню потянуло вдруг.
«Весна, — сказал он, — ох, и будет жарко».
Не видит он ни чуда, ни подарка,
Ему до удивленья недосуг.

Он разве не заметил кисть и краски?
Не может в голову ему прийти,
Что заяц из пасхальной сказки
Их просто обронил в пути.

Май

Букет цветов рукой сжимая тонкой,
Открыв свой ослепительный наряд,
Легко несется май в карете звонкой
Волшебным Моцартом календаря.

Все расцветет вокруг. Кивнуть лишь нужно.
И май кивнул, рождая звук и цвет.
Приветствуют его синички дружно,
И бабочки за ним порхают вслед.

Поклон берез глубокий, идет от сердца.
Краснеют яблони, сомкнув ряды.
На флейте крошечной играют скерцо
Из солнечной симфонии дрозды.

Летит карета. Шапки снимем все мы.
Уносится карета в дальний край.
В цветах сирени растворилось время.
О если бы всегда был звонкий май!

Печаль и радость, словно сестры сходны.
С ветвей уже слетает белый цвет.
Миг превращает в прошлое сегодня.
Май, как и счастье, стелет грустный след.

Я к вам вернусь, роняет май с поклоном,
Закат не скоро переходит в ночь,
Поклон сирени шлет, холмам зеленым,
Смеется. А карета мчится прочь.

ИЮНЬ

Мелькают дни. Едва стихи
Я начал об июне,
Гляжу шесть месяцев прошли.
А были накануне.

Настало время вишне зреть,
Как кислой, так и сладкой.
На нежных листьях пыль, да пыль,
Вздыхаем мы украдкой.

Из фруктов делают компот,
Из красоты — питание.
А то, что сердцем ты постиг,
Идет в воспоминанье.

Все впереди. Все позади.
В быка подрос теленок.
Из поцелуя точно в срок
Рождается ребенок.

В заботах птицы о птенцах,
Им не до дел певучих.
Так в нашем мире обстоит,
В одном из самых лучших.

Вступает поздно вечер в парк
Со звездами в жилете.
И полыхают светлячки
На праздничном банкете.

Там развлекаются и пьют,
Часам не зная счета.
И в танце вечер с ночью в лад
Проходят круг почета.

Язычник и христианин
Там спорят до рассвета,
Придет ли чудо или нет.
Меж тем приходит лето.

ИЮЛЬ

Пуст город. А поля шумят.
В пылу самозабвенном
Все путешествуют: и стар, и млад.
Сдают природу крестьяне напрокат
Не по дешевым ценам.

Сдается небо и морской причал,
И место, где оркестр играл,
Пейзаж с коровой у сарая.
Спешат машины на привал,
Те, кто нашел и кто не отыскал
Клочок потерянного рая.

Колосья в поле налиты зерном,
Чтоб стать хлебами, булочками вскоре.
Шныряют ящерицы кругом.
Несуг облака дожди за бортом
И стрелы молний, и яростный гром.
А человек — он весь в другом,
Во власти гор и моря.

Мир перед ним — сплошной альбом цветной
С пейзажами и бликами.
Смеется кто-то над суетой людской.
И знает — в срок
Спадет поток,
Время длится больше, чем каникулы.

И знает — несколько шагов
От сказки отделяют.
Цветы и травы всех тонов
Здесь парочку скрывают.
Здесь не взлетают цены, нет долгов.
Лишь жаворонки здесь взлетают.

Спит девушка счастливым сном.
Жужжат довольно пчелы.
Гуляка-парень идет своим путем
Сквозь светотень и через бурелом,
Как прежде, заключительным стихом,
Идет на юг через леса и доли.

АВГУСТ

Косою размахнулся год.
И как крестьянин косит дни безжалостно.
Кто жнет, пусть сеет.
Кто сеет, пусть ждать умеет.
Уходит все, мой друг, все продолжается.

Поник куст розы за забором
В своей одежде хрупкой и невзрачной.
Подсолнечники — те глядят с задором,
Подобно женщинам, которым
В столицу съездить удалось удачно.

Когда им ездить? Днем так сложно.
Всегда блистать им нужно у ограды.
Когда им ездить? Мысленно, возможно,
Когда им липы по ночам тревожно
Приносят сладкий аромат прохлады.

Толкуют в книгах вкривь и вкось,
Что необъятное теперь объятно,
Что время и пространство разошлось,
Что мир прочитан весь насквозь.
Но непонятное все так же непонятно.

Мы слышим тишину и видим зной.
И аромат ромашек различаем.
Повозку в поле взглядом провожаем.
Как мал сегодня мир земной!
Как мир идиллии сейчас бескраен.

Уходит все, день говорит прощай.
И звезды падают куда-то невзначай,
Как слезы тихие, без капли жалости.
Побудь теперь с мечтою, но не забывай!
Уходит всё, мой друг, всё продолжается.

СЕНТЯБРЬ

Пришла пора — проститься надо
С листвою яблонь, с синью слив.
Пылают астры флагом сада
И желтый цвет как лейтмотив.

Пришла пора сказать спасибо
За урожай, за полный сбор.
Под звон бубенчиков лениво
Стада коров идут во двор.

Пришла пора — в одно мгновенье
Растает то, чем жил вчера.

Дымится на плите варенье,
Картошкой пахнет у костра.

Пришла пора прощаньям шумным
За кружкой пива на столе.
Качели рвутся ввысь бездумно.
Но остаются на земле.

Скворцы подались в путь свой дальний,
Хоть бабье лето шлет тепло.
И тих, и звонок миг прощальный,
Как карусели круг начальный.
Ведь то, что было, вновь пришло.

ОКТЯБРЬ

На морозец вышло время.
То, что было, вновь пришло.
Лед в цветущей хризантеме.
На морозец вышло время,
С ним иди, не хмурь чело.

Следуй дальше. Путь нелегок.
Не сворачивай назад.
С временем иди бок о бок
И не будь с ним слишком робок.
Путь ни в чем не виноват.

Следуй дальше. Вытри слезы.
Осень медлить не должна.
Чтоб пришел привет от розы,
Нужно, чтоб прошли морозы
И вернулась вновь весна.

Косогоры и поляны
Цвет рассыпали багряный.
И деревья впереди
Как букеты-великаны.
Ты не жди, быстрее иди.

Листья пляшут безотрадно
Менуэт в последний миг.
Следуй дальше безоглядно
Лишь вперед. Стоять не надо.
Год — закон и проводник.

Как волшебное виденье
Предстает в тумане путь.
Мир стал сном. Он весь — творенье.
Время знает направление.
Зов его — «Умри и будь»!

НОЯБРЬ

Ах, этот месяц трауром одет.
Горланит буря голосом охрипшим.
Леса рыдают по цветам погибшим.
День не меняет темно-серый цвет.
Ноябрь вуалью траура одет.

Идут к воротам кладбища чуть свет
С цветами старики и молодые.

Уже распроданы венки живые.
И хор поет о суете сует.
Ноябрь вуалью траура одет.

Вдвойне мы ценим то, чего уж нет.
Зима на ветки голые присела.
И помолчать сейчас святое дело.
Ведь всем нам предстоит покинуть свет.
Ноябрь вуалью траура одет!

ДЕКАБРЬ

Год одряхлел. Он стал седой.
И взор его погас.
Он день последний знает свой,
Последний знает час.

Над бездной дел и тьмой потерь
Снег поперек и вдоль.
И бел, как в сказке, мир теперь,
И грусть рождает боль.

Всплыл месяц. Снова скрылся он.
Ни зги. Но где-то свет.
Безумен мир, но смысла полн.
Знать это прока нет.

И снова Дед Мороз придет
Сквозь детский сон, метель.
И в каждом доме расцветет
Рождественская ель.

Ты сам был юн, сполна познав,
Как сладко рождество.
Теперь же Дед Морозом став,
Не веришь ты в него.

Удар двенадцатый пробьет.
И вздрогнет над землей:
Свой день последний знает год,
А ты не знаешь свой.

ТРИНАДЦАТЫЙ МЕСЯЦ

Каким бы был он, если б был нам послан?
И как назвать его? Возможно, високосным?
Хотя легко с двенадцатью мы дружим,
Тринадцатый в году, как он нам нужен!

Весна бы расцвела цветами всеми,
Жасмин бы легкий распустил наряд.
И зрели б яблоки в тонах осенних
И виноград.

И ели на заснеженной тропинке
В хорватских шапках отряхнули б сон.
И закупили б ландыши на рынке
Любых времен.

Адам и Ева вместе бы лежали
На ложе из фиалок голубых.
Как будто никогда не изгоняли
Из рая их.

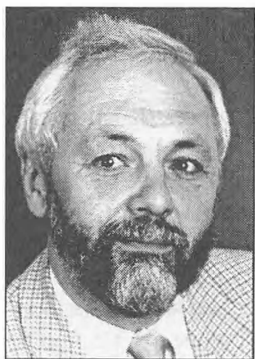
Желтел бы колос в синеве рассвета
И мир земной мечтой бы мог расцвести.
У времени, поверить нужно в это,
Пространство есть.

Как знать нам о твоих волшебных чарах?
Ты под покровом. Лик неясен твой.
Нельзя из дюжины картинок старых
Создать другой.

Создайся сам из звуков небывалых!
И ярче красок радуг кинь нам цвет.
Открой нам клад миров больших и малых.
Ответишь? Нет!

Прижаты плотно месяцы друг к другу.
И, может быть, лишь то, что было встарь.
Терпенье, сердце, жизнь идет по кругу.
На смену декабрю спешит январь.





Владимир БАТШЕВ

Франкфурт-на-Майне

СИНЯВСКИЙ

Для большинства людей моего поколения Андрей Донатович был не просто замечательным писателем и литературоведом. Для нас Синявский был еще и борцом с системой мертвечины.

Он не был первым, кто пересылал свои рукописи на Запад под звонким псевдонимом Абрам Терц. Но он был первым, кто возвел это в систему, в метод борьбы с режимом. И метод оказался действенным, ведь на поиски Абрама Терца ушло десять лет, пока «искусствоведы в штатском» опознали его в известном литературном критике.

Из всех ранних книг Синявского наиболее страшным и смешным является «Любимов». История про то, как скромный мастер по перетягиванию велосипедов Лень Тихомиров с помощью парапсихологических сил производит переворот в уездном городке, не просто сатира.

Я помню свое впечатление от книги в 1965 году. Мне ее дал мой тогдашний кумир Владимир Буковский. Наверно, ему она тоже нравилась, но меня просто зашатало. Я смеялся и плакал одновременно. Мне было 18 лет, и впечатление на меня «Любимов» произвел оглушительное. Ничего подобного я тогда не читал.

В этом небольшом по объему романе показана гниль и гнусность русского народа. Выражаясь высоким стилем, все те пороки России — воровство, предательство, пьянство, патологическая зависть, с которыми писатель Абрам Терц-Андрей Синявский всю жизнь боролся.

Хотя, если бы ему сказали, что он «боролся», то Андрей Донатович рассмеялся бы и заявил в ответ, что он ни с кем не борется и дело писателя не бороться, а писать книги.

И был бы, разумеется, прав.

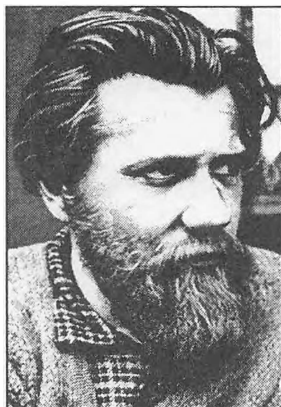
Сейчас модно говорить, что процесс Синявского и Даниэля разбудил тогдашнее общество. Это не так. Процесс не разбудил общество, а показал обществу ЧТО делать.

Процесс стал отправной точкой для тогдашних «правозащитников» и диссидентов.

Другой вопрос, был ли правильным путь, которым они пошли — путь коллективных письменных жалоб на нарушение законов и Конституции.

Меня всегда поражал парадокс: как можно требовать соблюдения законов в стране, где все *беззаконно*, начиная с правительства, пришедшего к власти путем государственного переворота в октябре 1917 года.

А какой эффект произвела «Белая книга по делу Синявского и Даниэля», составленная Александром Гинзбургом и изданная потом «Посевом»? Хотя в ней были только речи обвиняемых, письма в их защиту, выступления советской прессы. Но даже по этим материалам можно судить о нестигаемой позиции обвиняемых,



А.Д. Синявский

которые не только не признали себя виновными, но и смело — в советском бандитском суде! — отстаивали право писателя на свободу творчества.

Синявский прекрасно вел себя в лагере. Да другого и быть не могло: *положение обязывало*. Отсидел, как говорится, *от звонка до звонка*. Но использовал заключение не только для приобретения соответствующего опыта, кстати, другой вопрос — нужен ли писателю тюремный опыт, — но и для замыслов нескольких книг, что реализовал позднее.

Казалось, что внешне Синявский стоял как бы в стороне от демократического движения в стране. И не просто стоял в стороне, а выйдя из лагеря, эмигрировал в Париж, где и прожил четверть века.

Он участвовал в начальных номерах «Континента», он создал вместе с женой Марией Васильевной Розановой хороший и необычный журнал «СИНТАКСИС», читал лекции в Сорбонне и писал новые статьи и книги: «В тени Гоголя», «Спокойной ночи», «Крошка Цорес» и многие другие.

Я не знаю, в чем величие Синявского, в чем его талант сильнее — в его прозе или в литературоведческих работах, или в публицистике, которая написана на высоком литературном уровне. Проза его, непонятая и не принятая большинством современников в первую очередь из-за сложности и богатства языка — *да-да! именно из-за этого парадоксального отличия от скудости языка современной литературы!* — остается недостижимой для всех нынешних постмодернистов.

Если говорить о *литературном ряде*, то американец Джон Глэд занес Андрея Донатовича в *эстеты* где-то между Иосифом Бродским и Сашей Соколовым. Этим исследователь отделяет писателя от фантастической сатиры, которой Синявский принадлежал раньше. (В тот разряд Д.Глэд заносит необычную группу писателей: В.Аксенова, С.Довлатова, В.Войновича, И.Суслова. Что ж, Синявского можно причислить к ним. Сатира и фантастика идут в его книгах рука об руку). Но такой разряд несколько сужает объективное представление о Синявском.

Остались ли у Синявского последователи, так сказать, *литературные ученики*? Кроме Николая Бокова мне никто не приходит на ум, про кого можно было бы сказать: *чувствуется влияние Синявского*. Но на ум не приходит мне, а это вовсе не значит, что не вспомнят другие.

К чему я говорю о школе, учениках, влияниях? А к тому, что существует дурацкое литературное правило: если писатель не оставил своей литературной школы, то значит, это не большой писатель.

По-моему, так рассуждали в прошлом веке. Переносить в наше время это — глупо. Есть, разумеется, *школа Ахматовой* — Бродский, Рейн, Бобышев, Найман — это наиболее явные.

А школы Пастернака нет. Есть Пастернак, а *школы* нет. Ну, не Вознесенский же...

И школы Синявского нет. Ну и что? Значит ли это, что он не оказал влияния на современную литературу? Да еще какое оказал! Еще в 1964 году, не зная, кто скрывается под псевдонимом *Абрам Терц*, заключенный Пожарской тюрьмы в Югославии известный литературовед Михайло Михайлов писал:

— *И вообще не было понятно — как получилось, что я до тех пор ничего не знал о существовании Абрама Терца? До какой степени незначительны в сравнении с Терцем и Дудинцев, и Евтушенко, и Эренбург, и Вознесенский! Терц до такой степени нов, что, читая его, мне казалось, что это писатель какой-то другой, до сих пор неизвестной эпохи, и только обстановка в его прозе говорила о том, что автор — человек нашей эпохи, что он живет в наше время... Ничего узко политического, никакого исключи-*

тельно социального протеста у Терца нет. Мир Терца — это видение не социальное, а метафизическое — видение нашей жуткой эпохи. По отношению к Шолохову Терц стоит примерно в том же соизмерении, как Тургенев к Маяковскому. Шолохов и Терц — люди с разных планет. Но Шолохов — это прошлое, Терц — будущее.

Да, будущее.

Но одновременно с сатириком — если мы уж берем подобную литературную разблюдовку — эстетство Синявского абсолютно органично, присуще всем без исключения произведениям, а в «Крошке Цорес» просто выступает, как самодовлеющая категория. И это — замечательно.

А знаменитая книга «Прогулки с Пушкиным»! Помню, сколько ненависти у русофильских недоумков и черносотенской мрази в России и за ее рубежами вызвала замечательная книга. Какой литературной глухотой надо обладать, чтобы обвинить Синявского в русофобии!

Если некогда советский поэт мог с фальшивым пафосом кричать: я мстил за Пушкина под Перекопом, то антисоветский писатель Синявский мог перефразировать без крика: я мстил за Пушкина в Потье.

Но это и было его борьбой с коммунизмом и советской властью, если снова обратиться к подобному термину. Хотя он и кокетничал: у меня с советской властью расхождения чисто стилистические.

Не слышал я, чтобы за стилистические расхождения давали по 7 лет лагерей.

В эмиграции Синявский долгие годы жил на отшибе. Этому во многом способствовал КГБ, который искусственно раздувал разногласия между Максимовым и Андреем Донатовичем, а вовсе не раздоры между парижским обкомом и горкомом нашей антисоветской партии, как острили тогдашние юмористы.

Его разочарование (если он очаровывался им, в чем у меня сомнения) в режиме Ельцина было искренним и закономерным, как и состояние других немногочисленных умных людей. Но в отличие от прочих он не кричал: «За что боролись!», ибо понимал, что трагедия в очередной раз для России обернулась фарсом.

Не сказал бы я, что ельцинская Россия приняла его с распростертыми объятиями. Да и как она могла вообще-то встретить человека, который написал «Русский национализм»?

Встретив А.Д. и Марию Васильевну в предбаннике кабинета тогдашнего министра печати Михаила Федотова, знакомого мне со времен моей юности и СМОГа, я порадовался: лед тронулся! Министр принимает знаменитого писателя!

Но на том и закончилось. И министр скоро улетел с министерского поста в Париж, и полной реализации в России написанного не получилось. Двухтомник, изданный в 1993 году, пусть и большим тиражом, десяток статей в российской периодике за эти годы — вот и все.

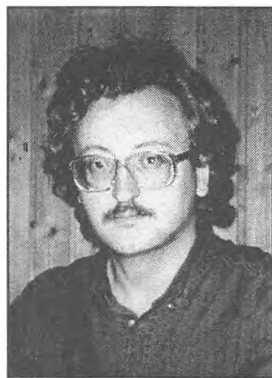
А ведь могла бы власть и извиниться перед ним. Могла бы в качестве компенсации и собрание сочинений выпустить в государственном издательстве! И в школьные программы внести того же «Любимова» или «Суд идет», или «Литературный процесс в России».

Не произошло. Не извинились. Не издали. Не включили.

Ничтожные людишки в писательской газете публиковали пошлые статейки — «Прогулки с Синявским», снисходительно похлопывая классика по плечу и одновременно испытывая оргазм от общения с ним, от этих прогулок.

Не знаю, как ему, а мне было обидно за братьев-писателей, никто из которых не написал о Синявском в российской прессе нормальных слов. При жизни его. После смерти не считается.

Синявский остался большим писателем и пронзительно жалко, что он больше не напишет новых книг.



Эдуард БЕРНГАРД

Санкт-Вендель

Застывший грустный мажор

МИНИ-ПОВЕСТЬ

Это был мой первый вылет в самостоятельную жизнь. Страшно загудел самолёт, поднял меня над Целиноградом и понёс в Москву. Через три с небольшим часа я шёл от неостывшего ещё лайнера к Домодедовскому вокзалу, испытывая лёгкую дрожь от волнения, неизвестности и прохлады. Стоял поздний летний вечер с фиолетовым гулким небом и широкой жёлто-лиловой полосой на западном горизонте, на которой, во весь её размах, низко над землёй вырисовывались мутно-серые пятна неподвижных облаков.

Столица была лишь коротким этапом на пути к моей цели. Мне нужно было перебраться в Быково и провести там ночь, чтобы рано утром лететь дальше. Автобус повёз меня по окружённой густым хмурым лесом дороге к окраине Москвы, неведь сколько тащился, мерно гудя и покачиваясь, прежде чем выехал на кольцевую дорогу. Лес уплыл назад, а теперь гигантские здания, одно за другим, громоздились на ночном горизонте. Светились тысячи окон, рядами, этажами, огни перекрещивались и сливались, дома тянулись строем. Было что-то тревожное и напряжённое в этом монументальном однообразии.

Свернули с кольцевой. Миновали Люберцы. Теперь уже в чёрном пространстве редко встречались огни, маячившие тускло и одиноко в неизвестной чужой дали. Но вот и Быково. Основательно потянувшись, хрустнув сомлевыми суставами, я вылез из «Икаруса». От холода и долгой полудремоты зубы принялись отстукивать мелкую частую дробь. Спать хочется, Боже ты мой! Поёжившись (Брр!), поплёлся к аэровокзалу; в одной руке чемодан, в другой — футляр с кларнетом.

Так и знал — «официально» переночевать негде. Всё, как и полагается, занято. Но, несмотря на поздний час, ходят бабуси, предлагают «ночлежку» за червонец. Пойдём, соколик! Что ж, пойдём, бабуся... Насчёт червонца поясню — дело было ещё в 1986-м...

Утром маленький, прямо игрушечный, «Як» бойко вспорхнул, рассекая подмосковное небо, снабдил меня лёгким головокружением, которое я без труда подавил, и отправился на Север. Север! Слово-то какое! С дет-

ства меня завораживали эти пять букв, и не советские фильмы о героях-покорителях были тому причиной. За словом «Север» стояло что-то огромное, потрясающее, непревзойдённое в своём суровом великолепии. А слово «Юг» вызывало лишь приятные тёплые чувства, лёгкие и разноцветные.

Итак, я летел в Карелию, поступать в Петрозаводский филиал Питерской (ну ладно, Ленинградской) консерватории.

Документы у меня приняли условно, так как я не располагал ни направлением из важных учреждений «культуры», ни хоть какой-нибудь ничтожной рекомендацией из учреждений менее важных. В общежитие меня поселили (или как это высокопарно прозвучало — предоставили помещение), но в моих шансах на поступление усомнились открыто. Покачали головой. Вздохнули. А я вежливо усмехнулся.

Петрозаводск меня восхитил. Чудный город! С возвышенностей — замечательный вид на бухту Варкаус. Онежское озеро! Раньше только мечтал. Я всегда любил большие водоёмы, особенно Чёрное море, куда меня возили в детстве.

По городу ездили троллейбусы с надписями Sampo. Недалеко от общежития, на холме, привлекательно поблёскивал стеклянными стенами кинотеатр «Kalevala». Ба, да я же на земле финского эпоса! Почти на Западе! Я читал написанные латинскими буквами вывески и шептал как зачарованный: «Таваратало... Кахвила... Теоллисууставаройта...» Какой прелестный язык! Прямо сладко выговаривать эти чудесные вереницы букв-леденцов, словно по чьей-то прихоти беспорядочно нанизанных друг на друга. Впервые услышал я столь необычную, причудливую звуковую вязь, будто это был язык дружелюбных, но таинственных гномов...

В первый же день, ещё ни с кем не познакомившись, я спустился в сумерках к озеру, бродил вдоль берега по мокрым скользким круглым камням, собирал красивую разноцветную гальку и прислушивался к мягкому плеску прохладных волн, сдерживавших свою колоссальную силу.

* * *

На экзамене я сыграл неважно. Продудел полузабытое «Концертино» Вебера, и на свой страх и риск исполнил этюд собственного сочинения, но, упаси, я и не вздумал намекать, что это мой этюд. Педагоги, члены жюри, спросили однако, кто же автор этюда.

— Не помню, — растерянно отвечал я. Когда ноты переписывал, забыл автора указать.

Воцарилась угрюмая тишина. Молчание насупившихся педагогов было мне выразительным порицанием.

— Кажется, Михайлов, — соврал я, надеясь спасти положение. Педагоги усмехнулись и зашушукались. «Михайлов... Петров, Харламов... вот вздумал!» — услышал я. «Несерьёзно... чёрт его знает, откуда он его взял!» Они ещё немного пошептались, раздались отдельные сдержанные смешки.

Экзамен был закончен. Когда я покидал аудиторию, на лицах педагогов, искоса посматривавших на меня, выражался изрядный скепсис. «Провалился!» — облегчённо подумал я и, выйдя на улицу, вздохнул полной грудью.

Через два дня я вошёл в кабинет председателя приёмной комиссии. Один вопрос меня волновал, сообщил Гера или нет. Гера — мой наставник в музыкальном училище, который приложил в своё время немалые усилия, чтобы я это училище всё-таки закончил (не само училище, конечно, а учёбу в нём!). Так вот, теперь Гера, желая в очередной раз мне помочь, должен был то ли кому-то позвонить, то ли прислать кому-то письмо насчёт меня...

Доцент Б., невысокий аккуратный человек в годах, встретил меня несравненно приветливее, нежели был расположен во время экзамена. «Наверное, Гера сообщил», — подумал я. Доцент пожал мне руку и с любопытством уставился на меня, слегка прищурившись и даже наклонив голову несколько набок.

— Так вы, оказывается, джазмэн! — сказал он ласково. «Гера сообщил!» — пронеслось молнией. Я пожал плечами и виновато улыбнулся, показывая, что есть, мол, такое дело.

— Ну что же! — удовлетворённо произнёс педагог. — Джазмэны нам нужны (сказал он это таким деловым тоном, что я невольно вообразил сценку для родного советского «производственного» фильма: отдел кадров на заводе; пожилой заслуженный «кадровик» внимательно изучает стоящего перед ним худощавого жилистого рабочего в скромной одежде и с честным лицом и размеренно веско говорит ему:

— Ну что же, литейщики нам нужны! — или, — токаря нам нужны (не токари, нет, токаря!)... шофера нам нужны... слесаря нужны... столяра нужны... и сварщики тоже нужны, все нам нужны... /а тем временем в цеху, за тонкими стенами чуткого отдела кадров, слышен рокот могучих машин, покрываемый криками бойких активисток-ударниц/... *А джазмэны вам нужны?! Нет, нет, джазмэны ни в коем случае!.*

— Джазмэны нам нужны, — констатировал доцент. — Биг Бэнд надо укомплектовать (Биг Бэнд означает джазовый оркестр, а дословно — Большая Банда). Да, кстати, — продолжал он, — по классу кларнета все вакансии, увы, заняты, но раз вы джазмэн (тут он приятно улыбнулся), то предлагаем вам учиться у нас в качестве саксофониста, тем более что это также ваша специальность, не правда ли?

Так я стал студентом.

* * *

Всё вышесказанное — не более чем предисловие, и потому не столь важно. А важно другое: консерватория, в которой я недолго проучился, принесла мне, не говоря о музыке, столько изумительного... Впрочем, об этом и пойдёт речь.

...В сентябре нас, первокурсников, отправили на сельхозработы (какое чудное «совковое» словцо!). Нашу группу, насчитывавшую человек сорок и, как ни странно, делившуюся по половым признакам примерно поровну, привезли в посёлок Кааламо и разместили в длинном унылом бараке, один вид которого вселил в нас довольно героические мысли о необходимости пройти испытания на стойкость и закалиться морально и физически, как и подобает юным энтузиастам.

Совхозное руководство, встречавшее нас поздним вечером, долго и скучно рассказывало нам о наших обязанностях, и только единственный

раз мы навестили уши — это было при словах предостережения: «Будьте бдительны, наш район пограничный!» Оказывается, Кааламо находится всего в восьми километрах от финской границы, и нам предлагалось, в случае обнаружения подозрительных личностей, немедленно сообщать куда следует. Мы вздохнули и закивали согласно, хотя кое-кому из нас, возможно, самому захотелось стать подозрительной личностью, но только по ту сторону границы... Вообще, весть о близости Финляндии была единственной, заинтересовавшей большинство из нас в тот вечер...

Трудовой фронт навалился на нас как-то очень уж быстро. На следующий же день после прибытия мы, словно захваченные неприятелем врасплох, оказались в самом эпицентре сельскохозяйственных батальи. Работы было много, и совхозное начальство, испытывавшее страшную нехватку рабочих рук и времени, обратилось к рукам и времени студентов консерватории. Что касается рук, то нас горячо призвали их не покладать, а насчёт времени объявили, что выходных не будет. «Как не будет?!» — попробовали мы возмутиться, но нас тут же пристыдили: мол, что же это вы, товарищи студенты, совсем не хотите принести пользу Родине...

Итак, нам предстояло в течение пяти недель овладеть, как говорится, новыми профессиями. Мы «пахали как бобики» (хотя первое — бобики не пахут; второе — кто такие бобики?), вкалывали по десять-двенадцать часов в день, без выходных (как и было обещано) и вне всяких санитарных норм: поселковая баня открывалась один раз в неделю, водопровода в бараке не имелось (таскали вёдрами и флягами из «колонки» метров за триста), удобства — снаружи. Конечно, страшного-то ничего не было. Стоял восемьдесят шестой год, а в сорок шестом, к примеру, уж наверняка намного хуже было. Как хорошо, что времена изменились!

Вообще, барак наш был вполне благопристойным и даже отчасти пуританским: девочки наши располагали отдельным помещением, дверь которого могла закрываться на задвижку. Впрочем, девочки задвижкой и не пользовались... да мы к ним и не ломились. А чего ломиться-то?

Барак наш, как и все остальные бараки в этом мире, не был слишком уж меблированным: в столовой находились массивные деревянные столы и скамейки, а в жилых помещениях стояли романтические двухъярусные железные кровати. Простыней и наволочек нам не выдали, зато у нас имелись подушки и одеяла!

Единственным упущением тех, кто в остальном проявлял отеческую заботу о студентах, было отсутствие в бараке газовой, равно как и электрической кухонной плиты, но была печка, огромная солидная печка. Мы дежурили по очереди. Рано утром какой-нибудь скрипач рубил дрова и растапливал печь (вернее было бы сказать, пытался рубить и растапливать). Местные совхозники, бывало, очень смеялись, проходя мимо нашего *коттеджа* и наблюдая, как не слишком мускулистый и, прямо скажем, не так чтобы сильно ловкий музыкантишко, надуваясь и краснея, мужественно размахивал топором и так стар-рательно всаживал его в упрямую чурку, которая откровенно издевалась над своим неопытным мучителем и не желала раскалываться ни в какую, партизанка! Уж смеху-то было, братцы... На следующее утро скрипача сменял трубач, затем певец и так далее, и все они давали сельчанам бесплатный концерт дирижирования топором, забавляя последних до неимоверности. Что и говорить, стыдились мы нашего неумения. Недаром нас совхозное начальство попрекало...

Расправившись с насмешливыми чурками, дежуривший отправлялся на спецмашине за провизией в районный центр или куда-нибудь на сви-ноферму и привозил в наш *кемпинг* дневной рацион продуктов для всех. Из наших девушек две-три взяли на себя обязанности поварих, и их освободили от других работ, но остальные дамы тоже устраивали дежурство по очерёдности: уборка помещений, помощь поварихам и прочее. А тем временем весь наш трудовой оркестр предавался осенней творческой страде, и где-то на необъятных просторах совхозных полей виолончелисты и кларнетисты, дирижёры и вокалисты занимались прямым своим делом — грузили мешки с мокрой картошкой на тракторные тележки. Конечно, а кто же ещё это будет делать, я вас спрашиваю? Ась?

Страна моя! Ты самая весёлая!

Сначала я находился «на картошке», затем, когда объявили о наборе нескольких парней покрепче для разгрузки вагонов, подался без колебаний в эту «бригаду». Вряд ли я принадлежал к наиболее крепким, но вытаскивание картошек из липкой грязи мне настолько опротивело, что я обрадовался появившейся альтернативе.

Наша деятельность «на вагонах» была обширной и трудоёмкой. Следует упомянуть, что Кааламо имел статус зверосовхоза (Боже, как удачно! Я просто влюблён в эти двусмысленные конструкции словесного соцреализма!), и сей статус долженствовал означать, что данный совхоз разводит зверюшек ценных меховых пород: норок, нутрий и прочих симпатичных грызунов. И вот для этих очаровательных мохнатых созданий, предназначенных, увы, для шапок и воротников, регулярно поступали по железной дороге так называемые субпродукты, то есть низкосортное мясо. Вагоны-рефрижераторы загружались этим мясом доверху, но ответственные за погрузку почему-то ничего не стелили (целлофан или ещё что-то; впрочем, где они это возьмут? Дефицит!) между субпродуктами и решетчатыми металлическими полами, а также стенами холодильных установок, вследствие чего наша работа при разгрузке не ограничивалась собственно разгрузкой (думали легко отделаться!), а гораздо больше усилий и времени отнимала яростная маета в студёных вагонах по отбиванию, отковыриванию, отчленению замороженного мяса от стен и особенно решёток, с которыми оно намертво сцепилось. Героическая была работа, но как же и иначе в стране-то героев! Иногда, правда, в процессе труда нас смущала коварная деструктивная мысль: а что, если бы грузившие всё-таки стелили что-нибудь... но мы тут же отбрасывали эти вредные декадентские сомнения, чтобы не гасить столь необходимый нам энтузиазм. Остервенело размахивая ломami, мы думали о другом: «Ну и аппетит же у этих чёртовых нутрий!»

Ещё грандиознее задача возникала перед нами, когда приходили вагоны с ячменем (шестьдесят две тонны; россыпью; ура!). У нас был выбор: либо открывать люки на крыше и постепенно заполнять мешки, что очень долго, либо чуть-чуть приоткрывать боковые дверцы вагона... но та-ды то-ка держись, паря! Какой бы тонкой ни была щель, ячмень струится из неё кошмарным потоком, успевай впятером подставлять мешки и оттаскивать их, подставлять и оттягивать, подставлять и уволакивать... Намекну, пожалуй, что при таком «непрерывном производстве» на сыпучем конвейере до перекуров долго не доходило. Пыль стояла жуткая, мы чихали и мате... то

есть выражались между делом, и носились то с пустыми, то с набитыми зерном мешками как заводные...

Не раз я глядел после работы, усталый и грязный, с Кааламского холма в сизую даль, на размытый горизонт, где начиналась Финляндия, и мне очень хотелось туда удрать, прихватив с собой в качестве сувенира для финнов мой пламенный эмалированный комсомольский значок...

Вот так мы, музыканты с нежными пальчиками, вносили свою лепту в великое дело служения Родине. Родине многие приносят пользу: талантливые физики, которых «призывают» с четвёртого курса университета во внутренние войска, или филологи-лингвисты, прерывающие учёные в институте для прохождения необходимой двухгодичной практики в стройбате. Так для их же пользы! Приходят, понимаешь, какие-то щуплые неуклюжие очкарики, без мозолей и вообще ни к чему не приспособленные, а из них людей, так сказать, делают! Старания офицеров, прапорщиков и сержантов не пропадают даром: глядишь, скоро такой отвлечённый субъект студенческого происхождения и думать забудет о своей... как её бишь... филофизике и прочей ерунде, а займётся настоящим делом, достойным всякого мужика — и лопатой, это самое, станет ловко орудовать, и гвоздь, значит, как следует забьёт, и стрелять, понимаешь, научится, и, это самое, марш-броски сможет выполнять, так сказать, значит. Практика, брат, это тебе не штаны на лекциях протирать! Глядишь, и сам вдруг сержантом станешь, если науку правильно поймёшь! Нале-е-во!..

Вечерами, кое-как помывшись и почистившись в наших сомнительных бытовых условиях, мы вяло беседовали, ужинали каким-то безвкусным месивом (не поварили наши были виноваты, нет, просто нам доставляли откровенную «баланду»), иногда недолго поигрывали в карты, чтобы развеяться, но скоро, утомлённые, заваливались спать, а времени на сон оставалось мало.

Дней через десять с момента приобщения к крестьянской идиллии почти всех нас схватил, пардон, жуткий понос — сказывалось качество провизии и, конечно же, явный недостаток гигиены. Двоих увезли в районную больницу с подозрением на дизентерию. Прошла ещё неделя, и мы, измощённые от непрерывной работы (выходных нам упорно не давали) и гадких условий быта, стали понемногу предъявлять претензии. Нас корили, апеллируя к «чувству долга», но мы уже не обращали внимания на идеологическое давление (а в те времена это ещё кое-что значило!), и роптали всё громче и дружнее. В конце концов, на исходе третьей недели, после бесполезных переговоров с совхозными «тузами», никак не реагиравшими на наши просьбы о выходных, улучшении питания и возможности как следует мыться после грязной и пыльной работы, негодование наше достигло предела, и мы, недолго посоветовавшись, объявили, уж и неловко об этом говорить, забастовку! Самую настоящую! Как знать, быть может, даже первую «перестроечную» забастовку (во всяком случае, мне хочется так думать). Мы были очень горды и довольны собой, решившись на этот с-сурьёзный политический шаг. Совхозное руководство, как мы и ожидали, пришло в панику. Начальство, предвидя революционную ситуацию, поспешно устроило с нами собрание. Пришли директор совхоза (которого мы называли «председатель»), агроном, зоотехник и какой-то завхоз. Начались увещевания и угрозы.

— Ребята, что же это вы, ведь работа стоит! — укоризненно молвил председатель. — Для чего вас сюда привезли, скандалы, что ли, устраивать?.. Вас кормят, поят... э-э... инвентарь выделяют, на работу и обратно грузовик вас возит, а вы... такая безответственность и неблагодарность!

Мы повторили наши требования, и председатель пообещал чаще открывать баню. Но мы заявили, что этого недостаточно. Наш староста Гена солидным баритоном продиктовал условия прекращения бунта:

— Короче, нам, как и всем нормальным людям, нужны выходные, минимум раз в неделю. Далее, что ещё важнее, хотя мне неудобно об этом просить, обеспечьте нас, пожалуйста, сносным питанием, а то мы такую дрянь едим, что, извините, часто от работы отвлекаться приходится... уж все окрестности заср...

— Кормят вас нормально! — отрезал совхозный завхоз (потрясающая должность! Карл у Клары...), мы делаем для вас всё, что можем, и... вообще, у нас, как везде... и вы не особенные. Как всем, так и вам.

— Ага, это значит — жрите что дают?! — возопил валторнист Коля. — Вам-то хорошо дома, а нам что привозят, вы посмотрите! — тут Коля перешёл на горький сарказм и съязвил: — Прошу вас, откушайте с нами!

Завхоз раздражённо махнул рукой, а председатель вдруг отпустил по нашему адресу несколько крепких словечек, не стесняясь присутствия дам. Тут стали мы переругиваться, и вскоре поднялся страшный гвалт. Гневная тирада, которой разразился председатель, потонула в наших возмущённых выкриках. Внезапно к председателю и стоящему рядом с ним завхозу подлетел пианист Юра, выставил вперёд ладони тыльной стороной кверху, показывая багровые ссадины и водяные мозоли, и дрожащим срывающимся голосом загремел:

— Посмотрите на мои руки! Нет, вы посмотрите! Я пианист, понимаете? Пи-а-нист! Что мне теперь делать? Я теперь пальцы месяц не разогну, а мне на сессии Шопена играть...

— Видали, ему пальчиков жалко! — огрызнулся совхозный завхоз. — А картошка, значит, пусть гниёт. А жрать, так первый небось... Надо же соевую иметь! Шопен!.. Понавезли белоручек!

— Да почему я-то должен эту работу выполнять?! — надрывался белоручка Шопен, — неужели больше некому?

Тут вмешался председатель:

— Да будь моя воля, никогда бы я таких, как вы, не стал бы сюда завозить. Я вон... солдат просил побольше, да их почти всех по другим хозяйствам распределили, а нам совсем немного оставили... солдат-то. А солдаты — это не ваш брат. Работают как следует и не возникают!

Упоминание о солдатах навеяло на нас не очень радужные мысли, так как многим ещё предстояло побывать в этой шкуре.

Наш диспут закончился ничем, и совхоз принял экстренные меры: информировал руководство консерватории о мятеже. На следующий же день в охваченный чрезвычайным положением Кааламо прибыл сам ректор консерватории, фамилия которого была, уж не знаю почему, Калаберда. В лёгкой дымке тумана его автомобиль решительно подъехал к мрачной крепости забастовщиков, хлопнули дверцы, проскрипели в бараче тяжёлые шаги ректора, и он, толстый, крупный и лысый, собрал нас в самом просторном помещении — столовой.

Мы долго выслушивали томительные нравоучения, но нас не только пожурили, а и обещали помочь по всем пунктам стачечной программы. В

итоге, однако, ничего не изменилось, если не считать предоставленного нам выходного (помимо нашего самовольного), который оказался единственным за пять недель. Но зато и гульнули мы в этот выходной... Дело в том, что иногда после работы мы собирали в болотистых карельских лесах разную ягоду, в том числе бруснику (некоторые утверждали клюкву, хотя не всё ли равно?), а ягоды эти мы не только ели, но и, чего уж там, заготавливали на бражку. В то время, если помните (да уж конечно помните!), спиртное было строго по талонам (привет Егору Кузьмичу!), а в Кааламо вообще ничего из утешительных напитков не имелось... А выпить иной раз надо, особенно если ты волей обстоятельств оказался музыкальным грузчиком.

...А как идёшь по карельскому лесу, земля под тобой прогибается. Сделаешь шаг, а вокруг на два метра всё плавно так закачается. Заколышется мягко почва и зачавкает под ногой, а кругом столько мха и зарослей, и деревья стоят стеной... Метрах в ста ничего уже не видать, размыло лес молочной завесой, но свет проходит через неё, и влага искрится жемчугом на трепетных листьях и тонких ветвях. Благодать! Нагнёшься к траве, к низкорослому кустарнику, прошуршишь опавшим осенним золотом в поисках чудо-ягоды...

Бражкой мы упивались на славу. Мы забыли о болячках, грязи и безразличии к нам, смеялись над совхозным завхозом, передразнивали его, калямбурили, вспоминали суровый облик ректора, крайне озабоченного создавшимся положением, и нас это веселило больше всего остального. Мы пили и пили, до икоты, до тошноты, резвились от души, как дети, взбодораженно делились друг с другом переполнявшими нас впечатлениями, обнимались, клялись в вечной дружбе... Девочки с грустью взирали на нашу оргию, отказавшись принять участие в ней, но не упрекали, напротив, ещё пытались завязать с нами беседу, а может, даже утешить. Однако мы, и без того взбодрённые изрядными градусами, не обращали на них внимания и бесились вволю. Кто-то орал не своим голосом: «Са-аюз не-ру-уши-мый..!» и усердно пытался спеть соответствующую мелодию, но вместо этого противно гнусавил. «Ты-ы, Вася, ты н-неверно инто- мм —интонируешь», — поправлял его другой. — «А ещё с-студент консерва... ик... ватории!» Кого-то рвало в коридоре у самого выхода — не успел, бедолага, добежать до двери. Мы разбились на маленькие группки и проникновенно ф-философ-фствовали... м-м... о жиз-зни.

Упившись, выскочили почти все из барака, насладиться, так сказать, вечерней негой. Колочая свежесть дохнула на нас, обняла прохладно. Воздух был наполнен лесными ионами, к которым примешивался терпкий запах ферм и полей. В окнах совхозных домов почти уже не было света. Мы подняли головы и замолчали — над нами висела чистая чёрная звёздная прозрачная Вселенная...

* * *

«На вагонах» я обрёл настоящих друзей. Друзей, которые остаются таковыми навсегда. Не хотелось бы повторять известные аксиомы настоящей дружбы, поэтому ограничусь вышесказанным...

Итак, я нашёл замечательных друзей, вернее, мы нашли друг друга. Да, кстати, мы, члены погрузочно-разгрузочной музыкальной бригады, может, и были покрепче, но только в том, что касалось разнообразных выражений, словечек и шуточек, а отнюдь не физически. Однако грузчики вы-

шли из нас, тем не менее, сногшибательные, что наглядно проявлялось вечерами, после работы, когда мы буквально с ног валились.

Самым старшим из нас по возрасту, да и по развитию тоже, был поступивший на композиторское отделение Олег, родом из дагестанского Каспийска, но из русской семьи. Среднего роста, худощавый, слегка сутулый, с прямыми тёмными волосами и выразительными чертами открытого смуглого лица, похожий на утомлённого русского аристократа конца девятнадцатого века (так уж мне показалось!), он относился ко всему иронически, но был исполнен какого-то особенного внутреннего изящества, и это замечалось во всём — даже сарказм его был благородным. Он любил метафоры, парадоксы, каламбуры и сооружал их с невиданной ловкостью. Существующее положение вещей Олег оценивал откровенно критически, приводя нас иногда в некоторое замешательство своими смелыми суждениями о «системе» и «порядках», господствующих в нашей стране. От будущих ветров «перестройки» в то время ощущалось лишь слабенькое, неприметное дуновение. Олег был страстно влюблён в Диккенса, и позже, когда мы приступили к занятиям в консерватории, организовал в общежитии иронический диккенсоновский «Клуб Одиноких Сердец», куда вошли бывшие вагонные грузчики, по совместительству музыканты со стажем.

Следующим парнем «покрепче» оказался Сергей, фэготист из Ровенской области. Близорукий, слегка косящий на один глаз, удивительно интеллигентный, добродушный, неунывающий, он раскрылся впоследствии как одарённый поэт и вообще как недюжинная натура, в которой тонкочувствующий романтик прекрасно уживался с трезвым практиком. Он хорошо знал свою цель, шёл к ней упорно и рассудительно, но мог увлечься до самозабвения какими угодно идеями, гипотезами или даже азартными играми, к которым скоро терял интерес, начинал хандрить и, разочарованный в себе, погружался в меланхолию. Однако, что отличало его от многих других, он всегда умудрялся вовремя выходить из созерцательного состояния и приступать к делу. Неудивительно, что Сергей учился лучше, чем кто-либо из нашего «Клуба». В наших традиционных вечерних клубных дискуссиях он с удовольствием принимал участие, но высказывался реже и вёл себя сдержаннее, предпочитая внимательно выслушивать своих говорливых, эмоциональных друзей. Естественно, при таких обстоятельствах именно на Серёже «висело» наше маленькое совместное «хозяйство»: он не только охотнее, но и лучше нас готовил нехитрый студенческий ужин, закупал продукты для всех (разумеется, из общей кассы), чаще других приводил в порядок комнату, и при всём этом аккуратно успевал подготовиться по всем предметам, включая английский язык и не говоря уже о фэготе...

Самым «крепким» из всей бригады являлся Женя из Вологды, который не очень удался ростом и был совсем не широк в плечах, но попал в нашу компанию грузчиков исключительно благодаря роднящему всех нас духу. Женя играл на трубе, и поступил в консерваторию как трубач, но это всё чепуха по сравнению с тем, что он выделял на фортепиано. Он исполнял джаз, вернее, упивался джазом, наслаждался им — это была его подлинная стихия, часть его самого... До сих пор подозреваю, что в царстве джаза ему уготован был трон, но, увы, этот подающий надежды принц, вероятно, проспал коронацию или забыл дорогу во дворец... Вся причина заключалась в неискоренимом Женькином шалопайстве. Он был «ай, да

чего уж там!», махал небрежно рукой, пил всякую дрянь, не брезгуя и одеколоном, рассказывал разные байки, вёл себя по-детски, даже где-то нарочито наивно, любуясь своей неуклюжестью. Окающий северянин, Женька был поразительно устойчив к любым неприятностям. Он не знал стрессов, всякую оказию превращал в фарс и помогал нам делать то же самое, заражая всех своей неотразимой насмешливостью. Бывало, кто-то из нас, находясь в дурном расположении духа, встречал Женьку... и стоило поделиться с ним своей уж-жасной проблемой, как он тут же, без всяких предисловий, начинал: «Ба-атюшки! Горе-то какое! Это ж надо, а! Это что ж такое происходит! Батюшки вы мои! Как же это может быть?!..» Сначала мы шипели на него, обижались, что он не проявляет сочувствия, но затем, наслушавшись его трагических восклицаний и воплей, не могли уже удержаться от смеха. А Женька, приведя нас «в норму», всё ещё продолжал охать и ахать, с пафосом взывая к неведомым батюшкам и вещая им про «горе-то какое!» При этом он охватывал ладонью подбородок или прикрывал ею лицо, как бы находясь в страшном смятении...

В общении Женя был совершенно «рубаха-парень», но за внешней простотой его просвечивала высокая самооценка, и не без оснований. Мы пользовались всякой возможностью, чтобы послушать его игру. Из-под Женькиных пальцев на чёрно-белой клавиатуре рождался бесподобный мир причудливых джазовых фантазий: калейдоскопическое чередование разнообразнейших сложнейших фраз, синкоп, оборотов с богатейшими нюансами, колоритнейших аккордов — всё это последовательно разворачивалось, дышало стройным единством мысли, но и скакало, прыгало, неистовствовало. Конечно, об этом мы узнали позже, после сельхозработ, потому что в Кааламо, к нашему поистине безграничному удивлению, не нашлось, гм-м, как ни странно, ни одного приличного фортепиано...

Последним, кроме меня, «грузчиком» оказался пианист Саша, с которым я сдружился ещё во время «абитуры». Успешно пройдя конкурс, мы ездили с ним в Ленинград, набирались впечатлений, знакомились с девочками, растрачивали наши скудные средства. Саша, выделявшийся своей яркой внешностью (у него были светло-жёлтые, почти белые, и на редкость кучерявые волосы, делавшие его чем-то похожим на пуделя, хотя и не ново это сравнение), отличался весёлым «заводным» нравом, постоянно испытывал жажду кипучей деятельности, но был весьма самолюбив, даже тщеславен, стремился везде и всюду проявлять лидерство, и чувствовал себя не на шутку уязвлённым, если его ущемляли в правах командира. Компанейский же его характер позволял кому угодно общаться с ним без проблем. После нашей славной сельскохозяйственной одиссеи я несколько дней гостил у Саши в Новгороде, осматривая многочисленные покосившиеся церкви с луковичными или шлемовидными куполами и белыми, но обшарпанными стенами. Бродили мы и внутри внушительного кремля, любуясь византийским величием монументального Софийского собора с золотым центральным куполом, а также великолепным памятником Тысячелетию Руси, украшенным горельефами видных людей, в разные времена вершивших судьбами страны или составлявших её цвет...

Но пора уж было собираться. Вечер. Чемоданы. Плацкартный вагон. Огни. Стук колёс. Семафоры. Дребезжание и звон. Горячий, аж раскалённый, чай. Шуршание и хруст. Бойкая разноголосица. Чьи-то несвежие носки. Задущевый храп. Дорога, дорога, тёмные дали, холод пространства, тёплый

вагон. Дрожит и покачивается маленький мирок странствий, кружатся на его пути города...

Скоро рассвет... Жаждалась нас карельская столица.

* * *

Итак, мы в общежитии. Позади Кааламо, сельхозработы и волнующая близость финской границы, которая сменилась теперь волнующей близостью Онежского озера (вблизи всегда оказывается что-нибудь волнующее). От девятиэтажной консерваторской «общаги» до берега бухты Варкаус всего метров сто. Из окон верхних этажей открывается неописуемый вид на просторную водную гладь, окружённую лесными дебрями, подступающими к самому берегу.

В комнате, рассчитанной на троих, мы по собственной инициативе поселились впятером (вся бригада грузчиков). Это обстоятельство изумило наших соседей по секции. Некоторые сочувственно крутили указательным пальцем у виска, желая, видимо, морально нас поддержать. Но мы не унывали, от добровольно избранной тесноты отказываться не собирались, и повесили на дверь снаружи кусок картона с надписью «Клуб Одиноких Сердец. Просьба НЕ СТУЧАТЬ». Через некоторое время один из доцентов, ответственный за «порядок» в студенческом общежитии, допытывался у Олега, что же означает НЕ СТУЧАТЬ. При этом он подозрительно шурился.

Вечерами мы неизменно, невзирая на отвлекающие нас амурные хлопоты, находили время для того, чтобы собраться вместе и вволю побеседовать. Особенно близкими друг другу стали трое «неисправимых романтиков» (по выражению Олега): Олег сам, Сергей и я. Иногда к нам присоединялся Саша, но его чрезмерно самолюбивая натура не могла смириться с красноречием и одержимостью других, и он часто покидал наш клуб, ища себе иных развлечений. Порой появлялся Женя, вечно где-то болтавшийся. Он сразу оживлял нашу обитель возвышенных диспутов, привнося в неё легкомыслие, весёлость, какой-то раздольный дух бесшабашности и свежий непосредственный юмор. Когда Женька входил в комнату, почему-то вдруг поднимался шум, грохот, стук, всё сразу становилось сумбурнее и беспорядочнее. Он тут же принимался острить, но не скороговоркой, а протяжно, с колоритным вологодским оканьем, нарочито на крестьянский, что ли, манер. Однако, это настолько не увязывалось с его бойкостью и насквозь «джазовым» мироощущением, что уж само по себе было смешно. Женя снимал (сымал!) свою маленькую, как и он сам, курточку, обязательно стучался о спинки пяти наших кроватей, занимавших большую часть «Клуба», потирал якобы ушибленные места, кряхтел и ойкал, затем, героически преодолев не слишком узкие проходы, присаживался, наконец, к нам и живо интересовался, о чём мы только что вели разговор. Получив ответ, Женя морщился, махал рукой и предлагал очередную «хохму»:

— Сидит, этова, значит, мужик зимой на реке, — тут он непременно делал паузу, почёсывался, причмокивал с напускной развязностью и строил глазки. — Ну, сидит себе и через лунку рыбачит. Холодища-а жуткая! Брр! Ну, рыбачит и рыбачит, да клюёт-то, видать, хреново. Мёрзнет только зря... И вдруг, ха, лёд возле него взламывается, прямо вскипает весь, а оттуда, из реки то есть, выползает на кромку льда корова! Выползает,

медленно так, и пыхтит от усердия. Ну, вылезла она, отряхнулась, как собака, и стоит, отдувается; копыта растопырила и на мужика уставилась. Мужик, понятно, обалдел от такого зрелища, глядит на корову дикими глазами, а потом спрашивает бессвязно: «Ты-ы, к-корова, ты... чего это ты?!» А корова застыдилась, потупилась (тут Женька изображал поведение коровы) и отвечает сконфуженно: «Ой, в самом деле, чего это я?!».

Не передать речевых интонаций и разных ужимок Женьки, но рассказывал он так искусно, что, выслушав в его исполнении даже нелепый, казалось бы, анекдот, мы «ржали» как жеребцы, и долго не могли его позабыть.

В общежитии имелось пианино, и время от времени Женя одаривал нас джазовыми импровизациями, уводя от увлекательных дискуссий о жизни, смерти и сути. «Философский» же накал нашего наивного, но жизнерадостного «Клуба» был столь высок, что иногда мы почти случайно вспоминали о необходимости посещать занятия и готовиться к ним. Особенно это касалось того, кто теперь, десять лет спустя, склонился от нечего делать над тетрадь с авторучкой в руке...

Любимым нашим маршрутом был, конечно же, путь в столовую, расположенную на оживлённой улице в десяти минутах ходьбы от общежития. Готовили в ней сравнительно неплохо, и мы нередко баловались дополнительными порциями. Я позволял себе некоторые траты, и не только на питание, а и на разные мелочи «быта», создававшие в нашей комнате подобие домашнего уюта. Мои друзья были обеспечены финансами несколько хуже меня, и иной раз я выручал их из затруднительного положения. Дело в том, что родители всегда основательно меня поддерживали: присылали довольно приличные для студента деньги, а кроме того, прекрасно укомплектованные лакомствами и одеждой посылки. ...

...Учились мы, естественно, по-разному, но никогда ни у кого из нас не возникало желания сравнивать друг друга по успеваемости или музыкальной одарённости. Учение было само по себе...

Мы, трое неисправимых романтиков-метафизиков, обожали порассуждать на отвлечённые темы и забирались в такие кошмарные дебри, в которых не оставалось места здравому смыслу. Упражняясь в метафорах, мы договаривались до совершенной ахинеи, возникавшей, что любопытно, из первоначально безукоризненной логики. Так, мы доболтались однажды до «синицы в масле» и затем сотрясались от хохота, а когда в нашу комнату заглядывали соседи и спрашивали, отчего мы такие радостные, мы отвечали: «От синицы в масле!» Кто-то крутил пальцем у виска, кто-то недоуменно пожимал плечами — им-то не было ясно, как мы пришли к этой синице...

Олег постоянно теребил наше воображение разными выдумками. Однажды он повёл завлекательную речь о спиритуалистических опытах, и уговорил нас устроить сеанс спиритизма. Этот загадочный сеанс нас очаровал, и ещё много раз по вечерам мы выключали свет, зажигали свечу и принимались гонять по столу перевёрнутое вверх дном блюдо, а затем «беседовали с духами», направляя блюдо нетвёрдой рукой, вернее, руками, к полоске бумаги, на которой начертаны были буквы алфавита, чтобы узнать «ответ».

Наш «Клуб» пользовался почему-то большим успехом у девочек, которые часто навевались к нам гурьбой и с удовольствием выслушивали пламенных ораторов, предлагавших миру грандиозные идеи. Иногда мы, правда, предпочитали просто попить с девочками чаю и побеседовать с ними на совсем другие темы. Темы эти были настолько интересны, что мы разбредались по разным местам, где в более уединённой и спокойной обстановке можно было основательно, не упуская важных деталей, разъяснить подруге суть твоих жизненных воззрений...

* * *

Петрозаводск — чудный городишко, симпатичный, милый. Привязавшись к нему, мы, однако, не слишком с ним церемонились и как только ни называли: Ветрозалётск... Ведрозапойск... Ветхозаветск... Причём первые два эпитета имели к нам... гм-м... некоторое отношение.

Я гулял по тихим улочкам, по дворам, чувствуя особую прелесть прогулок именно здесь, «внутри», в стороне от шумных магистралей, среди домов, детских площадок, палисадников, где царят спокойствие и размеренность, и приятно слышать собственные шаги и встречать изредка местных обитателей, которые никуда не торопятся.

Признаться, я люблю заглядывать в окна — нет, не в плотоядной надежде увидеть нагую женщину или застать какую-нибудь пикантную семейную сценку, а из желания обнаружить ещё один мирок, населённый разумными существами. Когда окна первых этажей расположены достаточно низко, я стараюсь мимоходом, не задерживаясь, разглядеть мебель, картины, вазы, книжные полки, прочие предметы — всё, что в общем характерно и для других квартир, но всё же имеет единственные в своём роде черты. Каждая новая квартира, то есть фрагмент её, увиденный мною через окно, волновал моё воображение, как будто я посетил новую страну или незнакомый мне доселе город. И этот мирок заставлял меня фангазировать, представляя его обитателей и выдумывая их внешность, характер, склонности, отношения между собой, даже профессию... тут же спонтанно возникали диалоги, полилоги, какие-то семейные тайны... и прочий вздор в этом же роде...

Затем я спускался в нижний город, выходил на пристань, где покачивались привязанные к причалу катера или маленькие корабли, и ласкал слух мягкий, нежный плеск волн. Облокотившись на прохладные перила, я смотрел на дрожащую водную гладь и вдыхал онежский простор. Иногда к пристани, не спеша, увеличиваясь в размерах и становясь всё слышнее, приближался прогулочный пароход. Его белый корпус плавно колыхался на мерцающем жёлтыми искрами фиолетовом озере. Солнце то пряталось за лёгкой завесой ленивых ватных облаков, то вновь блистало в лазурном океане неба, бросая широченные, ясно видимые, снопы света на водное раздолье, темнеющий по берегу лес и выглядывающие из-за него верхние этажи «столбиков»-многоэтажек, плоские крыши которых усеяны сплошь колючими, в разные стороны растопыренными, прутиками телеантенн.

Млея в какой-то радужной дымке, я ждал вечера и предвкушал, как мы все соберёмся в «Клубе» и станем страстно, увлечённо, искренне спорить

обо всём, что волнует, интригует, манит... И пусть мы были наивны и поверхностны, пусть горячились без меры, но увлечённость наша и юношеская беззаботность дарили нам непередаваемо прекрасное, восхитительное ощущение жизни...

* * *

Прошли годы (фраза, обречённая на бессмертие!). Развели нас дороги судьбы (ещё одна!). За моим окном — Германия. За окном композитора Олега, вдохновителя «Клуба Одиноких Сердец» — всё тот же Петрозаводск. На далёком карельском севере рождается и звучит музыка, и ещё рождаются дети — Олег давно уж стал отцом семейства, надо надеяться, счастливого... За окном фаготиста и поэта Сергея — ещё более далёкий Томск. Забрался украинский «западэнец» в сибирскую глубинку! Представляю, как он зимой едет в обледенелом дребезжащем красном трамвайчике на репетицию, дышит на замёрзшее, схваченное инеем, окно и трёт его рукавичкой, пытаюсь разглядеть что-нибудь, а за окном проплывают деревянные домики с чудной резьбой-вязью, с ласковыми, уютными, хотя и замысловатыми орнаментами. Вот и филармония, храм гармонии. Входят туда сутулые музыканты с грустными улыбками, нервно срывают варежки с тонких пальцев, изысканно подтрунивают друг над другом... а вечером концерт, чёрные фраки, ослепительное сияние в хрустальных люстрах и бра, приглушённый говор в партере, затем внезапно трепетная тишина, сотни блестящих любопытных глаз... Взмах дирижёрской палочки...

Что за окнами Жени и Саши — совершенно неизвестно. Следы их замело, и жаль, если навсегда...

О времени том можно и погрузить.

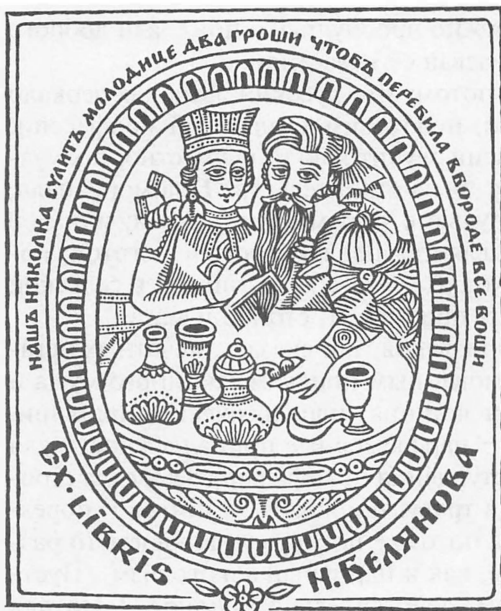
Ноябрь 1996 г.



Эксlibрисы
Владимира
МАРЬИНА

Ганновер







ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ

Штутгарт

VIEHWASEN 22

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ,
или ДНЕВНИК СЕРДИТОГО ЭМИГРАНТА

Автор предупреждает, что все имена, кроме его собственного имени, вымышлены и все совпадения — случайны.

Господи, как я ненавижу людей! Особенно немцев и евреев. Нет, всё-таки евреев и немцев... Впрочем, и русские с их хитрожопыми лицами были не лучше. Но евреи и немцы...

Так должна была бы начаться эта книга, если бы у меня хватило сил и пространства взяться за неё раньше, год назад, например. А если бы — два, то каким детским восторгом приземлившегося марсианина дышали бы эти сияющие листы... Так слепой, узнавая предметы на ощупь, испытывает радость не обладания, а сотворения... И где же ещё скромно отпраздновать свой эгоистический субъективизм, как не на родине идеалистической философии...

А по-настоящему, надо было начать записывать ещё раньше, ровно три года тому назад, 10-го мая 1992-го года, когда три самые популярные газеты столицы русской поэзии вдруг дружно проснулись и пожелали доброго пути ещё одной поэтессе, впервые назвав её известной...

Разумеется, не поэтессе, а поэту, потому что русский язык как зеркало нашего сознания отражает мужество, необходимое для этой профессии, вернее, — судьбы... «Поэтесса» в России звучит как-то неуместно, получается что-то вроде салонного «кес-кес-э» на строительстве Беломорканала, бабочки «кис-кис» над волосатой грудью с тюремной русалкой; или — в самом безобидном случае — представляется перламутровый ноготок, кокетливо прижатый к розовой лодочке губ — «тс-с...» — тише — в сельской родилке, над ворохом окровавленных простыней, стонов и мата...

В России было немало поэтесс, придатков, так сказать, печатных органов; их творчество сводилось к рифмованным поискам законного мужа и не нарушало розовой, как пайковая ветчина, идеологической идилии, вполне укладывавшаяся в галантерейно — парфюмерные принадлежности для запудривания мозгов. Некоторые отступления от морального кодекса строителей коммунизма, чаще всего, — в траву: поплакать, а потом — порезвиться, или наоборот: порезвиться, а потом — покаяться, в общем-то разрешались, и даже поощрялись так же, как и народный алкоголизм. (Пусть лучше думают, что — свободны, чем, действительно, думают...) Но для

литературы было бы лучше, если бы поэтессы в процессе своих глубоких творческих актов всё же предохранялись или хотя бы обращались с первыми признаками не к читателю, а к гинекологу... А народ лучше бы, конечно, не пил и не воровал...

Как давно это было... Здесь никто не поймёт твоей горькой иронии хотя бы уже потому, что даже слегка подпорченные образованием земляки носятся с обалдело вращающимися зрчками в поисках заработков и собственных «Я», какие-то фантастические Черновцы (город? национальность? тип нервной деятельности?) пытаются оккупировать весь мир своим индюшачьим местечковым тщеславием, а с немцами и с немецким — разногласия и стилистические, и фонетические, как когда-то с советской властью... Именно так. Менталитет — это алфавит с человеческим лицом.

Вместо гордого, пусть немножко самодовольного, выпуклого, как первый жирок интеллигента, звонкого «Я» — какое-то зловеще шипящее «Ихь»... Вместо спокойного, но твёрдого, исполненного человеческого достоинства «я думаю» — монетный звон в висках — «ихь деньке», мелкие их шутки и мысли про деньги... Они не стесняются возводить копеечную экономию в ранг достоинств. Они торгуются с собственными детьми из-за мороженого, подъезжая к ларьку на роскошном «Мерседесе». Но не потому ли, в конечном счёте, мы приехали к ним, а не они — к нам... (Впрочем, кто может поручиться, что именно этот счёт между нами — последний... Пророки давно измельчали, они теперь снимают «сглаз» на рыночных площадях, да и родился ли когда-либо в одном лице и гадатель истории по географическим картам, и её укротитель...)

А, может быть, это и хорошо, что рука только сейчас потянулась к перу, а перо — к бумаге (болезнь наша — литература, мания цитирования, недержание ассоциаций), только теперь, когда всё или почти всё уже позади, и та вторая жизнь, которая мнилась за государственной границей, по существу, уже тоже исчерпала себя, а была и пылкой, и жёсткой, и до предела насыщенной; и стало снова тускло и скучно, как некогда в городе Великой Депрессии... Потому что сбылась мечта — и не осталось загадок... (Только ватная пустота после исполнения страсти)

Я предвижу злорадство «писателей», укравших у меня литературную жизнь, (писателей в кавычках и скобках, потому что писатели без кавычек и скобок могут слямзить библиотечную книгу, но не чью-то судьбу), и обиженных на то, что им об этом сказали. Не обольщайтесь! Мы, уехавшие последними, угодившие в «колбасный вагон» и не слишком радужную атмосферу переполненного дармоедами капитализма, ещё скажем своё слово. И о себе, и о вас, и о мире, который всё же увидели. А ведь могли так и помереть с необъяснимой ностальгией по Западу... (Необъяснимой, потому что не только мы, но и заранее заготовленные для нас судьбой гены там не бывали... Наши генеалогические деревья были переструганы на дрова для победоносных знамён, а образовавшиеся на их месте куцые кусты — советская природа тоже не терпит пустоты, хотя обязана развиваться по совершенно другим законам — вырваны с корнем на той войне...)

Не торжествуйте и Вы, элегантная — с виду — дама, доцент славистики, пытающаяся унижить русских писателей копеечными подачками и давно провоцировавшая меня на эту книгу, кровожадно дыша и нетерпеливо

заглядывая через плечо, когда ей вскапризилось найти меня в гетто кошмарной общаги: «Главное, что Вы лично испытываете, лично, это же так интересно... И торопитесь, будет уже поздно...»

Для чего — поздно? Для дешёвой карьеры первого бытописателя «четвёртой волны»? Я готова заранее разделить эту горькую славу со всеми, даже с самыми юными и никому не известными, особенно с юными и не известными, с теми, кому не пришлось «выдавливать» из себя «по капле раба», потому что выдавливать было нечего... (В отличие от некогда почитаемых и никогда не читаемых, от которых, когда они пытаются выдавить из себя хоть одну рабскую каплю, вообще ничего не остаётся...)

Не пытайтесь поспеть за литературой, как за модой. Она никогда не опаздывает, редко бросается в глаза, а иногда по многу лет стоит перед вашей оббитой глухим дерматином дверью и терпеливо и снисходительно ждёт, когда же её заметят...

Боюсь, что мои записки будут раздражать как раз своей преждевременностью, что, будучи по складу своего угрюмого дарования, к несчастью, Кассандрой, вернее, Кассандрой — именно к несчастью (у меня на него особый нюх, а всегда неожиданные радости я как раз воспринимаю с дилетантским щенячьим восторгом), так вот я уже знаю сейчас, как всё это снова начнётся... Именно здесь, в «дойчланд, дойчланд юбер аллес», где все переходят улицу только по команде светофора (хочется написать «офицера»...) и послушно (самое страшное, что будто внезапно, будто по вдохновению, а не по нотам, начертанным новым, на сей раз хорошим фюрером) плачут на типично голливудском «Списке Шиндлера»... Плачут тихо, не всхлипывая, чтобы не нарушать тишины, и вытирают глаза разовыми платочками «Темпо»...

А евреям кино не страшно. Они шумно перешептываются во время сеанса, шуршат шоколадками. Они и не думают, что кому-то мешают, норовят с места вмешаться в фильм, как будто там, на экране, можно что-либо изменить...

*Евреи любят поучать,
И возглавлять, и отличиться,
Опять по шапке получить —
И ничему не научиться;
Своей семьи не огорчать —
И за чужими волочиться...*

*И в печке с газом замечать,
Что может что-нибудь случиться...*

Я столько раз пыталась приняться за эту книгу, что в конце концов она мне... расхотелась. Пересохла в горле, как паста в когда-то начатом, а потом в суматохе утренних процедур заброшенном тюбике. Теперь жми — дави — выкручивай, а высовывается только мышинный хвостик какого-то дохлого вещества. Ни тебе влаги, ни аромата, без которых литература, как известно, немыслима.

Ну что ж, что не делается — то к лучшему... (Главное — обосновать утешение, перефразировать жизнь, если уж нет сил её переосмыслить и,

тем паче, начать сначала...) В сущности, лень избавляет нас от более страшных пороков, которым подвержены слишком активные и деятельные натуры, вносящие в свою и в чужую жизнь знобящую лихорадку бессмысленной суеты, а то и торпедирующие бациллы злокачественного энтузиазма. Возможно, сейчас она спасает меня от греха литературного онанизма, как когда-то в любознательной юности уберегла от научного коммунизма, всемирного сионизма и от всех прочих идиотизмов нелепой страны и горемычной эпохи, которой в лучшем случае суждено называться Эпохой Возрождения, а о возрождении можно только робко мечтать...

И тут я делаю себе 854-е китайское предупреждение (метафора именно оттуда, из того всегда почему-то более анекдотического, чем политического контекста), что, мол, если ты всё-таки собираешься о чём-то писать, то не мудрствуй лукаво. Не струись велеречиво и вычурно...

...Запрети себе медленное, с наслаждением, выдыхание мысли, как заливчатое пускание дыма — кольцами — из ноздрей. Чтобы эта поза выглядела естественно, кресло должно покоиться в гобеленовой зале или в китайской — нежных, как небо и нёбо, шелков — гостиной, а не в скромной социальной квартире нищего эмигранта. Но — отнесись почтительно к собственной памяти...

Я, например, точно знаю, что в сотах моего мозга, охваченного жужжанием и пыланием, никогда не откладываются даты событий. (Единственная, которая почему-то запомнилась на всю жизнь, — 1242 год, Ледовое побоище, псы — рыцари; хотя почему — псы? С детства люблю собак, а у dospехов в рыцарском зале Эрмитажа — блеск матовый, скорее уж волчий, как бы скрещение всех оттенков холода: волки, луна и лёд, скульптурная группа над одиноким захоронением озера...) Но зато в сути событий я обычно не заблуждаюсь, наоборот, угадываю её по первым штрихам...

И вот за это, за необременение меня не, как почему-то принято считать, точностью, а, как мне кажется, мелочностью, за ненаваливание голых мясистых фактов на моё хрупкое воображение, но — за сохранение стройных очертаний обнаженных тенденций, я готова снять шляпу перед собственной памятью... Если я когда-то встречу её на улице, и при этом на мне будет надета шляпа, то именно так и поступлю. Можете не сомневаться.

Эмиграция, в отличие от нормальной (совершенно ненормальной, в том-то и были её и вкус, и запах, и музыка) привычной жизни, слишком буквальна. Начиная с переводного (переносного) понимания слов, сказанных на чужом языке (покупая приятелю галстук, не можешь отделаться от ощущения, что приобретаешь не безобидную тряпочку в каких-то геометрических ребусах, «ди краватте», а громоздкое и ненужное двухспальное лежбище...) — и кончая толкованием нравов по отдельным знакомствам: немец читает — немцы читают — немцы — читающая нация... (Как бы не так, хотя блестящая, отлаженная до излишнего, переходящего в пошлость глянца, индустрия духа предлагает ежегодно 70000 названий новых книг. Интересно, для кого они тут издаются?..)

И ещё в ней, в эмиграции, есть какая-то невидимая трагическая черта окончательности, что-то вроде добровольной черты оседлости... И тогда — уже обречённость.

Ибо для того, чтобы менять страны после пятидесяти, нужно было с

пяти иметь гувернантку с лёгким прононсом Елисейских полей (наверное, там, в полях, ветрено, вот у них у всех и простуда), а также чудаковатого дядьку в буратиновом шлафроке (немцы на чужбине всегда странные, безобидные, если, конечно, не победят...), и ещё — хотя бы сонеты Шекспира на чистом английском, желательно в сафьяновом переплёте, без такого простого и складного участия Маршака...

А если вместо всего вышеперечисленного тебе была уготована комната на всю семью и имущество в пропахшей щами и скандалами коммуналке, по сравнению с которой нынешняя социалка — дворец графа Шереметьева, то ты можешь вынести максимум одну эмиграцию. Ибо вкладываешь в этот бросок все оставшиеся и сконцентрированные в солнечный комок силы — как в последнюю страсть. На что предмет твоих притязаний взирает недоумённо и холодно...

* * *

*Как проста в России нищета:
Нету хлеба — понимай буквально...
Блюдо ослепительно овально,
Как ночного тела нагота.
Вот и эта пройдена черта.
Время — вспоминать сентиментально...*

*Уходя — не медли, уходи —
Или мозг взорвётся в одночасье...
Господи, какое это счастье
Если только юность позади..
А теперь — и Родина... В груди,
Как в стране — разруха междувластья.*

*И куда мы каждый со своим
Скарбом скорби... Темен сгусток света.
Постоим. Рука в руке согрета.
Зябко, но не холодно двоим.
И услышим в шорохе руин
Лепет листьев будущего лета...*

Я всегда верю первому ощущению, информации импульсов, когда развращённый опытом мозг ещё не успел пуститься в спасительную софистику, объясняя, скажем, откровенное свинство, как скрытое и блуждающее во тьме нравов потное восхождение к сияющим вершинам эпикурейства; пока он ещё не начал химичить, меняя электроды местами и получая в итоге те же оранжевые пунктиры тока — шока...

И сейчас, когда нестерпимо хочется в ту напряжённую нравственную атмосферу, где плюс — это плюс, а минус — минус, где злодеи, как это ни парадоксально, стесняются, смущаются своих злодеяний и злоделишек, вздрагивая в начальственных креслах от понимающих взглядов портретов (Пушкин Кипренского или Тропинина на скользкой администра-

тивной стене незаметно делали своё дело, хотя на посетителей обладателям кабинетов было плевать, точно так же, как и их коллегам во всём цивилизованном мире), сейчас я вспоминаю ленинградский аэропорт и свое идиотское желание поцеловать таможенника: последнее родное лицо...

Интуиция — единственный правильный способ ориентации в пространстве и времени. Позже, когда любая жанровая сценка, отлежавшись в сетчатом гамаке памяти, привстанет со следами вдавившихся пут, встряхнётся с лёгким прихрустом и, наконец, предстанет как уже символ себя самой, и поведёт нас за руку (пишущую...) к какой-то идее, можно будет найти и логическое объяснение этой галиматье, вернее, нагородить научной галиматии вокруг очевидной невидимости. Скажем, так: сигнальная система подсознания предупреждала о приближающейся опасности...

Но ведь хотелось, мечталось, грезилось: из тюрьмы — на свободу, из страны, всё ещё окруженной колючей проволокой границ, — в увлекательный мир, где растут на влажных полянах цветы фламинго, которые не повернутся перо отнести к фауне, — такие они нежно-розовые, воздушные, как пастила и зефир, лакомства нашего роскошного, хотя и убогого детства. (Детство — роскошь, доступная каждому; даже у Сталина, даже у Гитлера было детство, а не только у Лёвушки Толстого или Алёши Пешкова...)

Да ещё этот нелепый путч, бунт в животе (очевидно, от тяжёлой для них духовной пищи в журналах), показавшийся страшным; я тогда впервые бродила по Лондону, ещё как-то инстинктивно оглядываясь и озираясь — нет ли «хвоста», чтобы привыкнуть к свободе — нужно время, мысли заключённого затекают, как мышцы; но убежища не попросила, потому что если всё снова — значит, надо снова — и нам... (Что может быть грустней и стыдней, чем записи в летописи: велика, мол, наша страна, богата, придите кто-нибудь и наведите порядок...) Жаль только, что долгое противостояние ожесточает, человек как-то незаметно отвыкает от нормальных человеческих радостей, понимая под ними абстрактный призрак Победы, забывая или вовсе не зная, как одиноко, хоть и ослепительно, стоят, окружённые холодком музейным все Афины-Паллады и даже Ника Фракийская...

Может, в том и русское счастье моё, а не только несчастье, что судьба уготовила мне «инвалидность пятого пункта», что на всяком лубочно-пасхальном пиру (а Истина ли воскресла?..) я ощущала спиной дуновение прохладного ветерка и вдруг ощущала кожей свою чужеродность и непричастность к празднику. Это чувство отторженности (не отверженности, а именно неумышленной отторженности) как бы отодвигало всё происходящее на крохотную дистанцию, и возвращалось в организм с первым глотком вина, много веков назад настоящего на горьком высокомерии, на печальной мудрости и лёгкой иронии... Это чувство, вернее, подчувство (если есть подсознание, есть и подчувство, подспудно тлеющее...) мне подсказала не Тора, а Томас Манн, когда я по-юношески восторженно упивалась его «Иосифом», и сама жизнь, в которой, как на его же «Волшебной горе», все были больны ожиданием неминуемой смерти, но в мелочной суете повседневности удавалось отвлечься от мысли о Ней...

Поэтому меня не особенно задевал государственный антисемитизм. И, может быть, именно потому, что не волновал, что не на нём сосредоточивала моя расхристанная по-славянски душа своё просыпающееся внима-

ние, повезло и в университет поступить, и работу найти. (Хоть и не по таланту, но всё-таки по специальности.) А если потом всю жизнь то премировали, то увольняли, и опять, уже на другом месте, премировали — и увольняли, то это не из-за самой национальности, а из-за её рассеянности, забывчивости пониже опустить голову и быть по-человечески благодарной за корм... А что стихов, можно сказать, «при жизни» не напечатали, так на это я не в обиде: ну кто же станет помогать своему убийце потуже затянуть верёвку на собственном горле... Они же не мазохисты какие-нибудь, они и слова-то такого не слышали, и университетов, как правило, не кончали, о чём говорили с понятной гордостью Шарикова, сожравшего таки профессора и успешно прошедшего курс идеологической дрессировки.

Зато когда вспыхнула перестройка (было в ней что-то от эпидемии, так сказать, заря и холера одновременно, язык сам знает, в какой кровавый борщ смешиваются в его неисчерпаемой ёмкости овощи различных национальностей, разнородных понятий), когда забрезжил впереди призрак разочарования — с одной стороны, а с другой — остался, никуда не ушёл, тот самый призрак, который долго бродил по Европе и остановился почему-то у нас, когда стало ясно, что теперь от тебя зависит собственная судьба, и только она, и что тебе в чём-то глубоко несимпатична сногшибательная (по отношению к их недавним друзьям) карьера лидеров нашей честности, — вот тогда и была заполнена анкета на выезд...

Хотя, конечно, это не очень приятно, что новый мэр города шутит по телевизору на тему возможных погромов, а одна паникёрша уже обзванивает всех знакомых, чтобы выяснить, кто из них — не еврей, и просится на ночлег...

Обстановка в Ленинграде была действительно наэлектризована... А я, впервые в жизни буквально завалив сына шоколадом (вдруг посыпавшиеся со всех сторон гонорары мгновенно превращались инфляцией в труху, а расположенная неподалёку фабрика, ещё носящая имя чего-то красного, не помню — чего, уже растаскивалась по коробкам, прежде припрятанным от покупателей, теперь её труженики стояли прямо в магазине «Здоровье» со своим мало кому нужным товаром, так как не было хлеба, мяса и масла), так вот я, откупившись от сына этим нечаянным пиром, жадно глотала только что вышедшие (и ста лет не прошло...) дневники Зинаиды Гиппиус, то и дело ловя себя на ощущении, что это — о нас...

Странно, но оно щемит и по сей день, когда уже главные трудности и перестройки, и эмиграции позади, когда мир уже приоткрылся мне в своей неприкаянной красоте и неизбывной печали...

И я вдруг неожиданно для самой себя вызываю из памяти тот отъездной день: 10 мая, десятая годовщина смерти отца, которого война достала уже через столько лет, убила внутренним взрывом инфаркта, когда он пришёл на встречу однополчан один, — и пена изо рта, и всё кончилось, так, говорят, умирают святые.

И вот 10 мая, и я еду в Германию, не в ту, а в другую, у меня всегда была своя Германия, как и своя жизнь, и свой взгляд на неё; и душный «накопитель» (надо же так назвать, а главное — догадаться: впихивать улетающих в тёмный «чулок» отсека, лучшее средство от ностальгии...) во всегда и везде космополитическом аэропорту, ибо над ним — наше общее безграничное небо; подпрыгивающие, чтобы ещё раз махнуть прощальной

рукой, друзья, и тут — это патологическое желание... Именно так. Поцеловать таможенника, которого все так не любят, которому отъезжающие навсегда иногда просто хамят, — мстят за то, что всегда вынуждены были бояться (хамство подвыпившего плебея, выкупленного раба...). И закладывает уши, как уже подступающая высота, ничем, кроме вошедшей в состав крови русской литературы, не оправданный страх, что это и есть — навсегда...

*У эмигрантов не было взрывчатки,
Им было всё — действительно — равно...
Они меняли страны — как перчатки,
И всюду пили терпкое вино.*

*И сторонились праздников народных,
И если шли — то в смертный батальон,
Чистопородных предков благородных
В непропитый защёлкнув медальон...*

*А если Бог давал ещё попытку:
Гарсоном — в бар, извозчиком — в такси, —
На ветровое клеили открытку,
Шепча почти молитвенно: «Росси...»*

*Я тоже здесь, мне тени их всё ближе...
Горчит лимон, изранивший вино...
И я, ночами шляясь по Парижу,
Не проиграю память в казино!*

Старенький кругленький добрячок-тюфячок изо всех сил выкрикивал в родной советский матюгальник, заглушая ровный отлаженный европейский гул франкфуртского аэропорта:

— Евреи, прилетевшие из Ленинграда, подходите ко мне! Ко мне, пожалуйста! Детки попьют и пописают, попьют и пописают...

Последняя фраза раздражала не только своей биологической навязчивостью (Анатолий Франс, например, не садился за стол с прекрасными дамами, ибо в процессе поглощения пищи они теряли своё очарование...), но и, прежде всего, филологическим сюсюканьем.

Я не выношу местечкового акцента. Нет ничего более омерзительного для фарфоровых петербургских ушей, чем всякие там «пописать», «ой, вы знаете, Абрамовичи тоже едут» и т.п., и т.д. Как будто эти горластые, измазанные липким шоколадным дерьмом детки уже «пописали», и не куда-нибудь, а именно в твои благородные ушные раковины...

Шолом-Алейхем никогда не был в числе моих любимых писателей. Даже беглый структурологический анализ речи его героев вызывал у меня чувство жалости и досады, а значит — презрения. Язык — это рентгеновский снимок психологии.

Русские классики будили чувство вины, стучась в самые замурованные двери уснувшей совести, и воспевали свободу, немецкий — замахнулся на теорию сверхчеловека, а еврейский — любовался униженной провинци-

альностью и, конечно же, неумышленно, с помощью переводчиков, вводил унижающий русский язык неправильный выговор в национальную культуру и, значит, в литературную норму.

Может быть, мне просто-напросто повезло: угораздило выпасть (как снегу...) не в каком-то дремучем, коверкающем слова Бердичеве, не в отрезанном от всех и всего скудном (и провокационном по сути своей) Биробиджане с его дрессированными партийными секретарями — советский еврей служить не может, он прислуживает и выслуживается, и, главное, во имя чего? — Дальше-то всё равно не сошлют, разве что на Аляску, а там уже и Брайтон-Бич не за горами...

Мои родители вытащили для меня счастливый билет: при всей нашей традиционно-национальной неудачливости априори надо мной клубился сиреневый, в серебряных проблесках, полумрак дostoевских «Бесов», мои детские сандалии захватывала и тянула в себя угрюмая и таинственная волна «Медного всадника», «Горе от ума» стало и моей личной, а, значит, и нежно любимой трагикомедией... Я всегда уходила оттуда, где мне становилось хорошо: то есть, слишком комфортабельно, слишком уютно, располагало к тайным порокам... Любая карьера была мне — мною — противопоказана, я разрешала себе только первый сладкий глоток...

Да, только теперь начинаешь вдруг понимать, какое это необыкновенное счастье: родиться именно в Петербурге, во всегда всё-таки «бурге», граде Святого Петра, хотя и слышшего, и в чем-то ставшего просто областным центром имени Ленина...

Но была ли когда-либо черта оседлости для движений Духа? Разве не становились евреи врачами и адвокатами, разве не оседали в столицах и не восхищали публику вдохновенным рыданием клавиш и запредельным, казалось, полётом смычка? Правда, про них говорили, что они умеют устраиваться...

Но мы отвлеклись. Во Франкфурте всё тоже как-то быстро устроилось. И начались чудеса... И на душе стало ещё более слащаво и гадко.

В социальной комнате (видимо, что-то вроде приёмного покоя — для поступающих на излечение от социализма) детки, как было обещано, «пили и писали», «писали» — и опять пили, уже не столько от жажды, сколько потому, что импортная минералка мерцала в ящике, соблазняя родителей совершенно советским счастьем — халявой.

Особенно неприятной показалась одна семья: он — около сорока, с козлиной бородкой, с плохо действующей рукой, но как бы компенсирующими её неподвижность бегаящими глазками. Родители, из последних сил толкавшие впереди себя и всех неуклюжий сундук (простая стратегия: чтобы никто не мог войти первым), и уже ругающиеся с немецкой социальной работницей, выдавшей каждой вновь прибывшей семье по 30 марок: до завтрашнего утра. Ни за что ни про что, просто потому, что здесь так положено. Хорошо ещё, что та ни слова не понимала по-русски (а ни на каком другом языке скандалить они не умели) и не узнала, что невестка, дрянь этакая, тут же приберёт эти деньги к рукам, а ей, свекрови, старой, больной, беспомощной(...) не даст ни копейки... Невестка, кстати, из всей этой жутковатой компании, выглядела нормально, вполне миловидная женщина, занятая с маленькой дочкой, походка которой клонилась в сторону церебрального паралича. Последнее обстоятельство заставило меня в дальнейшем — с пятью пересадками пути — надрываться,

подавая бабке её проклятый сундук и слушая — всю дорогу — про не доставшиеся ей 30 марок, которые уже как бы выросли из приятного сюрприза в долг немецкого правительства ей лично... (Я ещё не знала, что это и есть — менталитет, во всяком случае, его первое ментальное «ме»...)

Ещё одни попутчики — профессор-экономист с женой и общительной, лет двадцати дочкой... Почти десять лет «в отказе», ящики на почте заколачивал, когда с работы его «ушли»... Морщины на лбу — как приморский песок, волнуются, вот она, заграница — мечта диссидентского воображения... Радуетя всему, тому же прохладному мерцанию минералки: Аква вита... Забота о человеке. И вообще — новые впечатления...

Стараюсь сосредоточить внимание на этом красивом библейском лице, чтобы не спрашивать себя ежеминутно: «Зачем ты здесь?»... А просто смотреть, переводя взгляд с него на квадрат удушливой черноты за окном...

На улице — плюс 35. (Как назло, выдастся это лето неслыханно жарким...) На плечах — огромная кроличья шуба, какая-то дикая, встрёпанная, будто с плеча Пугачёва, на самом деле — изделие одного из нарождающихся в России кооперативов, куплена по случаю гонорара за книжку стихов. (И шуба, и книжки — уже продукт перестройки). А в руках — русская пишущая машинка, родная, привычная, берущая две копии — хорошо, третью — с сильным нажимом, четвёртую — ну, никак, хоть молотком колоти... Вот, собственно, и всё имущество, взятое с собой, как сказано в визе, на ПМЖ — Постоянное Место Жительства. Как будто что-то в человеческой жизни может быть постоянным...

Увы, я уже так стара, что начали сбываться юношеские мечты: сначала — шуба, теперь — Германия...

*...Кант прав: трагическая суть
Судьбы — выходит за пределы
Любовных пролежней. И телу
Простёрт всё тот же санный путь...
Светает. Вдох колышет грудь...
Начать с доски, где снова — бело?
Но что за птица ночью пела
И скрылась в матовую муть?...
Покуда в градуснике — ртуть
И память — в нас не охладела,
Хотела б знать, чего хотела
Душа: не заживо ль уснуть?
Иль кое-как и как-нибудь
Повеселиться неумело?..*

Ну вот мы и — рука задумывается, повисая согнутым локтем в воздухе, не решаясь на это простое и щемящее слово — «дома»...

Тёмный, будто раздавленный чернослив, тёплый южный вечер, прилипший к телу, кажущаяся после наших подслеповатых проспектов ёлочной иллюминация витрин и киосков — всё это сообщает утомлённому организму какое-то экзотическое предчувствие, похожее на предвкушение зимнего отпуска в Ялте или в Сочи, подчеркнутое случайным знанием о близости гор. (Отношения мои с географией всегда были как у незабвенно-

го Митрофанушки, природа часто одаряет нас чем-то одним, скаречно экономя на всём остальном и доводя субъект своей опеки до полного кренинизма в той или иной области...)

Впрочем, сейчас и остальным, более расторопным, не оставалось ничего иного, как только надеяться на извозчика... В чужой стране, не зная языка и обычаев, все мы выглядим недорослями, даже если ты — Миклухо-Маклай, а вокруг — туземцы... И уж тем более, если ты — только что из России, а вокруг — Европа...

Таксист воткнул нос в листок с адресом общежития...

(Из Ленинграда одна германистка, специалист по творчеству Гофмана, написала по моей просьбе, разумеется, в самых изысканных выражениях, письмо на имя директора вонхайма, что так, мол, и так, членом семьи фрау такой-то является и её любимая кошка, и каковы будут условия для этой рыжей — разумеется, подзаборной, но этого она классовому — von — обществу не сообщала — примадонны в известной своей любовью к животным Германии; ответ пришел на бланке, состоял из одного предложения, но зато с тремя восклицательными знаками... Здесь уже хватило знаний соседки, выпускницы иняза, чтобы понять: «Проживание совместно с животными на территории всех общежитий земли Баден-Вюртемберг категорически воспрещается» (!!!...) Капитализм ещё не утвердился в России, слабо стоял на своих рахитичных от рождения ножках, и поэтому кошке даже не пришлось нанимать бэбиситера — её на время удочерила подруга)

Вот этот-то бланк я и догадалась подсунуть водителю, потому что иначе как бы мы объяснили, куда нас, обалдевших, как кошки от новых запахов, надо доставить...

Эскорт из трёх как бы перевёрнутых лодок — серебристых, как показалось на волне первой удачи, автомобилей — один за другим нырнул в тяжелую влажную черноту...

...Утром я попыталась сразу... закрыть глаза. Но нестерпимое солнце вбивало тонкие твёрдые лучи под ресницы и, самое главное, что страшное видение не исчезало...

Не мерцал на стене под стеклом тонкий профиль Александра Александровича Блока, стена вообще как бы куда-то отодвинулась, не было ни разноцветных книжных корешков (с некоторыми из них я иногда даже здоровалась...), ни нежно мурлыкающей мордашки с усами (кошка всегда приходила за утренним благословением, а потом уже смело шла грешить: залезать в кастрюли, опрокидывать доставшиеся в наследство от свекрови хрустальные вазочки), не было больше ничего, и только — нары, нары, нары...

Я начала считать эти железные койки, нависающие в два яруса, очевидно, чтобы проверить, в своём ли я уме... Первая мысль была: «Пряжка» — ленинградская психушка над тёмной блоковской речкой, почти напротив музея...

Забегаю вперёд, скажу, что ассоциацию эту, как, собственно, все внезапно вспыхивающие в мозгу параллели — аллюзии к виденному или слышанному, и даже вовсе, казалось бы, беспочвенные аллегории — считаю логичной и правомерной. Интуиция, как сказал Энгельс, — побочная дочь знания...

Всё-таки что ни немец — то «Кёпфе», не знаю только, откуда всплыло во мне — тогда — это словцо: вроде бы не из Пастернака, наверняка, не из Тютчева, ах да... Из беспомощных попыток родителей иногда щегольнуть выбитым из них за долгую жизнь идишем, языком немецких евреев, как я пойму здесь, близким местному диалекту... Правда, мои познания ни в немецком, ни в идише здесь не пригодятся. Их общий объём исчерпывается пятью словами: «коммунистиче партай» и «юнге пионирен» — с одной стороны, и «ништюкхенсейхл», «мишугине» и «азохенвэй» — с другой. Первые два торжественно и сурово произносили гости из ГДР в нашей школе, больше запомнившиеся ровно и строго сидящими костюмами (у нашего директора брюки напоминали спереди — растянутый аккордеон, а сзади — просто серый мешок), а всё остальное мама иногда, думая, что я сплю, шептала папе, показывая на меня...

И хотя откуда ей, скромному корректору текстильного института, было знать, что информация во сне усваивается особенно хорошо, и в одной маленькой комнате ни у кого ни от кого секретов быть не может (вот почему любая коммуналка и любое общежитие — это всегда нарушение прав человека, лишение его права на секрет), всё-таки моя покойная еврейская мама была не такая глупая женщина, как мне казалось при её жизни... Это утро ещё раз доказало её правоту...

...Какой-то маленький шупленький старичок в так называемых «семейных» трусах (крик довоенной курортной моды: синие, сатиновые, похожие на современную мини-юбку) старательно приседал и, дрожа и хрустя всеми членами, медленно выпрямлялся, ухватившись за край ободранного и облупленного, будто в привокзальной забегаловке, столика посреди чердака. Ну да, конечно, это чердак, мы же вчера, спотыкаясь по причине усталости и отсутствия лампочек, преодолевали какую-то лестницу, она всё никак не кончалась, лифта мы почему-то тоже не нашли, и ещё нас почему-то никто не встретил, хотя все мы, согласно полученному предписанию, за два месяца сообщили день и час своего прибытия. Первую ночь спали вповалку, на полу, утешившись тем, что хоть не на улице...

О каждом народе сложены свои мифы, мифотворчество продолжается и сейчас, когда народы перемешались в едином котле и, видимо, потеряли многие свои полезные свойства... Но покажите мне хоть одного иностранца, приехавшего в Германию без святой и наивной веры в немецкий «орднунг»! (Вот и ещё одно слово всплыло, откуда-то из глубины памяти, развязав один из её туго затянутых узелков...) Разумеется, все тут же сошлись на том, что письма за границу по-прежнему не доходят, небось, лежат наши, из последних рублей оплаченные, уведомления где-нибудь в сейфе КГБ или, в лучшем для нас случае, — на помойке...

И сейчас, спустя столько лет, когда страна — да разуйте же глаза — стала совсем другой, многие ещё не излечились от нашей социальной шизофрении, заболевания, безусловного, серьёзного, возникшего на подозрительной почве самой нашей жизни, но, между прочим, и подымавшей безобидного и бесполезного, как таракан, обывателя в его собственном насекомом мнении: его письма... читают, они кому-то (ИМ...) интересны...

С моим не самым жестким, но и не бесследным для всей скомканной биографии опытом общения с «органами» (запрещение таки на профес-

сию, вынужденный уход в котельную — на самое социальное дно, о чём я, кстати, ни разу не пожалела, хотя ниже меня была теперь только земля...) эта — минутная — мысль была, наверно, простительна. Тем более, что я от неё сразу же отмахнулась, как от назойливой мухи, потому что в реальной жизни стараюсь не позволять первым догадкам присваивать себе лавры окончательных разгадок, то есть, переходить из метафоры в опасное заблуждение...

В это же утро, через пару часов, я встретила со своим старательным (графического прилежания хватает обычно только на одну страницу, то есть, на документ...) будто бы школьным почерком, подшитым в папку, на столе демонстративного вида раскосой девки (жёлтая раса всегда как бы без возраста: и дети — как морщинистые старички, и бабушки — маленькие, как пигалицы, особенно сзади), но это была девка, бойкая, напившаяся цивилизации, и от этого еще более наглая, не потому ли целый этаж занимали её вьетнамские родственники, а нас (я повторяю: видение не исчезло, хотя я снова и снова пыталась закрыть глаза...) было: пять, шесть... восемь... нет, опять сбился...

Во-первых, какая-то сумасшедшая старуха, которая скакала по комнате, как коза, и которую маленькая девочка, лет двенадцати, покровительственно и раздраженно называла Катей, а Катя всё прыгала между нар и требовала срочно позвонить в обком партии и рассказать, как её обижают...

Еще один дядька, пронзительно шелестя упаковкой (звук — будто ножом по стеклу или ногтем по капрону, меня от таких звуков всегда передёргивало, ещё в детстве), уписывает за обе щетинистые щеки ветчину с шоколадом и захлупывает чем-то из бумажного стаканчика, похожего на виденные в Лондоне йогурты...

А молодая и бесцветная (смотри — не смотри, а всё равно встретишь — и не узнаешь, бывают такие невзрачные, ничем, даже никакими пороками не отмеченные лица) бреет посреди помещения (собственно, никакого «посреди» нету — там её «дом», её территория, очерченная постелью), бреет себе волосатые ноги трескучей машинкой, иногда взвизгивая от боли...

Надо мной что-то кряхтит, свешивается с верхней койки и совершенно спокойно, будто ничего не случилось, спрашивает домашним, всегда немножко ворчливым, потому что, разумеется, деспот, нетерпеливым голосом:

— Сколько времени, мама? И вообще я проголодался!

Нет, не «Пряжка»... На «Пряжку» всей семьёй не кладут, во всяком случае, в одну палату...

Гутен Морген, Германия! — Пора просыпаться...

*Есть на чужбине счастье: засыпать
Лицом — к стене, как над обрывом — птица...
Ещё чуть-чуть — и Родина приснится,
И мягким снегом станет засыпать...
О Господи, какая благодать...
Но, Боже, как скрежещет черепица...*

Как безгранично красив этот маленький городок, я увижу потом. Откроется очарованному взгляду и дом на острове, остров — дом, чьё лицо, заклёстнутое мокрыми ивами, отражается в тёмной воде всеми своими дрожащими абажурами: будто красные и жёлтые листья плывут, будто Венеция, ассоциацию с которой подчеркивают горбатые мостики, легко прыгивающие на твёрдый асфальт... И крепостная стена, взбирающаяся на покатую гору наперегонки с виноградником, из века, судя по нехитрой, но крепкой кладке, XIII-го, и, наконец, водрузившая на самом верху, на лобном, что называется, месте коренастую башню! А внизу — узенькие, звонкие под каблуком каменистые улочки с острокрышными домиками-пряниками; по какой ни процокай — обязательно выведет на рыночную площадь, окружённую не переменным готическим орнаментом: потемневшая за столько эпох стрельчатая ратуша с круглыми кукольными часами (фигурки выплывают из-за циферблата на голубой воздух, как стойкий оловянный солдатик — из коварного ущелья; Андерсен и Прибалтика были в детстве нашей Германией...), а слева и справа — кремовые стены строений, сверху донизу, нет, снизу доверху, впрочем, не важно, расчерченные шоколадными ромбами и квадратами. (Такая вот геометрическая плетёнка, линии крепежа — будто обгоревшие корочки, доставшиеся нам после всех Карлов — Людовиков). А в скромном уголке, на скользких от брызг камнях, — приземистый круглый фонтанчик со своим провинциальным достоинством и своей, местного значенья, легендой...

Всё это: и пунцовые взрывы роз и гераний почти в каждой окошке (будто за каждым таится, дичась, Кармен, — как бы не так, белая, шерстинка к шерстинке немецкая мышка, тоскливая фрау), и квадраты неправдоподобно синей прохлады под изумрудными шарами парковых крон (городской бассейн, над которым разбрызган, кажется, детский смех всего мира) — я увижу потом...

Когда просто приеду сюда за какой-то бумажкой, ибо справки в Германии собирают с такой же страстью, как в России — грибы... Каждый твой шаг зафиксирован в формуляре, над чем смеялся ещё саркастический лирик Генрих Гейне. Но он ушёл, а формуляры остались...

Не для того ли и закреплён за каждой квартирой персональный подвал, келлер, чтобы к концу человеческой жизни накопилась там целая библиотека одного увлекательного романа с единственным героем на всех миллионах страниц: прививки, штрафы, напоминания об оплате за свет, воду и воздух...

Вот что такое учёт, батенька Владимир Ильич, а не ваш на бухгалтерских счётах нащёлканный и без счёта растасканный социализм... Впрочем, слава богу, что ни у Вас, ни у Сталина с Гитлером не было компьютеров. Сегодня не нужно мусолить ворох бумаг и стаптывать сапоги, чтобы узнать, в ком тлеет осьмушка еврейской крови или чем занималась чья-то прабабушка... Достаточно нажать одну нужную кнопку...

*Я смерти не боюсь... Она во мне гнездо
Давно уже свила, и тихо ждёт погоды...
Но — осени осин смущённое бордо....
Но — звёзд стрекозий блеск...
И так проходят годы...*

Как всё-таки глубоко въедается в кожу пропаганда, как ржавчина — в железо противостоящего ей человека, имеющего на каждую развесистую тезу свою сокрушительную антитезу. Или это та самая генетическая память, которая спит, свернувшись клубочком, — и вдруг встряхивается, и ошетиливается, и от испуга — гневные трассирующие искры из глаз...

Мы шли по вечернему, полному влажных южных запахов парку над тёмной, в тяжелой летней истоме, рекой. Мой спутник уже выбирал кусты погуще и от тропы подальше, так как, к слову пришлось, никакой личной жизни в комнате для четырёх семей, сваленных, можно сказать, в кучу, не предвиделось (очевидно, немцы считают, что люди могут совокупляться в стаде); мне было тошно и липко в три дня и три ночи не сдираемой с плеч футболке (наши вещи остались во Франкфурте, и это было сейчас главной заботой — добыть их обратно); я брела слепо, в тяжелой, размякшей, как инжир, голове медленно шевелились не то чтобы мысли, а, точнее сказать, ощущения: как бы щекотание щупальцев, проползание бархатных жирных гусениц по пересохшим извилинам...

В слова это можно было оформить примерно так:

1) Искупаться, переодеться — и умереть...

2) Как всё же примитивно устроены мужчины, в них есть что-то от лошадей: скачут неумоимо, лоснятся потом, а потом смотрят, хрустя вечерним овсом, печальными человеческими глазами, как будто и впрямь могут что-то понять...

3) Что же всё-таки делать с вещами, вернее, без них, в чемодане и рюкзаке было «всё и только»... — лишь самое нужное, без чего даже на фронте не обходились... И зачем только мы поддались на обещания этих услужливых социальных ребят, что, мол, наши монетки придут машинной вслед за нами. Надо было тащить на себе, как эта жлобская бабка свой неподъёмный сундук, а не развешивать раскрывшиеся розовыми гладиолусами, доверчивые к первому теплу уши... Вот оно, первое крепкое столкновение с хвалёным порядком... Один из прибывших, уже чуть-чуть лопочущий по-немецки (тогда казалось — соловьём заливается...) дознался-таки: в воскресенье в аэропорту дежурили студенты, они, отдежурив, тут же забыли о нас, и теперь ни одна организация земли Гессен не собирается отправлять нам наши фамильные драгоценности (главным образом, полотенца, трусы и майки), так как мы приписаны к другой земле, а ни одна организация земли Баден-Вюртемберг не желает связываться из-за нас с землёй Гессен и гонять туда за красивые глаза дорогостоящий транспорт... (Однажды сын, лет шести отроду, встретил на ослепительной декабрьской улице роскошного Деда Мороза и замер в волшебном ожидании подарка, но получил только весьма прозаический ответ: «Мальчик, отойди, ты не из моего микрорайона...») И ещё вспомнилось, как наловчились милиционеры перетаскивать с одной стороны улицы на другую «лежачих» пьяниц, когда исполком постановил, что слева будет считаться Петроградский район, а справа — наоборот — Ждановский... Перевалить замухрышку, к тому же, без единого рубля в кармане, на совесть и отчётность соседей было сподручней, чем самим с ним возиться...). Словом, теперь всё это были, как говорят на Западе, «наши проблемы», причём, если даже с первого же пособия (обожгло чудом и стыдом впервые не заработанных денег; у нас называлось «получка», а получать было, собственно, нечего...), так вот, если хоть завтра рвануть во Франкфурт, мы всё равно

не найдём там своих (мамино словцо) бебихов (нам предстоит теперь «надеть» на себя сразу две национальности: евреев и немцев), потому что никакой квитанции из камеры хранения у нас нет. А за каждый новый день, по слухам, надо платить в астрономическом шелесте ещё не понятой валюты... (В магазин, например, первым отважился войти проголодавшийся сын и, одолжив у знакомых — уже знакомых — 10 марок, притащил хлеб, крупу, мясные консервы и сдачу вместе с восторженным репортажем: «Представляете, всё есть, никакой очереди, даже не отмечался, просто купил!...» Просто купил... С тринадцати лет он честно выстаивал за хлебом и сахаром, привычно подставляя ладошку, на которой какой-нибудь ещё прочно стоящий на ногах пенсионер, взявший на себя нелёгкое бремя поддержания законности в очереди, рисовал, послушавив, чернильным карандашом двузначный, а то и трёхзначный номер... На полки с бананами и ананасами сын, как оказалось, даже и не взглянул, как-то не пришло в голову...)

Так вот, пока он, мгновенно адаптировавшийся во дворе, лупил в настольный теннис с одинаковыми, гибкими и прыгучими, как кошки, вьетнамцами, и красочно, серия за серией, пересказывал скучающим бабушкам последний увиденный им на Родине телесериал «Богатые тоже плачут» (в предотъездной суматохе было как-то не до него, наглотался какой попало духовной пищи), так вот теперь, каким-то седьмым чувством поняв, что он уже и вправду не маленький, даже паспорт у него свой, выдан за несколько дней до отъезда, и — кольнуло — будет всё более отдаляться, — брели мы вдвоём по таинственному (заграничному...) парку, и вдруг — где-то там, впереди, — холодным стальным лезвием по глазам — каски...

Не добродушные советские каски, похожие на перевёрнутые солдатские миски, вроде той, что хранилась под подушкой у Вани Чонкина (Ну, да... А Чехословакия, Венгрия, наконец, Афганистан?...), а именно те... Те самые...

Одна... Три... Пять... Целая дивизия... И голоса...

Господи, почему в ушах «Ахтунг! Ахтунг!» и методичный стук солдатских сапог «айн — цвай», «айн — цвай»...

Слабый мертвенный свет луны дорисовывается мгновенным воображением в зловещий череп, сапоги стучат уже прямо в виски: «айн — цвай»... Бежать!

Стоп... Оказывается, я знаю ещё несколько немецких слов... И за касками полыхает в остановившиеся от страха зрачки машина обыкновенных стихийных бедствий: пожарники отдыхают... Шланг, виясь по траве толстым безобидным ужом, тихо сползает в воду...

Душа медленно возвращается из пяток на своё привычное место; (на какое именно, этого я никогда не могла понять, потому что если она на месте, то её просто не замечаешь, не чувствуешь, а ежели она, как говорится, болит, то болит почему-то везде, во всём ноющем при каждом шевелении теле...) А в щёки ударяет откуда-то изнутри жгучая пожарная краска. Я всегда ощущаю приливы стыда в темноте и одиночестве. Мне совершенно не важно, что никто не поймал меня, как за руку, за нехорошую мысль... Человек сам ответственен перед собой, как, может быть, перед Богом, за все грехи, содеянные им в мыслях или воображении. Поэтому я люблю хирургически точного Ницше. Он тоже не миндальничал ни с кем, ни с целым народом, ни с одним из своих мучительных

«Alter Ego». Иногда кажется, что он писал не пером, а блестящим скальпелем...

Разумеется, широко распространённую нелюбовь к немцам («боши», «фашисты») можно легко объяснить двумя затаенными с их стороны мировыми войнами. И если умница Бисмарк (опять же немец...) сказал, что каждый народ достоин правительства, которое он выбирает, то достоин он, народ, и отношения к себе, согласно своим деяниям...

Стук сапог у меня в висках полвека спустя — ещё один обвинительный акт, неумышленно предъявленный Германии. А сколько таких молчаливых и никому не известных нюрнбергских процессов проходит — судорогами — в каждой еврейской, тоже неглупой, согласитесь, господа воинствующие антисемиты, на всю жизнь насмерть перепуганной голове...

Нет, национальность не «надевают», она — кожа. И еврейская кожа имеет глаза даже на спине: я всегда чувствовала каждый недоброжелательный в этом абсолютно бессмысленном смысле (ну и что с того, что еврейка, могла бы и чукчей родиться...) взгляд. И в тот год этот особенный взгляд слишком часто обжигал спину в раскрепостившемся во всех отношениях Ленинграде... Это было страшнее, чем неслыханное убийство в так называемом Доме творчества: какой-то русский писатель убивает какого-то русскоязычного писателя, то есть, еврея, ножом при всей, полагающей себя почтенной, публике... Маньяки были всегда, и есть везде, но именно там, где концентрация этих взглядов вдруг превышает обычную общечеловеческую квоту (ибо антисемиты тоже есть везде и всегда), маньяки перестают прятаться и даже осмеливаются карабкаться на правительственную трибуну... Мне вдруг пришло в голову, что ответственность за это дикое преступление должен разделить с убийцей наверняка респектабельный автор нового литературного термина, а именно: «русскоязычные писатели»... В отличие, стало быть, от русских, чьё арийское происхождение... Ну да ладно. В возможность погромов я всё-таки не верила: не подходит для этого, мягко говоря, неделикатного дела «Невы державное течение, береговой её гранит...», и никогда не подходил... В том-то, наверное, и причина моего относительного спокойствия: в отсутствии подкожного опыта...

Другое дело — они... Хотя немецких фашистов я видела только в кино, и то мельком, когда туда водили со школой, потому что сперва просто не любила фильмов «про войну», а потом уже сознательно отметала от себя всё, что в искусстве называлось «соцреализмом». Но я обожала отца, а существенной частью его жизни была, как это ни ужасно, война...

И когда я в детстве с трепетным замиранием прикасалась к отцовским медалям (в мандариновом блеске их мнилось что-то церковное, ну, конечно же, православное, потому что деревенская няня водила меня к заутрене), представлялось, как едет он с войны все эти, до моего вселения в мир, два года на расхлябанном трофейном велосипеде, о который нехорошими словами спотыкались в тёмном коридоре снующие взад и вперёд соседи по коммуналке...

Водрузив флаг над Рейхстагом (я всегда как бы пририсовывала отца к примелькавшемуся газетному фото...), он был назначен комендантом (Дантом?..) какого-то загадочного немецкого «бурга», откуда и отозван по доносу кого-то из сослуживцев за «мягкотелость», то есть, за то, что отдал приказ делиться армейской кашей с капитулировавшими женщинами и детьми...

Теперь вы легко можете подсчитать, если ещё не разучились загибать пальцы и ходить в магазин без калькулятора, что именно последнее обстоятельство и позволило мне через определённое время сообщить о своём появлении на свет...

Сделала я это, судя по маминым устным мемуарам, громко, решительно, тогда как родители, наоборот, онемели от счастья.

В первую минуту они увидели во мне ещё не меня, а своего первенца, Валю, который не стал в семье старшим, потому что скончался трёх лет отроду от стремительного тифа в медленном поезде, проталкивавшемся под бомбёжками на Урал, как червь — в безопасную глубину земли... Мама, схоронив его где-то на полустанке, наскоро, безымянно, вскоре обезумела в своей нижнетагильской многотиражке от еженощных призраков сына в батистовой рубашонке и рванулась на фронт, к отцу, под крыло — в смерч...

Через границу Германии она переступить не смогла. Очевидно, боялась собственной ненависти...

Вернулась измученная в измученный город, в их маленькую комнатку на родной Петроградской, где после всех потрясений — от бомбёжек и новостей, после синюшной блокадной зимы, ставшая полупрозрачной соседка встретила нежной горсткой фиалок в гранёном стакане и ...рыданием извинений, что два родительских стула всё же сожгла, когда уж совсем околевали от холода...

Какая-то, я бы даже сказала сегодня, патологическая порядочность, и ведь не у немцев (ещё один миф...), а у самых что ни на есть наших, вернее, наверно, у многих — в том далеко... Нравственность поколения, не развращённого знанием...

Увы, в какой-то мере, действительно, так, потому что поверхностное знакомство с философией общества и психологией личности бросает в рыхлую почву только зёрна разврата. Убийца, наскоро пролистнувший Ницше, осыплет наивных господ присяжных такими неоспоримыми аргументами в свою защиту, как будто он — невинный младенец или сам — с небесной прописной — Судия... Тем более, что господа присяжные обыватели обожают демагогию. Не потому ли и выходят из зала суда — сюда, к нам, — под сентиментальные слёзы умиления своих завтрашних жертв — матёрые мародёры... Их адвокаты изошрены в софистике.

Стоит ли напоминать культурному читателю — а некультурный на эту повесть плюнул, хорошо если не в буквальном смысле, с первых же строк — что Ницше в этом не виноват... И что Вагнер не посвятил Гитлеру ни одной своей самой капельной ноты хотя бы уже потому, что умер в предыдущем столетии... Один не шибко трезвый защитник прав Человека заявил как-то в гостях, что терпеть не может «нечеловеческую музыку» Ленина, машинально приписав вождю пролетариата похваленную им и ни в чём не повинную «Апассионату» Бетховена.

Но в ту пору, — пора бы уже и вернуться, пусть ещё не в Германию, а хотя бы в то странное учреждение по имени ЗАГС, в аббревиатуру, которая расшифровывается не менее загадочно: Запись Актов Гражданского Состояния, где мою окружённую розовым чепчиком голову, признаться, ещё не тревожили все эти чудовищные вопросы, и она просто с любопытством озиралась вокруг, чувствуя себя в полной безопасности на руках у папы. (И чепчик, и фотография сохранились, что помогло мне восстановить в памяти эти волнующие минуты...)

Там меня зачислили в славный человеческий род, не забыв, впрочем, вписать в свидетельство о рождении, что и мама моя, и папа начинаются с ехидной буквы «Е», то есть, что я всю расстелившуюся передо мной жизнь буду еврейкой, даже если изо всех сил постараюсь стать очень хорошей девочкой...

И вот тут мы подходим, может быть, к самому главному. Обозначили меня в честь бабушки, папиной мамы, которая не могла этому порадоваться, так как фашисты сожгли её живьём в сарае, в белорусской деревне, вместе с двумя мальчиками, Борей и Серёжей, которым суждено было — было бы — стать моими двоюродными братьями...

А это значит, что в какой то мере я проживаю и бабушкину жизнь — веду связанную узелком в порванном месте ниточку дальше...

Стоит ли удивляться теперь, что если она, эта ниточка во мне, вдруг натягивается до предела, до звона, — где-то в затылочной части слышится снова рокот войны...

Ахтунг! Ахтунг! Айн — цвай!..

А тут ещё эти злополучные каски ...

Но я решительно отбрасываю со лба прилипшую прядь, чтобы смахнуть заодно с ней и жуткое наваждение, и густо краснею в безлюдной темноте парка...

— Ты чего? — спрашивает муж, наконец, заметив что-то неладное...

— Да так, ничего, просто голова разболелась...

И думаю о том, что, подумать только, как должны себя чувствовать наши здешние ровесники, если через поколения, после стольких взаимных объятий, на бессознательном всё-таки остаётся лежать это зловещее пятно — тень свастики, будто отражение въевшегося, впившегося в песчаное дно краба... (И чем прозрачней вода — тем отчётливей это раскоряченное клеймо...) И ещё я почему-то вдруг думаю, что если тихому остепенившемуся человеку всё время напоминать о его детской, пусть не провинности, но даже юридически отбытой виновности, или, тем более, напоминать об этом его детям, то чаша терпения может когда-нибудь переполниться: «Вы хотите нас видеть снова **такими?** Ну что ж!..» (И не провоцируем ли мы сами, весь мир, и в том числе, неутешные, понятно, евреи, немецкий народ на новый круг ада?..)

Если бы все они, немцы, и даже русские, понимали, что значит чувствовать ЭТО кожей, чувствовать под всеми транспарантами, при всех брудершафтах, если бы могли ощутить этот холодок отчуждения вокруг и этот липкий отвратительный страх, сползающий по спине... Совсем маленький, незаметный, потому что я не из робких: могу, если что, и врезать по-русски, от всей души...

* * *

*Человек-невротик
появился на свет невпопад.
Все смеялись и пели,
а он только хныкал и плакал...
И будильник над ним
так настойчиво тикал и такал,
что устал и уснул...
Человек же — проснулся и рад!*

*Все уже позади:
ненавистная школа и двойки;
можно плыть далеко
и мороженым горло студить...
Беззапретная даль
опустели родителей койки...
Зарыдал невпопад,
что не смог до Земли проводить.
Человек-невропат
завернулся в купальный халат
и в метро погрузился,
и, видимо, ехал куда-то,
и в газету смотрел,
и отметил эпохи распад,
и вернулся — вдвоем,
не заметив такого расклада...
Чем хорош постулат?
Что живет человек невпопад,
посещает работу,
порой получает зарплату,
или — наоборот...
И дела его дышат на лад —
ан...
И взялись уже над его головой —
за лопату...
...Но сперва от звезды
отделился сияющий атом:
Человек Человекович —
плакать и петь невпопад...*

Надо было как-то начинать жить, а как?.. Как, если ты физически не можешь засыпать в коллективе? Если бы мне сказали тогда, что ровно три года, 365 ночей, помноженных на 3, больше тысячи раз я буду мучительно звать сон, особенно сладкий потому, что в нём исчезает всё: и нары, и железный привкус крепко-накрепко стиснутых зубов, и знобящее чувство бездомности, бесприютности, будто дождь забивает мокрые гвозди тебе за шиворот, и весь этот абсурд и кошмар, называемый эмиграцией, — я бы, наверно, повернулась с прищёлком на 180 градусов и бухнулась в ножки нашей формуляроликой, кажется, не имевшей глаз, во всяком случае, я их не заметила, ленинградской паспортистке... Или, наоборот бы, терпеливо ждала, купив с полочки (к пособию постепенно привыкаешь, как к заработной — заработанной тяжким трудом — плате...) отрывной календарь и каждый вечер вырывая из него с хрустом ещё один мучительный день...

Но кто и что мог мне тогда сказать? В том-то и дело, что говорили, вернее, квохали и кудахтали вокруг похожие на гибрид куры с индейкой панические соседки. (Ну почему, почему, когда евреи собираются вместе, становится так противно и шумно?..) А именно они-то как раз ничего путного сообщить и не могли... (Так часто бывает в жизни: кому есть что

сказать — тот благоразумно молчит, а у кого голова пустая — у того и полный рот слов, луждает, как семечки...)

Каждое утро коридор, а потом и двор (или же в обратном порядке) замирали от какой-нибудь грандиозной новости... То — всех отправляют в Берлин, где каждому дают по Оперному театру или бывшему музею для проживания в качестве компенсации, потому что канцлер Коль сказал, что немцы перед евреями сильно провинились... («Я подарю тебе Большой театр и Малую спортивную арену...») То — напротив — шлют в глухую деревню, где на тридцать германских вёрст не сыщешь врача... (Забегая вперёд, скажу, что, если убрать числительное как явное преувеличение, то именно такое случалось, причём, как назло, с бывшими жителями российских столиц, людьми без провинциального напора и апломба...) То — всех (ну, конечно же, всех, а как же иначе, советский человек не может воспринимать себя как отдельную особь...) отправляют обратно в Россию, потому что там — говорят — уже нет такого опасного антисемитизма, а что они — здесь — об этом «там» знают... То, наоборот, завтра же всех нас вывозят в Америку, потому что там его, антисемитизма, ещё нет... (Наверно, потому что квота по приёму евреев невелика...) — «Америка добрая, там всем всё дают, не жизнь, а сказка...»

Как у большинства русских интеллигентов, у меня не было никогда и мысли уехать в Израиль. Эта странная страна являлась мне не Землёй Обетованной и даже не Храмом Гроба Господня, а чем-то вроде одесского Привоза, наспех воздвигнутого на экзотических песках близ Ашхабада. Ассоциация, которая могла вырасти только из действительно счастливого детства в огромной стране...

Но вернёмся к нашим евреям...

Интересно, что русские евреи почему-то воспринимают себя со стороны как некое пассивное месиво, стадо, которое кто-то грузит, везёт, которому что-либо дают или у него что-то отбирают. Роль личности здесь, в этой истории, как бы и вовсе не предусмотрена...

Может быть, религия — это бессознательно культивируемая сказка об избранном народе, призванная компенсировать свойственные ему малодушие, готовность унизиться, схитрить, печально-комичное раболепие всегда и отовсюду изгнанных, выветрить которое невозможно не только за 40, но и за 40 тысяч лет?

Мне, например, столько раз являлся куст, что в голове (и, соответственно, на бумаге...) расцвели целые сады, но я бы никого и никуда не повела... Человек — сам хозяин своей судьбы. А ежели Бог на Небеси (это уже камень в другой религиозный огород, ибо еврейский Бог — не милостлив, он только карает и защищает от других народов) выполняет функции пастуха, то люди — получается — овцы. Даже если вы назовёте того или иного Бога, карающего или прощающего, суперсовременно, каким-нибудь Звёздным Координатором, суть надеющихся на Него, а не на себя, от этого не изменится.

Нет, не зря всё-таки ходят слухи, что синагога дрожит от ужаса перед евреями, приехавшими из бывшего СССР. Это же, мол, отъявленные атеисты, безбожники... (Хотя именно себя я бы к безбожникам как раз и не отнесла, как и себе подобных, не кланчащих у Бога, а готовых оказать ему посильную помощь в его нелёгкой работе по духовному воспитанию человечества...) То есть, возвращаясь к синагоге, не здание, конечно, дрожит,

оно крепкое, серое, похожее на КГБ в Ленинграде, и так же просвечивается насквозь телевизорами, во избежание, говорят, провокаций, а у национальных функционеров последние волосы встали дыбом, и, в первую очередь, у раввина...

Когда он нанёс первый визит в хайм (игрой этимологического случая немецкое слово, обозначающее дом в значении «домой, дома», звучит как типичное еврейское мужское имя), головок в чёрных шапочках, кипах, накатилося во двор столько, будто толпа — это одна дубовая крона, вся в желудях... Слышно было, говоря по-еврейски, ни одного слова, непонятно даже, на каком языке он кричал, доносился только какой-то злобный захлёбывающийся хрип... Кто-то из добровольцев (среди евреев всегда находятся желающие разъяснить смысл решений сверху другим евреям, потому что никто другой, кроме евреев, их слушать не станет) донёс до всех и каждого, что раввин обещал вызвать полицию, если недовольные приёмом в Германии будут митинговать и жаловаться. И что рефреном рычания нашего уважаемого рабби было: «Зачем приехали? Вас сюда никто не звал!»

Судя по его свирепой мимике, в это можно было поверить, хотя я лично предпочитаю верить собственным, не забитым серой догм и ватой слухов, довольно-таки чутким к оттенкам и переливам слóха, ушам... Но, повторяю, в это легко было поверить, так же, как и в то, что самого раввина чуть было не хватил кондратий (интересно, как это выражение можно перевести на немецкий...), когда он, исполнив субботнюю молитву, шабат, вышел в «трапезную» и обнаружил там «гарного» детину, торопливо досасывающего из горла последний сосуд кошерного вина... (Предыдущий катился по полу раввину в ноги с порожным жалобным звоном...) «И это — еврей!» — с ужасом воскликнул раввин, на мгновение шарахнувшись в сторону, отпрянув и тут же услышав исполненный другой местечковой гордыни ответ: «Не, мы — хохлы!» — Сей обладатель звания контингентного беженца, то есть, бедняги, чудом спасшегося от угрозы погромов на Украине, ещё не привык к тому, что теперь он — как говорила моя мама — «аидышер», а не какой-нибудь «гой»... Сказывают, что раввин, тут же придя в себя, схватил его за шкирятник и вытолкал в зад ногой за тяжёлую кегебешную дверь Божьего храма. А заодно и его несчастных жену и дочку, которая вскоре сошла с ума на уроке молитвы в католическом интернате.

Мне только неясно, почему они все не могут понять друг друга: ведь и те, и другие стараются взять от жизни весь её алкоголь: водку, деньги, недвижимость, машины, престиж, словом, всё, что может дать именно ЭТА жизнь, если её хорошенько потрясти... Впрочем, в конце концов они находят общий язык и по молчаливой договорённости разделяют мир на сферы влияния...

А мы с Иосифом Бродским никогда не будем обласканы ни одной церковью. И слава Богу! Но именно мы прославим и наш еврейский, и наш русский народ, как это уже сделали Осип Эмильевич Мандельштам и Марк Захарович Шагал, которых теперь не могут поделить между собой сионисты, капиталисты и коммунисты ...

...А жизнь, между тем, всё ещё не начиналась... Да и как ей было начаться, когда дом гудел с утра до ночи встревоженным ульем, стояла неслыханная даже для этих мест жара, моя шуба топорщилась на гвозде в углу, как белый медведь, угодивший в Африку.

Вещи всё-таки привезли, обнаружился не то какой-то общественный шеф, не то одинокий охотник за одинокими женскими сердцами,

совмещающий приятное для себя с полезным для переселенцев, некто выше среднего роста и возраста, улыбчивый Генри. Благодаря его усилиям и автобусу встреча с багажом, наконец, состоялась, на глазах у вновь обретших своё прошлое (у кого-то там были старые драгоценные фотографии, у кого-то — запрятанные от таможи в утюг бриллианты) блестели слёзы умиления, молодая пухленькая профессорская дочка осыпала лысину доброхота спелыми благодарными поцелуями. К счастью, по-русски он не понимал, потому что она тут же громко объявила, что ещё один месяц такой жизни — и она будет готова выйти замуж за генриного папу...

У нас на чердаке вдруг образовались две свободные койки, в горле приятно за холодило, как от льдинки в бокале, от нескольких проскользнувших в его туннель дополнительных кубиков кислорода, но уже утром в помещение по-спортивному вшагнули (о ужас, сейчас его вторая длинная нога упрётся огромной, неизмеримого размера, кроссовкой в противоположную стену, в одуванчиковую головку сумасшедшей старухи), вошли и представились он и она, Костик и Таня, юные геофизики, ленинградцы, симпатичная пара с отнюдь не еврейским оптимизмом и крепким, ещё не расшатанным чувством юмора. (Именно чувство юмора поможет ему впоследствии, подзаработав в качестве, точнее, в шкуре медведя на городских праздниках и «дитюрцумахера», дежурного на воротах местного дурдома, написать на двух, даже на трёх, включая английский, языках диссертацию и стать доктором наук, а также представителем одной немецкой фирмы уже — обратно — в России...)

С их прибытием в нашем удушливом гетто, невзирая на прежнюю тесноту, значительно посвежело, во всяком случае, для меня...

Я не оговорила, употребив это неприятное для каждого еврея слово. Таково было моё субъективное ощущение. Маленький концентрационный лагерь, откуда каждое утро плачущие провожающие помогали кому-то сносить в поджидающий у ворот микроавтобус громоздкие советские чемоданы и раздувшиеся, как дирижабли, одинаковые синие сумки, купленные по дешёвке в турецком, разумеется, магазине. (Сумки эти иногда разрывались прямо на ходу или же, точнее, на лету, во время погрузки) Постепенно всех отправляли из временного распределителя (привет их распределителю от нашего накопителя...) дальше, кого — куда, но мне почему-то казалось, что когда этот чистенький белый домик без окон, на пористых, влажных после машинной бани, колёсах, отъедет подальше, в сторону леса, — в него пустят газ... Казалось без всяких, повторяю, к тому оснований, разве только по тонкой касательной от закона аперцепции, зависимости восприятия от предшествующего опыта, при том условии, что мы включаем сюда и опыт генетический. Но, видно, и остальным, не знакомым с завихрениями доктора Фрейда, тоже чудилось нечто такое, похожее, иначе чего же плакать при расставании в свободной стране, в которую так стремились.. Соскучитесь — так поезжайте друг к другу в гости, благо, Германия невелика, не больше средней по площади республики бывшего нерушимого...

Так вот гетто с появлением молодёжи обернулось обыкновенным студенческим общежитием, в нём появилась лёгкость временности, налёт небрежности по отношению к собственной жизни, да и вообще, кто в висящей над жизнью мансарде задумывается о будущем?..

Мы пили вино, стучали с Костиком в четыре руки на двух пишущих машинках (он уже разузнал про фломаркт и приобрёл всего за 15 марок латинку, а со своей, русской, я не расставалась), сидели посреди всего этого бедлама, между жующих и бреющихся, и вспоминали наперебой старые анекдоты, а вокруг нас уже выскакивали, как шампиньоны из-под земли, новые, местного производства, те, что нарочно не придумаешь...

Молодая дама, как выяснилось потом, врач, из Москвы, требовательно постучав, что, учитывая нашу густонаселённость, было, увы, уже немножко смешно, решительно вошла к нам на чердак с большим, дочерна испитанным с обеих сторон листком наготове...

— Здесь принимают жалобы?

— А Вы, собственно, по какому вопросу? — заняв деловитую и немножко самодовольную позу, осведомляется Костик и незаметно мне подмигивает: мол, сейчас начнётся, включайтесь в игру...

— По вопросу нашего невыносимого существования! Мне сказали, что вы тут пишете. Я тоже написала, правда, от руки, и по-русски...

— Ничего, ничего, мы и переведём, и напечатаем, и в правительство передадим — утешает её Костик и торжественно принимает петицию, ища глазами, куда бы её приткнуть или засунуть... (Везде валялись чьи-то носки, гребёнки, печенье...)

Особенно вдохновило меня его обещание перевести: мы как раз хором разучивали «Ауф Видерзеен» и «Дас Веттер ист гут» по привезённым из России кассетам.

(Если бы какая-нибудь ясновидящая, каких во всём мире развелось вдруг видимо-невидимо, наверное, потому, что за это платят, накуковала бы, напророчила мне тогда, что уже через три года я напишу книжку стихов на немецком языке, а через четыре — две мои немецкие книжки будут здесь, в Германии, изданы, и в здешних газетах меня уже начнут называть немецкой поэтессой, я бы, скорее всего, удостоверялась, что это всё-таки «Пряжка», нормальный сумасшедший дом...)

Между тем «Дас Веттер» была, действительно, «гут», синее небо и жёлтое солнце восхищали детей компьютерной яркостью красок, взрослые же с деловым видом копошились, суетились и возмущались, а жизнь, повторяю, не начиналась... (Беру на себя смелость утверждать, что не только моя. Многие из приехавших в то раскалённое лето начнут жить в полном смысле этого слова лишь спустя несколько медленных зим, когда начнут понимать, о чём щебечут немчата в трамвае, переедут в отдельные квартиры, кто-то найдёт работу... А кто-то так и не начнёт жить, уже никогда...)

Домовитая, хлопотливая супруга профессора-диссидента, больше похожая, действительно, на чью-либо супругу, чем на преподавательницу математики, впрочем, она о работе здесь уже и мечтать не смела, радовалась простым радостям приготовления заграничной пищи и радушно зазывала новых знакомых то на тушёного гуся, то на какой-то невероятный суп. За её оптимизмом угадывалась не животная сиюминутность мироощущения (пожрали — и уже хорошо), которая, кстати, спасает людей с куриными мозгами от многих трагедий человеческого бытия, а некая основательная философия: она принимала жизнь такой, как есть, помнила, что евреи — всегда скитальцы, верила в молодёжь... «О, наши ребята ещё рванут, ещё тряханут Германию...» — говорила она, разделявая на тесной коммунальной кухне гуся и имея в виду, разумеется, не русскую мафию, а

еврейский интеллект физика Костика, программиста Миши, прозванного адвокатом за желание дойти до сути всякого немецкого закона и документа, и даже своей, явно недооцениваемой ею Ниночки, которая в конце концов выйдет замуж не за генриного папу, а за молодого и симпатичного настоящего адвоката, немца, и станет сама неплохим экономистом. Унаследовав, кстати, и эту хлопотливую домовитость.

Поселили их, в отличие от нас, не на чердаке, а, наоборот, в подвале, всего две семьи вместе, зато без окошек... (Фрау вьетнамка, очевидно, узнавала интеллигента по тому характерному гнилому запаху, который безошибочно чувствовали в советских парткоммах, и у неё тоже он, этот запах, настоящий на беспомощной деликатности, вызывал раздражение и желание навредить как только можно... Все мы не без основания поёживались от перспективы оказаться в деревне...)

А пока Инна Леонидовна уже украшала гуся морковными звёздочками, и, хотя совершенно не понимала, почему я не то что бы не хочу, а почти совсем не могу есть (гусь ведь такой сочный, с янтарной корочкой), всё же не обижалась и делилась со мной планами:

— Абрам Семёнович уже старый, почтенный, наконец, я смогу купить ему настоящий талес...

А сам предмет её забот, профессор, курил во дворе с мужчинами (просилось написать «с мужиками»), но к пожилым евреям этот термин как-то не клеится и нетерпеливо кричал мне в окно кухни, чтоб вышла... Потому что раздобыл у кого-то и на мою долю блок «Столичных», всего за пять марок, то есть, по себестоимости. (Больше такого чуда не повторялось. Наоборот, пытались втюхать «на новенького» дары помойки, набивая им цену до магазинной. — Пока этот «лопух» ещё не уяснил, что помойка, то есть «шпермюль» — отнюдь не закрытый распределитель, она тут для всех желающих покопаться... И вообще, если эмигрант ещё «тёпленький», его надо одеть, обуть, застраховать от всех бед в своей, понятно, страховой компании, которая через год лопнет...) Абрам Семёнович звал, нетерпеливо, радостно, желая сообщить мне приятную новость (он уже понял, что я курю даже не как сапожник, а как целая обувная фабрика, и никакого пособия мне при здешних ценах на сигареты явно не хватит...) Я, наконец, выскочила, прервав на полумечте монолог его жены, и в ответ на вопрос, о чём мы с ней так долго болтали, нечаянно объявила (во всеулышание...), что Инна Леонидовна собирается купить ему... фаллос! А, похолодев от всеобщего замешательства, пролепетала что-то насчёт почтенного, назвав его второпях преклонным, возраста...

Думаю, что это была оговорка без тени лукавого Зигмунда. Просто, наверное, античные термины расположены у меня в голове ближе к вкусовым рецепторам языка, чем символы иудаизма. И с этим придётся считаться тому, кто решил всё-таки сопровождать автора до конца его трудного, хотя местами и забавного, повествования...

*Там был «три звёздочки» — коньяк, а здесь «три звёздочки» — отель...
Пятиконечная звезда — шестиконечная звезда...*

Закрутим жизнь свою, друзья, как новогоднюю метель!

(А где сравниваемся с землёй — не так уж важно, господа...)

*Поэт угрюм, поэт не вхож ни во правительство, ни в храм,
Не посещает он, как Бог, молений в собственную честь...*

*Напрасно ждёшь, наивный бож, ты исцеления от ран —
Помойся в бане, поспеши все книги мира перечесть!
И ты, иссушенный монах, поди тоску свою развей
В какой-нибудь публичный дом, потом покайся — и светись...
Мне столько раз являлся куст, что если я — не Моисей,
То это только потому, что мы — как род — перевелись...
Пророков нет, пороков нет, есть куражи и муляжи,
И грабежи, и кутежи, (а витражи — для приходящих...)
Закрутим жизнь свою, друзья! И пусть кремлёвский вечный жид,
Пусть даже он найдёт покой, и, наконец, сыграет в ящик...*

Мы с Цветаевой выдержали до 54-х. Я говорю об этом как о свершившемся факте... Она культивировала в себе Германию до войны, я — после, у каждой из нас были на это свои придуманные причины и своя реальная жизнь, которая закруглилась петлёй.

Что проку в чтении, если ни жена Лота, ни Орфей не отучили нас обращаться. Какой смысл даже в самом святом писании, если ради него был порублен торжественный логос рош...

В ноябрьском лесу мне всегда мнился костный туберкулёз, как на юношеских застольях — надрывный фальцет поминок.

Какие внешние перемены могут помочь тому, кто подставляет лицо под первые крупные капли беды с восторженным трепетом узнавания, кому неотступная мысль о неизбежном разбивает надежды параличом и приковывает к дивану похолодевшее тело...

Я верю в безусловные рефлексy, освобождённые от внешних привычек. Когда люди действуют на уровне подсознания, сразу ясно, кто благороден, кто негодяй, а кто — просто раненое животное. Но для этого надо содрать с них кожуру...

Поэтому и тюрьма, и война, и даже нависающий атомный катаклизм прописаны нам свыше, чтобы очистить обобщённый человеческий организм от окаменевших шлаков.

Не Цветаева — сестра моя во поэзии, но Ницше — брат во суровости — со мной бы согласился: Земля — это круглая задница, набитая дерьмом. Чтобы понять это, не надо совершать кругосветное путешествие. ..

(Представляю, каково читать сей обвинительный акт воинствующим гуманистам, как дрожат они от нетерпения разорвать автора на куски, ибо во имя торжества своей доброты готовы истребить всех, ставящих их весьма соблазнительную идею под сомнение...)

Глупость всегда человечна, ибо она нуждается в одобрении — и потому обращается к человеку. Так в набитую соломой вегетарианскую голову не проскальзывает иголкой простая мысль, что наши башмаки обрушиваются в траву, как многотонные бомбы, сметая с лица земли зазевавшихся насекомых и тысячи ни в чём не повинных микроорганизмов... Ибо мирские оракулы и ораторы видят только свою, приятную внешне, да ещё и принаряженную в словеса правду...

Посягнувший же пуститься на поиски Истины (представляющей собой правду **непомерную**...), рискует не только заблудиться, но и показаться жестоким, даже как бы не человеком, а свирепым и безжалостным монстром. Но он знает, на что идёт, и готов остаться один в пустыне, Моисей — без народа..

Интересно, что русские поэты, доходя до этой черты, чаще всего выносили смертный приговор себе, а немецкие философы — обществу, и доживали до безмятежной, как младенческий сон, старости, окружённые порхающими бело-розовыми ангелами озорных внуков и тихих воспоминаний... Хотя и те, и другие были идеалистами.

Философия — поэзия мысли, не опьянённой любовью, и, значит, не столь уязвимой в своей обнажённости. Здесь, как на операционном столе, нет ни стыда, ни греха, — лишь одна голая, распластанная во весь рост, Истина...

И в этом значении ни псы-рыцари, ни, лишённые какого бы то ни было, даже зловещего романтизма, свастикарующие убийцы наших отцов не отучили нас с угрюмым упрямством любить Германию.

Советская пропаганда, как всегда, добиваясь обратного, только подогревала этот тайный роман, навесив свой амбарный замок на готическую культуру и населив кинофильмы («из всех искусств важнейшим» для них являлось оно...) армией дураков, с трудом научившихся произносить несколько русских слов типа «яйка — масло». (В следующем кадре уже обычно было «Гитлер капут!»...)

На всё готовые, но по-детски любознательные юные пионеры не раз смущали взрослых неприличным вопросом: если все немцы — такие глупые, почему же мы с ними столько лет воевали? Взяли бы сразу Берлин — и дело с концом!..

Тем более, что, как было известно «самому читающему в мире народу» (все заштампованные цитаты — в кавычках, но без указания автора, ибо они уже почти фольклор), как становилось ясно из самых зачитанных библиотечных книжек, их многочисленные, но незадачливые шпионы давно обезврежены (почему-то шпионы всегда ползли ночью через границу, как тараканы — под дверь), а наши доблестные разведчики успешно действуют на территории врага, которая — так почему-то получалось — весь мир...

Даже те наивные, образно (очень образно...) говоря, малообразованные люди, которые не подозревали о существовании ни у них, ни у нас концентрационных лагерей и никогда не бывали в запасниках академических библиотек, иногда супились (хмурились) на эту патриотическую хлестаковщину...

Такие имена, как, скажем, Шопенгауэр, Шеллинг, Юнг для их неискушённых ушей прозвучали бы как еврейские (что-то вроде врачей-отравителей), но их не омрачённые интеллектом, круглые, как блины, крестьянские лица помнили зловещее дыхание надвигающихся «Тигров» своей обожжённой кожей...

Так сложилось, что эта война стала главным впечатлением их земной жизни (а надежду на другую, вечную жизнь у них отняли, как грудь — у младенца), единственным путешествием, единственной темой воспоминаний и поводом для гордости. И хотя так называемому простому, замордованному трудовой, а не высшей нервной деятельностью, человеку охота иногда побахвалиться на досуге своей хитроумной смекалкой, но настолько деморализованный образ врага унижал уже и его, победителя. Потому что одно дело с рогатиной на медведя ходить, а другое — с пушкой на зайца...

Словом, если бы рот народа не был забит страхом и матом, именно он, народ, а не «гнилая интеллигенция» объяснил бы своим так называемым «слугам», если не что к чему, то уж во всяком случае, что совершенно ни к чему...

Нам же, питомцам Альма-мачехи, ибо ленинградский университет имени партийного (как лучше написать: полудурка или недоумка?) деятеля, известного своей отеческой заботой о культуре, тоже не поощрял разных там блудниц и мелкобуржуазные взгляды, нам всё же доставались цитаты как объедки с чужого стола, дававшие некое представление о роскошном пиршестве мыслей в далёком от нас мире...

Как палеонтологи восстанавливали мы доисторическую — до исторического 1917-го (ещё одна дата, которую в меня таки вколотили) философию по её перемытым в наших учебниках костям... Гениальность марксизма-ленинизма — по логике авторов учебников — заключалась в растаптывании и оплёвывании буржуазных идей, за каждой из которых стояла — и виделась нам сквозь мусор слов и патетику политических склок — Личность... И мы не могли не заметить, что родной язык философской мысли — чаще всего немецкий...

А «Буря и натиск»!.. А один Фауст — настоящая Энциклопедия Искушения!...

(Не говоря уже о мистическом ворчании гофмановского Мурра, в честь которого было названо столько котов из хороших ленинградских семей... В том числе, кстати, и мой первый котёнок, оказавшийся после внимательного рассмотрения кошкой и со вздохом переименованный в Муру...)

И всё это ещё до Кафки и Гессе, обозначивших кривизну воздуха, до восторженно встреченного именно в России «Вход — только для сумасшедших»...

Иногда мне даже хотелось засесть за немецкий, впихнуть в переполненную чужими и своими строчками голову купленный по случаю шкафообразный словарь, чтобы услышать за русскими буквами гортанно-надменный голос готической мысли...

И вот я здесь, и уже бродила самозабвенно по тихому университетскому Тюбингену, где каждый камешек под ногой кажется философским, а башня Гёльдерлина, обрушившая своё изображение в Некар, выплывает оттуда почему-то сестринским профилем другой литературной башни, из слоновой кости, высеченной одиноким эмигрантским воображением из поэтических во всех смыслах легенд...

И вот я здесь, и вдруг меня осеняет холодом, что скоро — конец...

* * *

*вот и жизнь пролетела
без особых затей
мое плоское тело —
танцплощадка чертей*

*из пещер высыпаят
когда Бог уже спит
и на снег просыпают
треск веселых копыт*

*а душа как невеста
(не солгал эталон)
в ней на булочку теста
остальное — нейлон*

*зябко ежится шуткам
и боится огня
(от таких — к проституткам,
все на свете кляня!)*

*онемевшей рукою
не доплыть до пера
нас по-прежнему двое
как при жизни вчера*

*я и я и еще я
понемногу везде
воспаленные щеки
растворились в воде*

Парило. Хотелось ливня, и не просто хотелось, а дрожало внутри всеми фибрами, звенело всеми натянутыми струнами навстречу стихии, которая так или иначе вот-вот грянет, так уж лучше скорей... Будто по-мазохистки предвкушалось уже, как хлестнёт мокрыми ивными струями по лицу, — крепкая, вовремя вlepенная пощёчина, иногда может молниеносно привести в чувство. Во всяком случае, я бы рекомендовала такой нетрадиционный метод лечения депрессии тем, кто легко разнюнивается и перестаёт делать дело. Лучше всего просто подойти к зеркалу, увидеть свою отвратительную, землистых оттенков, унылую физиономию, и — вмазать по ней, собрав все силы в кулак...

Но в большом, как каток, зеркале были видны одновременно все обитатели чердака, чьи отражения могли бы обидеться на столь есенинский жест и заподозрить во мне «чорного», в каких-то других кавычках или попросту через «ё», а не интеллектуальное «о», не совсем адекватного человека...

...Утро просыпалось медленно, с хрустом костей и шорохом целлофана, потягивались, завтракали, словом, всё, как обычно, точнее, как стало уже привычно...

В 10.00, согласно никем не предписанному, но образовавшемуся самим собой распорядку, скучивались возле названной так мною «стены плача», примыкающей к двери администрации, и читали, привстав на цыпочки, пытаюсь перепрыгнуть глазами через плечи первых и третьих, только что прикнопленный список... В коем были перечислены отбывающие сегодня по неизвестному никому и, в первую очередь, им самим, всегда одинаково пугающему новому адресу. (Быть может, так же замирала душа в прозрачном тельце, в проступившем рыбьем скелете, который переправляли, скажем, из Освенцима в Заксенхаузен, или — наоборот... Человек постепенно принимает форму окружающего его кошмара, и другой, ещё не знакомый, предстоящий кошмар кажется ему не таким комфортабельным)

Список читали с замиранием сердца, и каждый, кто не нашёл там свою фамилию, победоносно взглянув на лица «приговорённых» или ещё не осведомлённых об уготованной участи, отходил не торопясь, с видимым вздохом облегчения... Ибо судьба в лице всё той же вьетнамки и её вечно пьяной помощницы местных кровей подарила ему ещё один день

покою: несколько часов хвастливого каляканья в знойном дворе (почему-то все собравшиеся здесь были, по их собственным отзывам, в той, предыдущей жизни, «крупнейшими» и «ведущими...») и ещё один поход в местный дешёвый магазин «Альди», где, к слову пришлось, нещадно обсчитывали, так что получалось в итоге едва ли не дороже, чем закупиться в более уважаемой — и уважающей своих клиентов фирме, например, в «Нанц». Хотя нарисованные там цены — по сравнению с кормушкой для бедных — выглядели двойными... Но чтобы не просто щегольнуть всуе английской поговоркой «мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи», а полностью осознать её правоту, советскому человеку нужно созреть...

Период моего личного созревания завершился только недавно, очевидно, соразмерно всегдашней опасливой нищете (я не была никогда ни «крупнейшей» — метр пятьдесят семь, пятьдесят четыре кило, ни «ведущей» — водила только сына в детсад, и даже мой единственный подчинённый — кошка — меня часто царапал), поэтому я продолжала посещать «Альди», и остаюсь ему благодарной за полученные там вместо положенной сдачи уроки немецкого языка... Именно там, а не позже, на языковых курсах, сдала я свой первый экзамен...

Когда мне недодали в кассе уже 40, а не как накануне только 10 или 15 марок, из меня вдруг посыпались, вместе с выворачиваемыми обратно из тележки продуктами, немецкие слова... Они клокотали в горле и выпрыгивали, одно за другим, на движущуюся, асфальтового цвета, дорожку, устье которой находилось возле жирных, с чёрными обломанными ногтями, пальцев, один из которых с неожиданной для него ловкостью клевал с машинки, очевидно, понравившиеся ему цифры... Монолог быстро захлебнулся сам в себе, не только от явной нехватки слов, но ещё и по причине неопытности моей в этом жанре, именуемом в просторечьи скандалом; тем не менее, кассирша, видимо, прониклась, потому что швырнула-таки в сторону моего лица четыре соответствующего значения бумажки и с тех пор больше не обижала...

Это была весьма существенная новость: здесь, где не нужно стоять в очереди, надо уметь постоять за себя... Надеяться в капиталистическом мире на чью-то совесть — это всё равно, что, прогуливаясь без ружья по животрепещущим джунглям лазурного океана, уповать на совесть встречной акулы.

Забегая вперёд (только бы кончилась когда-нибудь эта повесть временных лет о переезде на постоянное место жительства...), забегая не очень-то далеко вперёд, поспешу рассказать ещё об одном уроке (вдруг кому-нибудь пригодится в качестве опыта...), после которого я, наконец, обрела дар речи, причём, речи и чужой мне, и чуждой: немецкой по форме — и требовательной по содержанию.. Это случилось, когда обстоятельства (не экстремальные, в жизни только одно экстремальное обстоятельство, это — смерть...), но, мягко говоря, щекотливые, вытряхнули меня из привычного, как неприметный, дождливого цвета, драповый пальтукан, всегдашнего моего комплекса виноватости, притом, явно усилившегося в Германии, где тебе платят, получается, за то, что ты — еврей. Как будто «еврей» — это какая-нибудь нужная и полезная профессия...

Произошла эта история месяца через четыре, в столице земли Штутгарте (у раздробленных некогда государств сохранилась феодальная мания своего обособленного величия, перекинувшаяся теперь и в Россию), в

неприметном городе Штутгарте, где автор этих сердитых мемуаров живёт и по сей день, и живёт, вопреки собственным ожиданиям, счастливо (но ещё, к ещё большему своему счастью, не настолько счастливо, чтобы всё к чёрту бросить и рвануть, по обыкновению, куда-то в другое место, где опять будет принизывающе и восхитительно скверно...).

Мы уже ходили каждое утро на языковые курсы и ждали, наконец, не унижительной социальной помощи, а стипендии от биржи труда. Ждали месяц, ждали другой...

Но когда в кошельке тихо, деликатно всплакнули последние пфенниги, надо было уже побеспокоиться... И я нанесла решительный визит в огромное здание, именуемое «Арбайтсамт». В этой цитадели тишины и порядка тысячи служащих с одинаковыми водянисто-студенистыми глазами сидели за плотно закрытыми дверьми и смотрели в слепые квадраты мониторов. К одной из таких дверей я и заняла очередь, выяснив, кто войдёт следующим, потому что здесь не принято спрашивать, кто последний... Последним быть не хочется никому, и, вероятно, по причине немецкой заносчивости в обиходе отсутствует эта наиболее точно выражающая суть вопроса форма вопроса.

Впрочем, мне было тогда не до филологически-психологических тонкостей... В ответ на моё нечленораздельное бормотание (кстати, иностранцы, гладко владеющие языком, говорят слишком членораздельно, по этой излишней правильности всегда можно распознать Штирлица), — я опять отвлеклась, а нужно же когда-то покончить с этой неприятной историей, — так вот, видимо, всё же уловив из моего неподражаемого мычательного блеяния главную мысль, потому что слово «гельд» понимает здесь каждый, даже младенец, а тем более, государственный служащий, последний посоветовал мне пойти «нах хаузе» и ждать письменного ответа... (Как будто я не ждала его уже 61 день...)

Я ещё понятия не имела о типичных приёмах немецкой бюрократии, отработанных в ежедневной борьбе с посетителями: они как бы не слышат вас, никаких ваших разумных доводов, как бы изысканно вы ни изъяснялись, а смотрят сквозь вас, как сквозь стеклянную дверь, обнажая в улыбке безупречные фарфоровые клыки, и повторяют, как для полуглухих или для полных идиотов: «Вартен Зи битте, вартен... Пер пост, пер пост!...» Но поскольку я точно знала, что хлеб «пер пост» не придёт, и не понимала (этого я не понимаю и сейчас, и не пойму никогда), почему нужно исхитряться превращать благодеяние в муку, в пытку, в казнь унижением, этот мудрый совет меня не удовлетворил...

Правда, прежде, чем мы с Вами, читатель, перейдём в следующий кабинет, мне бы хотелось добавить для очистки совести, не во имя литературы, но справедливости ради, что в то время служащие всевозможных учреждений ещё не получили инструкций, как надо обращаться с евреями из России, и приравнивали нас то к бесправным асюлянтам (перебежчикам через границу под видом туристов), то — к полноправным аусзидлерам, эмигрантам из той же России — но немцам, приехавшим на свою историческую родину. А без инструкции чиновник, сами понимаете... Тем более, немецкий чиновник... Вскоре неразбериха с документами прекратилась, и евреи стали контингентом «флюхтлинг», то есть, навсегда полуправными, если так можно выразиться, а выразиться можно, увы, только так, полуправными жителями Германии... И ещё я пойму, что тысячи ра-

ботающих бездельников, пропускающие через себя бездельников безработных, все-таки хотят — не хотят, а делают полезное дело, постоянно перепроверяя друг друга и донося по начальству... И что вполне возможно эта история, отлежавшись в одной из тысяч канцелярских папок, рассосалась бы впоследствии сама собой, как беременность...

Но в литературе то, что объективно, то, как раз, совершенно не интересно, и читателю будет гораздо любопытнее узнать, что в голове у меня замигали тогда, как в приборе, тревожные вишнёвые лампочки: «Надо найти директора!»...

Ну да, по-немецки директор — тот же директор, только «херр», «где» — «во», но попробуй найти этого ...нет, нет, вы не так подумали... господина в учреждении, похожем на город, с десятками проулков и закоулков...

Служащие, у которых я пыталась спросить, издевательски ухмылялись...

Здесь я отвлекусь ещё раз, но, честное слово, уже в последний, — воспоминания о первых днях накатывают, как снежный ком — в горло, — немцам свойственно испытывать странное удовольствие от того, что кто-то другой оказывается вдруг в неприятной ситуации. Даже на улице, если, поскользнувшись, вернее, оступившись, потому что поскользнуться здесь при всём желании не на чем — улицы тщательно очищаются от дождя и снега, споткнувшись нечаянно, человек неловко падает, вокруг него сразу же смыкается отвратительный хохот. В следующую минуту те же веселящиеся кретины помогут ему подняться, вызовут, если надо, «Скорую», наконец, сами доставят домой, но эмоциональная реакция номер один: наслаждение чужой бедой и беспомощностью...

Вообще боюсь, что, приехав в Германию, я её потеряла; или той, придуманной мной ещё в юности, шизоидной, как мокрая лиловая охалка сирени, Германии нет и не было никогда, или она куда-то от меня отдвинулась, спряталась, не желая видеть ни моего хайма, ни арбайтсамта, ни меня вместе с ними... В таком случае я её понимаю...

Наконец, пройдя, как сквозь строй, — сквозь ухмылки и смех, остановилась. Мелькнуло: надо потихоньку пошущукаться с какой-нибудь из уборщиц... Малые мира сего любят вершить судьбами из уголка своего скромного положения. Опыт ещё не научил меня, что здесь и на уровне половой тряпки интриги такие тонкие и ядовитые, что куда там нашему самому центральному конструкторскому бюро или отделу культуры при исполнении... Наоборот, мэр, хозяин города, или канцлер, начальник страны, могут себе иногда позволить быть порядочными людьми. Их за это уже не съедят. А чем ниже — тем гуще и человеческая низость, канцерогенные вещества и существа на дне общества...

Но мне повезло! Одна дружелюбная швабра, действительно, указала мне нужное направление, на скрытую от посторонних глаз лестницу, на самый верхний этаж...

Нажав кнопку, я замерла в ожидании, и через несколько десятков сердцебиений до меня донёсся громкий барственно-механический баритон — как из космоса в фантастических, прежде всего по своей глупости, голливудских фильмах... Понятно, что он осведомлялся, кто там посмел ЕГО потревожить.

Вдруг испугавшись, что сейчас, как всегда, начну запинаться, и дверь не откроется, именно от испуга, громко и покровительственно произнесла свою фамилию так, как будто он обязан был её вспомнить...

Кажется, это он и пытался сделать, потому что уже менее уверенно спросил:

— Фон вэм зынд Зи гекоммен? — От кого Вы, стало быть, пожаловали?...

И тут я набираю полные лёгкие воздуха и выпаливаю по-немецки:

Исхь комме фон мир. Дас ист нихт цу вениг!... — От себя самой, значит, и считаю, что этого более чем достаточно...

Сезам — открылся...

Я проскользнула сквозь тяжёлое дыхание анфилады (в государственных учреждениях используется система соединённых между собой кабинетов, наверное, для того, чтобы служащие могли друг за другом шпионить, а то и кидаться всей толпой на одного слишком докучливого посетителя), и, наконец, какой-то безликий, как все они, но запомнившийся, потому что ещё и безрукий, явно ещё не директор, но уже кто-то из заместителей заместителя главного заместителя выслушал мою печальную повесть и потребовал по селектору папку...

История наша распутывалась, надо сказать, около часа, как увлекательный детективный сюжет. Оказалось, что от социаламта (собеса, по-нашему) пришло некое письмо, в котором уведомлялось, что херр такой-то, являющийся моим супругом, взял у них ни много ни мало, а ровно 3 (три!) тысячи марок, вроде бы в долг. И поэтому арбайтсамт должен переводить деньги на социаламт, а не нам...

Это был бред сумасшедшего или, что более вероятно, какая-то афёра, какой-то междусобойчик учреждений, где что-то всё-таки не сработало, какая-то ниточка подвела, потому что вообще без денег в Германии не остаётся никто, даже распоследний бомж на вокзале; и это — великое достижение ругаемого на всех улах, точно так же, как и в России, правительства. В России бы, правда, такое правительство расцеловали, и не только бомжи... А уж что социаламт — не соседка, и таких денег за здорово живёшь никому не одалживает, было ясно даже арбайтсамту в лице моего постепенно всё более просыпающегося собеседника. У него даже лицо на минуту появилось, выглянуло из-за формуляра: да что же это в самом деле такое...

Это была сокрушительная победа. К начальнику социаламта, извивающемуся возле стола ужом, я ворвалась фурией и потребовала объяснений...

Он лепетал, что, мол, зачем было сразу к шефу, такой занятый человек, а лучше бы сразу к нам, мы бы денег дали, да и сейчас — пожалуйста — можно сразу эти... три тысячи...

Неожиданно для самой себя я вдруг окончательно выскочила из серенькой заячьей шкурки собственных комплексов и потребовала письменного извинения; а деньги, мол, пусть придут, откуда положено...

Самое удивительное, что извинение уже на завтра было получено «пер пост», напечатанное на бланке с печатью и заверенное подписью «ужа», который глубоко сожалел о недоразумении и больше претензий к моему «херру» не имел...

Вот с тех пор я и «зашпрехала», зачирикала без остановки, будто заика, с которого шоком сняли стресс... И ещё долго болтала бойко, пока не поняла, что всё равно это — детский лепет, и, хотя немцы то и дело нахваливали мой язык, наконец, угрюмо замолчала как раз тогда, когда и вправду пора было заговорить... Глупые и пошлые собеседники опротивели, а с единственным не глупым и не пошлым пути наши круто разошлись...

Но это уже будет совсем другая история, когда-нибудь в следующий раз, потому что отсюда до неё ещё год, ещё переезд в столицу земли, за решётку, на свой собственный страх и риск, причём, более всего — на страх...

Я окончательно поняла, что нам не избежать деревни, куда уже отправилась семья профессора-диссидента (и откуда потом два года, с четырьмя переездами, выбиралась в любой город, где есть университет и больница...)

Проводив самых близких нам, хороших людей (многие вокруг плакали, мои же глаза в таких случаях становятся сухими, как лезвия...), мы с Костиком на следующее же утро отправились в Штутгарт и уже через час стояли на голом дворе, между жутковатых бараков, голова кружилась от тошнотворных запахов кухни на двадцать или сорок, это уже почти без разницы, обгорелых конфорок, от кучи в коридоре, о которую мы споткнулись (кто-то из проживающих здесь азылянтов не умел или не хотел, в знак политического протеста, пользоваться туалетом), негров было — как черники на августовской полянке у нас под Сосново (хоть на один денёк бы — снова туда, воспалённой щекой — в мокрую зелень с крупными, бриллиантовыми каплями холодной минеральной росы...); завершала же этот, согласитесь, весьма экзотический ландшафт в центре Европы, вернее, открывала его, но мы от волнения не сразу заметили, решётка при входе во двор с вахтёром — надзирателем, словом, не лучше тюрьмы. И мы твёрдо решили здесь остаться...

Интересно, что ни в одну из двух имеющихся у нас голов даже не пришлось спросить о двух отдельных комнатах, по комнате — на семью, мы просто не могли больше с теми, — другими, со всеми вместе, и через пятнадцать минут вылетели от начальника этого человеческого зоопарка совершенно счастливые, заполучив огромный, как нам казалось, метров тридцать чердак, поделённый пополам двумя сломанными шкапами... Это был в нашем понимании настоящий дворец.

Я не знаю, что подумал о нас тогда этот симпатичный и доброжелательный комендант... Скорее всего, что-то не совсем приличное, хотя здесь, очевидно, вполне привычное...

Нам же было, как вы понимаете, совсем не до группового секса...

ОТЧАЯННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

(Исполняется под гитару и без «Калашникова»...)

*Господин Жириновский, ведите народ на Рейхстаг:
Вас заждались евреи, имперскою милостыней сыты...
Всех их орднунов лживых порядочней русский бардак
И пушистые наши домашние антисемиты...*

*Вот услышат и скажут: натюрлихь, агент КГБ...
Нет, противник и жертва, а всё же — былинка России..
И, представьте себе, был поэт абсолютно в себе,
И не прочил себя ни в министры, ни просто в Мессии...*

*Не вожди, а дожди — мы идем сквозь пустыни столиц.
Серебристая речь на устах заскорузлых блистает.
Мертвецы петербургские с жёлтыми звёздами лиц,
Нас по свету несёт — нас во тьме беспросветной мотает...*

*Господин Жириновский, пока как рождественский гусь
Вы лоснитесь над водкой, из рук уплывает работа...
Вот бы ухарям вашим — да наши стихи наизусть!
(А в Отечестве горьком попробуй сыщи патриота...)*

*Я не то что бы Нестор, но, может, последний Катулл.
Говорю Вам: пора! В третий раз им пощады не будет!
Кто же в гости зовёт — и несёт электрический стул,
И считает чаинки в поставленной гостю посуде...*

*Я не верю глазам, выделяющим слёзы в кино...
Кто законопослушен — послушен любому порядку.
Это было давно, а, мне кажется, вижу в окно:
Аккуратно побрившись, убийцы идут на зарядку...*

*Мне бы только успеть раздобыть для друзей самолёт...
Фауст, бросьте парик, — их давно уж не носят на Невском...
Зонтик, доктор Энштейн, можно взять: там чудовищно льёт
И чудесно — как Ницше с его хирургическим блеском...*

*Я вам всё покажу, мы пропустим портвейна глоток,
Прогуляемся молча по дивному Летнему саду.
Жизнь — не теннисный мячик, а нити волшебной моток:
И встанут мертвецы, и печально целуют ограду...*

*Господин Жириновский, ведите орду на Рейхстаг, —
Вы ж давно похвалялись, и парни не прочь поразмяться...*

*...Мне б отправить письмо, подписав — «Политический враг»,
Да боюсь, что друзья не успеют с анмельдунга сняться...*

*Кто ж в послушной стране им позволит с анмельдунга сняться,
Предложив беглецу — над своей головою — чердак...*

...И случилось невероятное. Бережно, будто боясь расплескать, будто живую воду в ладонке ковшиком, несла я серебряно мерцающий (там, где ещё не сожрала ржавчина), ключик от нашей, только нашей, и ничьей больше комнаты.... Тане же с Костиком (мы ещё не успели их усыновить, а они нас — развратить...) был вручён другой, точно такой же, так же сверкающий, и все мы сияли, как будто выиграли в лотерею по автомобилю... (Должна сказать, что на рекламных проспектах обладатели везучих билетов вовсе не выглядят одуревшими от счастья, во всяком случае, от счастья... Все они чем-то похожи на близких родственников устроителей лотереи... Заметили, — как какая-нибудь ложь или пакость, так, всенепременно, родительный падеж, генитив? — Вот и там, дома, — я всё ещё думаю про «там» как про «дома» — «Известия советов депутатов трудящихся...»)

Верша литургию, творя давно забытый обряд, проворачивала я свой волшебный ключик в замочной, похожей на миниатюрный женский теневой силуэт, скважине, вот ещё несколько последних пьянящих градусов и...

В глазах у меня потемнело... Но не от пережитого волнения, а от какой-то посторонней спины, внезапно выросшей между нами и нашей, только нашей, и ничьей больше комнатой... Отодвинув нас несколько переспелым, но ещё крепким, способным к борьбе, торсом, как выяснилось позже, соседка слева, из Львова, втиснулась в образовавшуюся при открывании щель и встала в дверях...

«Ну, не больше, чем у меня», — удовлетворённо выдохнула она, измерив взглядом открывшиеся ей, а не нам, апартаменты, и, наконец, посторонилась...

Волшебство исчезло. Ибо оно всегда есть не что иное, как ощущение его невидимого присутствия...

Я поняла, что мы здесь не одни, что хайм уже начал наполняться всеми нами, евреями, (поющие же и танцующие по ночам негры постепенно куда-то исчезали — над ними витало незнакомое мне слово «трансфер» — я ещё не летала в Россию через Будапешт и не знала, что это — транзит, но негры пели уже не так радостно, уже вроде бы плачуще, как евреи в знаменитом цыганском театре «Ромэн»...), и ещё мне стало сразу же ясно, что ни от соседей, ни от тараканов не спасут даже крепостные стены: и те, и другие вскоре поползли, кто — в дверь, кто — под дверь, целыми семьями...

Тем более, не могли защитить нас эти стены, фанерные, исписанные бранью наших предшественников на английском и югославском, весьма относительные стены, одна из которых, всегда влажная, примыкала к уборной, и вскоре я уже могла точно сказать по доносившимся оттуда увертюрам, а также по интенсивности и силе дёрганья верёвки над унитазом, кто посетил примыкающее помещение, — так люди, наделённые тонким музыкальным слухом, по первому содроганию клавиш узнают композитора...

Но внешние шумы, к которым я, вынуждена, увы, по причине своей постыдной неударённости, относить и музыку, мне, в общем-то, не мешают. Потому что обращены не лично ко мне, а в космическое пространство...

Другое дело — соседи, которые почему-то воспринимают твою комнату как близлежащий «амт», призванный отвечать на интересующие их вопросы.

Они как будто не видят разделяющей нас стены, а если вдруг ненароком на неё натыкаются, то обижаются, что ушиблись... Нет, ей-богу, надо бы завести овчарку, тогда, может, на этих тринадцати метрах на троих станет свободней...

(В этом общежитии, вопреки существующим правилам, вольготно ютились и четвероногие эмигранты, что примиряло меня с присутствием их вечно грызущихся хозяев...)

Так, начиналось...

Соседка справа, разумеется, из вездесущих Черновиц (здесь и везде сначала я указываю расположение комнаты, а потом уже — родины, потому что меня, как вы понимаете, больше беспокоит первое обстоятельство, а в тех же Черновцах родилась и поэтесса Роза Ауслендер, а не только баба Валя, как её все называют, потому что иначе как-то и не назвать...) так вот баба Валя, собственной, как говорится, персоной... Кулак ещё тре-

бовательно бомбит дверь, а всё остальное тело уже расползлось по комнате и дышит у меня за спиной:

— Посмотри, какое я мясо достала, просто красавица!

И эта «красавица», которую тут совсем не надо доставать, добывать, выстаивать, что лишит в конце концов многих приехавших смысла их жизни, и они начнут вдруг чахнуть, вянуть, морщиниться, а то и помирать не на шутку, эта «красавица» уже пласталась на моём новеньком учебнике немецкого языка, отвратительно мочась кровью...

Я думаю, что и в еврейской религии, как и во всех прочих, изначально был какой-то определённый смысл. Скажем, женщина в период менструации считалась «нечистой» и не должна была посещать синагогу. Правильно. Потому что памперсов тогда ещё не изобрели, и священная скамья могла стать похожа на мой учебник... Где, между прочим, слово «die Periode» (после первой победы над Германией я уже начала осмеливаться выражать немецкие слова гриммовскими буквами) относится именно к этому неприятному явлению. Поэтому когда один мой знакомый произнесёт в приличном немецком обществе (поначалу все немецкие общества кажутся приличными): «Ich habe eine gute Periode», имея в виду подъём своей жизненной активности, по тонким арийским губам проползёт ядовитая усмешка...

Но до общества, даже не слишком обременённого условностями, ещё далеко, man muß lernen... Пока что мой собеседник — подвыпивший и тогда — разговорчивый хаузмастер. Интересно, что это ничем не примечательное слово, обозначающее ничем не примечательную должность: что-то вроде дворника, электрика и сантехника в одном лице, обрусело одним из первых, стало восприниматься как родное. (Не оттого ли и потекли потом наши «технари», в том числе, и мой, самый основательный из всего окружения, друг, превосходящий по тонким линиям душевного чертежа даже Костика, ещё не перебесившегося и порядком избалованного в академически-привольной семье, не потому ли и поустраивались, один за другим, именно в хаузмастера, что легко свыкались с этим домашним словом... А какой у них, собственно, был выбор: проектировать самолёты им бы здесь всё равно никто не позволил, да и есть в этой работе, действительно, нечто притягательно-ностальгическое, если не в ней самой, то в её аксессуарах...)

В нашу первую встречу хаузмастер выдал мне измочаленный веник с таким точно совком, какой подразумевают некоторые выметающиеся из страны Пушкина и Достоевского соотечественники, когда говорят о других своих соотечественниках; затем последовали три белые советско-столовские тарелки, на каждый рот — по одной, а также, в таком же комплекте, гнутые алюминиевые вилки и ложки, совсем не скользкие от жира, который почему-то всё же казался, мерещился, клеился к их виду... На этом сервиз был исчерпан, и я расписалась за солдатские дерюжные одеяла, видимо, антикварные, потому в Германии сейчас таких днём с огнём не найдёшь, даже на помойку выбрасывают обычно пуховые или яркие, в цветочках, собачках и кошечках (немцы любят изображения животных — они им не мешают и кушать не просят), тоже своего рода синтетические «красавицы», которых у бабы Вали накопилось уже ровно 13... (Каждый вечер, ложась спать, она разрушала эту знаменитую на весь хайм башню и переносила сооружение со своих нар

в угол комнаты, если позволяли собранные за день на улице мешки с одеждой. А если угол был уже занят до потолка, — спала так, без удобств, по походному...)

Тут мы должны на минутку отвлечься, потому что забыли бабу Валу у меня в гостях, а на самом деле она давно уже удалилась с обиженно поджатыми губами, потому что на сей раз нанесла визит не только из-за мяса, но и по причине маленькой житейской просьбы, а именно: написать в синагогу и в правительство, что её родственница, проживающая здесь же, по этому самому адресу, не была в гетто, хотя получила за это кругленькую сумму немецких марок, а купила нужную справку на базаре... Такой некрасивый термин, как «донос», бабе Вале явно не понравился, и она отвалила во двор, где уже жаловалась на меня своей — той самой — родственнице...

Что, впрочем, не помешает ей скоро прийти опять, чтобы продемонстрировать (а то и подарить) новую — из тех же неиссякающих источников — кофточку...

Справедливости ради вынуждена добавить, что вина тут не столько её, и не столько всех остальных содомцев (...), тоже считавших своим долгом «отметиться» у меня с каждой новой добычей, виновата была сама моя комната, вернее, её расположение: по несчастливому стечению обстоятельств дверь наша находилась при входе в коридор с лестницы, в двух шагах от кухни (это была вторая стена) и мы всегда оказывались первыми, с кем хотелось морально поделиться шпермюльным «уловом», а потом можно уж и на пищеблок с мешками одежды, креслами, телевизорами, потому что уж где-где, а там всегда кто-то есть...

Так вот добродушный хаузмастер, а также спящий в будке вахтёр, и стали моими собеседниками, хотя, слушая их, трудно было не вспомнить анекдот: «Мань, а, Мань?» — «Ну, чего тебе?» — «Мань, а, Мань?...» — «Уговорил, речистый...»

Эта дружба оказалась полезной и в другом отношении. Во-первых, я узнала, что, если бы вахтёр не выбросил только что свой телевизор — и вправду, зачем ему три, — он бы его обязательно подарил мне, что, согласитесь, уже приятно...

А во-вторых, но давайте сначала уж я дорисую общую картину, открывающуюся тому, кто входит сюда впервые, как один американский фотокорреспондент, которого, говорят, выдворили с полицией...

Два дома в архитектурном стиле барацко, смотрели друг на друга в упор, разделённые всего несколькими метрами. Между ними деловито курсировала крыса, подметая длинным хвостом то, что не домёл хаузмастер. Думаю, что это была та самая, наша крыса, которая жила в непросыхающей душевой со сломанным крючком, этой крысы всегда стеснялся инженер из угловой комнаты, потому что она садилась на подоконник и наблюдала во все красные бусинки, как он моется. Один раз он, узнав меня по шагам, даже попросил позвать жену с полотенцем и прогнать извращенку... Словом, мне было почему-то приятнее думать, что никаких других крыс у нас не живёт, хотя если бы вдруг на свет вышли все разом, я могла бы, наверно, эту и не узнать... Так вот, два дома жили, как сообщающиеся сосуды, одной жизнью, потому что общительным обитателям вскоре перестало хватать только ближайших соседей, и тут пора рассказать ещё об одной стене нашей комнаты...

Это была главная стена, с окном, под которым гудела гармошка теплоцентрали. Да, да, пела на разные голоса и дышала жаром, очевидно, помогая августу, прогревающему воздух только до тридцати градусов. Чтобы не томить читателя дальше, а то он, того глядишь, и расплавится, поясняя, что здесь когда-то отломался регулятор, и впоследствии хаузмастер нам его установил (вот и пригodiлось хорошее отношение), очевидно, сняв в другой комнате, у кого-то из новеньких. Так что по этому поводу — никаких претензий, в ноябре мы могли уже смело отключать отопление...

Вот только со стеной опять не повезло. Моё окно смотрело прямо в комнату дома напротив (занавески у хаузмастера кончились, а на помойку их, как назло, не «завезли»...), и у меня перед глазами маячил идиот. Он был не злой, дружелюбный идиот, он бессмысленно улыбался утру, дню, вечеру, и — соответственно — мне... Только оторвёшь покрасневшие глаза от учебника — и упираешься в эту блуждающую улыбку... Однажды как-то, наверное, от усталости, прошибло холодным потом: почудилось, будто смотрю не в окно, а в зеркало, и улыбаюсь...

Я бы почти с нежностью вспоминала об этом штутгартском хайме, как о последнем островке социализма, каких и в России-то уже, верно, не сыщешь, если бы не видела в нём памятника Немецкого Отношения к Немецам...

Не случайно прижились здесь в прямом и переносном — наверх — смысле нары, (вызывающие у меня совершенно определённые ассоциации), а благодаря своей железной практичности...

В общем, уже через пару недель возвратился ко мне синдром стремительного закрывания глаз при пробуждении: а вдруг всё это исчезнет, вдруг я окажусь в своей уютной ленинградской квартирке... (Двадцати лет от роду поняла, что никто никогда ни папе с мамой, ни, тем более, мне ничего не даст, что перенесут нас всех по очереди на кладбище прямо из нашей коммуналки, и, одолжив у родственников, кто сколько мог, вступила в первую затаённо-капиталистическую организацию в России, что-то вроде масонского клуба: жилищно-строительный кооператив; как раз накануне отъезда все взносы были выплачены, и теперь — кошке под хвост...)

Хорошо кошке... Вряд ли она охраняет вмятину от моего тела на ободранном её маникюром старом зелёном диване, скорее всего, уже облизывает благодарно чужие руки своим шершавым розовым язычком, который гуляет после очередного лакомства от уха до уха... Не зря же говорят «еврейское счастье» и «собачья жизнь», а о кошкиной национальности я ничего такого неутешительного не слыхала...

Кроме всего прочего мне не хватало и этой лениво изгибающейся оранжевой синусоиды на столе, на бумагах или среди тарелок, всегда перед самым носом. Она знала, эта усатая мадонна, что ничего изящнее кошки на свете нет и быть не может, она даже зевала красиво, раскрывая свой львиный зев, как одноимённый цветок, прямо в лицо выбранному ею же собеседнику... Кошку не берут на руки, это невежливо, она приходит сама...

Тщетно. Надо заставить себя встать. В окне, как и вчера, как уже два нескончаемых года подряд, — идиот...

У идиота были старенькие мама и папа, они называли его Васей, водили гулять за железную решетку, покупали лакомства. Вряд ли Вася отличал колбасу от банана, но он чувствовал, что его любят, и ему было хорошо...

Нехорошо было маме, диабетчице, живущей Васей и ещё инсулином,

от инъекции до инъекции, не имеющей ни сил, ни нахальства осаждать квартирное ведомство; она просто заполнила аккуратным почерком учительницы английского все нужные формуляры и терпеливо ждала, когда же подойдёт её очередь на социальную квартиру... Но жизнь показывала, что двух инвалидных удостоверений на семью из трёх человек, видимо, недостаточно, наверное, те, что переселяются в квартиры, имеют шесть...

Ждала и парализованная переводчица с немецкого Вера, которую ежедневно вывозили в коляске во двор подышать примыкающей к забору фабрикой стёкол и цементной пылью близлежащего комбината. Жили они втроём в одной четырёхместной, чуть было не написала, палате, и всё время боялись, что им ещё кого-то подложат, то есть, поделят...

У нас тоже накопился ворох медицинских бумаг, детский врач недвусмысленно предупреждал, что сыну смертельно опасно находиться в зоне детских инфекций (а инфекции густо порхали по двору на слюдяных крыльшках жирных чугунных мух), и даже увенчал свою справку восклицательным знаком, чтобы обратить на неё внимание равнодушных к сути, но чутких к бюрократической пунктуации чиновничьих глаз...

Все мы сидели и ждали, и почти что не жили, а ждали, с замиранием сердца подходя каждое утро к маленькому окошечку возле оградки, из которого нам, как в больнице — кашу, выдавали свежую почту...

Её вручение приобрело ритуальный характер, один серого цвета прямоугольник (все уже знали, как он выглядит: в меру упитанный — листа на три, сложенных втрое, длинный, с отчётливым штампом «Amt für Wohnungswesen» в левом углу) мог в одно мгновение, нет, не изменить твою жизнь, её всё ещё не было, а вернуть тебя к ней, вырвав из томительного ожидания, которое жизнью назвать нельзя...

Немцы, даже знакомые, квартир эмигрантам не сдавали. Это часто оговаривалось прямо в газетных объявлениях, что меня удивляло, особенно после поездки в Америку: там бы такая информация выглядела как неприкрытый (и наказуемый государством) расизм...

Люди сгребали свои письма, подозрительно косились друг на друга, пытаясь заглянуть получающему через плечо; выдавая желаемое или показавшееся за действительное, распускали слухи, ссорились, кричали, иногда дрались сковородками, словом это были уже не совсем люди, и только ли они сами в этом виновны...

А немецкий «Ordnung» всё же начал тем временем функционировать, только срабатывал он каким-то странным способом, что приводило двор в ещё большую нервозность...

Первой покинула хайм семья крепкая, ладная, боевая, глава которой, жена, заведовала в своей предыдущей жизни ювелирным магазином. Злые языки поговаривали, что часть червонного черновицкого золота перекечовало на пальцы чиновниц, но, если даже это было и так, то вряд ли добавило им обаяния...

Автор же должен одинаково любить всех своих героев, в том числе, и прозванного во дворе «паном спортсменом» здоровяка с арбузными бицепсами, месяц назад вдруг выгрузившего из автобуса с Украины новую жену, через неделю наставившего ей лиловых слив под глаза (утром они окончательно созрели, и она немножко комплексовала), а ещё через две недели радостно покупавшего для неё и для новой социальной квартиры бесподобное, по словам бабы Вали, турецкое трюмо, всё — в гипсовых ангелочках.

А идиот ждал... Ну что ж, на то он и идиот...

То есть, всё это было бы понятно, если бы социальные квартиры не предназначались изначально для старых и хворых. В таком случае было бы всё совершенно логично: кто умеет устраиваться — тот и на службу, при любой безработице, проползёт, вломится, просочится, и, значит, станет полезным членом общества. А кому же ещё должно государство помогать, если не своему активному члену?

И ведь тоже логика, и, признайтесь, знакомая: слабых — в пучину: сбрасывать, как никчемный балласт с корабля...

Не зря же, например, преподавателям социалистической экономики министерство немецкого просвещения подтверждает дипломы и научные звания, и правильно: их можно быстренько передрессировать и переадресовать на капиталистическую экономику, в которой всё так же, хотя и, почему-то, наоборот... А, например, недовольного Гулагом диссидента не переучишь, он и здесь будет чем-нибудь недоволен, ещё и воду мутить начнёт... А кому это и здесь, спрашивается, нужно?..

Скажу вам по секрету, что, весьма вероятно, и там, где мы все рано или поздно встретимся, первыми получают всё то, что полагается для загробной жизни, те же самые люди...

Потому что и у Господа Бога могут быть свои «амты», которые докладывают ему, что все живут в раю и славят денно и нощно его самого и его мудрую политику...

...Нет, надо было всё-таки попытаться застрять в Лондоне...

* * *

*Я вспоминаю Тауэрский замок,
где ворон, переваливаясь, брел:
полуиндюк — полуорел...
И мудрый — в отдалении от самок...*

*Мне есть что вспомнить — можно уходить,
забрав с собой нехитрые пожитки:
под веками — две дымчатых открытки,
Нева и Сена, сросшиеся в нить...*

*А то, что не охотилась на льва —
так это мне и Бог не разрешает;
и умереть нисколько не мешает...
Да и своя дорожка голова...*

*А то, что рикшу брать не довелось,
и вдоль стены китайской не гуляла, —
переживем...*

*Там тоже есть немало,
что поглядеть...
Что в Этой — не сбылось...*

...Нельзя сказать, что вокруг вообще ничего не происходило, что жизнь как бы остолбенела, обретя форму камня, поставленного на камень, неотёсанного — на мраморный пьедестал, с металлической надписью «Ожидание Ангелота»... Для современной скульптуры это было бы, смею добавить, слишком мотивированно, почти старомодно, что-то вроде пережитков дедушки Пикассо...

Муж, отдать ему должное, встрепенулся первым и затормозил меня, радостно узнавая на стенах слово «Kultur» и требуя перевода, что же там, в афише, дальше написано... Я медленно наливалась раздражением ещё и по этому поводу, так как терпеть не могу разговоров о «духовности», по которой так любят «тосковать» демагоги и дилетанты; по мне — лучше полное отсутствие картин и спектаклей, чем их досужая провинциальная имитация. Сидеть вечером в абсолютно «бездуховной» кнайпе, тянуть своё остужающее мозг, янтарное на просвет пиво и наблюдать из притемнённого уголка других посетителей — не больше ли в этом искусства, чем вежливо аплодировать деревенской художественной самодеятельности, оседлавшей театральную сцену и орущей до посинения при свете рампы? Другое дело, что нам, эстетам и снобам, слышащим даже самую тонкую, даже почти виртуозную, звенящую скрипичным комариком фальшь, свойственно впадать на этой далеко не идеальной земле в сонную меланхолию, а нашим менее требовательным, и оттого более жизнеспособным партнёрам — вытаскивать, выволакивать нас за волосы из хандры, в которой так сладко пребывать, будто в детстве сосёшь пораненный пальчик с набухшей на нём клюквинкой крови... В общем, благодаря или по вине (вопрос остаётся открытым...) мужниной общительности, прямо-таки феноменальной, если принять в расчёт полную неусваиваемость его организмом иностранного языка, у нас образовались некоторые знакомства, которые теперь приходилось расхлёбывать...

Так, однажды нас пригласили на выставку, совмещённую с концертом, в одно солидное культурное учреждение, расположенное на голубой высоте разрежённого воздуха...

Характерно, что искусства здесь почему-то всегда совмещаются друг с другом, как в наших «хрущобах» совмещались ванна с уборной, превращая и то, и другое в нечто не совсем полноценное. Несмотря на свою неизнеженность и спартанское самовоспитание (в юности, прочтя Чернышевского, целую неделю спала на гвоздях, как Рахметов...), я всё-таки не могла наслаждаться розовыми переливами шампуневой пены (подарок соседки по лестничной клетке, уважаемый была человек, всю жизнь в торговле, три года в тюрьме) в непосредственной близости вазы, предназначенной для фекалий... Хотя и, располагаясь в ней вальяжно, как в вольтеровском кресле, сочинила не одну книжку на крышке стиральной машины «Сибирь», используемой мною в качестве письменного стола. (А что, посоветуйте, было делать, если родители, извините, но так уж выходит — и это страшно, в этом — обыденный ужас нашей тамошней жизни — ещё не умерли, а сын уже родился, и получилось нас в однокомнатной кооперативной сразу пятеро, не считая любимой всеми собачки...) Поэтому три с половиной квадратных метра этого немаловажного помещения, когда они не были заняты по хозяйственной или другой нужде, стали в семье совершенно официально считаться моим рабочим кабинетом: домочадцы виновато стучались, если должны были

помешать... Очевидно, богатая фантазия дорисовывала мне зелёное поле сукна над нашей «стиралкой» и медную, напоминающую блестящей выпуклой крышечкой купол Исаакиевского собора, чернильницу, виденную в музее — квартире угнетённого царизмом писателя; а что ещё нужно для медитации...

Но там всё это было от бедности, от безнадёжной скудости нашего быта... А здесь ничто не вынуждает поэта выставлять перед литературной гостиней суперреалистический, оттопыренный, как коллаж, портрет своего полового органа, кукарекать под флейту или бренчать голышом на фортепьяно. Просто он ни то, ни другое, ни третье не научился делать мало-мальски профессионально — вот и привлекает публику на этот сомнительного качества винегрет, ссылаясь при случае на её же странные вкусы...

Публика — она, разумеется, дура, но всё-таки не такая глупая дура, как убажасающие её мальчишки... Тем более, что нет в германских гарсонах тонкого полунамёка милой фривольности, а только одна громко кричащая вульгарность или неприкрытая солдатская грубость. Нет, шалишь, а публику, даже местную, уныло провинциальную, одним пенисом на культурное мероприятие не завлечь, она его, голубчика, 24 часа в сутки по всем пятидесяти телевизионным каналам видит, притом, не отрываясь от ласкового, плюшевого, глубокого, как обморок, кресла...

...Вот разве что калачом поманить... У меня возникло странное подозрение, что уж не этот ли слегка подрумяненный калач, по-здешнему — брецель, а также бокал дарёного вина и гарантируют успех поэту или художнику. Иначе с чего бы тащился усталый немецкий бургер в другой конец разбросанного — белыми щепотками по холмам — города на какую-нибудь выставку, где на стене висят, как бригада самоубийц, пять — шесть, извините, даже не картинок, а картонок, по которым густо размазан кетчуп художественного воображения автора... А вот и он сам, застенчиво улыбающийся и немножко надменный, и все чокаются с ним и друг с другом, и сейчас скажут, что всё было чудесно, и, чокнутые, с трещинками улыбок на сияющих лицах, побредут по домам...

Такое иногда ощущение, что немецкое общество дружно впадает в детство... Бегут, играя в догонялки, двадцатилетние, длинные, как размотанные спагетти, юнцы (итальянская кухня здесь более популярна, чем Рафаэль, и вообще самые раскупаемые книги — всё же поваренные), резвятся в открытом бассейне, брызгая друг в друга из водяных пистолетиков и громко радуясь, если попали... И, видимо, именно они должны всегда стоять, вернее, бежать перед лицом творящего, потому что завтра они выйдут на пенсию — и станут публикой...

Зато здесь ни один Гайдар в 15 лет полком не командовал, и вообще, всё, что может причинить людям неудобство и вред, например, революцию, они экспортировали к нам...

Так вот, возвращаясь обратно в то солидное культурное учреждение, на выставку, совмещённую с концертом (вечно меня заносит не туда, куда надо, а оттуда, куда было не надо, выскакивает, как из ниоткуда, какая-то расхристанно-колючая дикорастущая эссеистика-памфлетистика вместо аккуратно обовланенной парковой повести; ну, ничего, редакторы в наших издательствах ещё, будем надеяться, не перевелись...), и что же мы там, на выставке, торжественно принаряженные (муж — при «краватте» и я — при броши) имеем честь лицезреть?

Пока ещё — ничего, кроме толпы других приглашённых и, разумеется, брецелей... Ну, откуда мне было знать, с моим всего-навсего годовалым тогда европейским стажем любительницы искусства, что наваленные в углу кирпичи с ветошью и цементом — не грязь, оставшаяся после ремонта, которую просто не успели убрать, а что это и есть то самое главное произведение искусства, из-за которого весь этот симпозиум-консилиум, я бы даже, скорей, сказала — сыр-бор, если бы не боялась прослыть тёмной, как русская изба до озарения её лампочкой Ильича...

А тут ещё с потолка каплет, методично и взвизгивая, будто допотопная бормашина в зубо врачебном кабинете... Ну, совершенно не приспособленное помещение, не зря говорят, что экономит правительство на культуре... (А культура, как утверждает мой муж, — это будущее всего человечества...)

Вот тут меня и угораздило спросить у радушного директора учреждения, который всех лично обошёл со своим бокалом, и нас, к сожалению, тоже вниманием не обошёл, где же всё-таки будет выставка и концерт, потому что в этом помещении ждать как-то неуютно...

Нет, положительно ничего, кроме неприятностей мне мой довольно быстро распускавшийся (как цветок на естественно удобряемой почве) немецкий язык не приносил... Единственное, что я могу сказать в своё оправдание, что не получила никакого звукового образования, и по консервативности своей, происходящей не от консерваторности, а от филармонического уже возраста, привыкла считать, что музыка — это когда стонут, рыдают все органые позвонки в стройном теле собора или уж, на худой конец, если водит кто-то по струнам одной, одинокой веточкой, а у тебя в глазах влажные сады полыхают...

Словом, больше нас туда, сами понимаете, не приглашали, а концерт «Wassermusik» — водяная музыка (могла бы и догадаться...) через минут десять иссяк...

Помните анекдот про милиционера, чьё донесение заканчивалось так: «...И даже на пороге отделения милиции гражданин Г. продолжал нарушать постановление от восьмого восьмого сорок восьмого года» — имелся в виду закон, запрещающий гражданам испражняться на улице — «и только перед кабинетом начальника отделения перестал нарушать постановление от восьмого восьмого сорок восьмого года, и то не потому, что осознал, а потому, что иссякся... И потому прошу выдать мне новую гимнастёрку и сапоги...»

Надо было мне из Ленинграда, из нашей забытой «Готтом» котельной, ржавый кран захватить: тут бы им в одном предмете и эротическая скульптура, и целая филармония...

* * *

*Провинция, ты рай для Хлестакова,
Весёлого, хвастливого такого,
Он даже обаянья не лишен
В провинции, лишенной обаянья...
Всё кстати: и подцепленные знания,
И скользкий, на закуску, корнишон.*

*Я думаю, что Гоголь от героя
В восторге не был, но ему порою
Благоволил, подначивал: чеши! —
Они давно жаждали ревизора...
А ты, мой друг, не сбрендишь от позора —
Я не вложил стыдящейся души...*

*И Пушкин, подсказавший эту тему,
Злорадствовал: примите хризантему,
Мадамы, недостойные любви
Смущённого российского пиита,
Кто знал, чем зажигаются ланита...
Но... ум и злость! И честь, её язви...*

*И я в своей неметчине унылой
Всё не могу собраться с новой силой,
Да и зачем — ведь сказано уже...
Всё, как всегда, на этой тверди зыбкой...
Перечитаю Гоголя с улыбкой —
И жизнь светла, и ясно на душе.*

*Поглубже втянем дым — и приглядимся:
Благоухают наши проходимцы
По всей Земле в салонах дураков.
И в глубине гогочущих провинций
Кончают век российские провидцы,
Лелея боль от сорванных оков...*

Оглядываясь на того грустного советского милиционера, нельзя не отметить (с чувством глубокого, если даже ещё не полного удовлетворения...) что проблем с обмундированием здесь, в Германии, нет.

По-человечески жаль и его, и себя самих — там, в том далеко, где зимнее пальто не покупали, а «строили», целый год экономя на брюкве с картошкой и откладывая «в чулок», а чулок штопали до тех пор, пока это уже становился не чулок, а сплошная художественная штопка, затвердевшая, как гобелен, и натирающая до боли и красноты истоптанную за день на службе и по магазинам, долго ещё пылающую под приятным холодком простыни пятку... Но к биологическим мучениям я лично так же, как романтики всех времён и народов, относилась стоически, можно даже сказать, что я их просто не замечала. И никаких комплексов по такому ничтожному поводу, как тряпки, в моём упоительном, я имею в виду — духовно-упоительном, окружении не было. Это в чопорном Берлине Марина Ивановна шокировала салонную публику своим, мягко говоря, не очень респектабельным ватником, а в России, в моей России, людям всегда смотрели в глаза, а не в значок фирмы на заднице...

Тем не менее я вдруг мимоходом, неожиданно для себя, с облегчением отметила, что могу уже не стирать дважды в неделю в хаймовской прачечной, где всегда сидят местные кумушки, и норовят со своей круглосуточной лавки втянуть стиральщиц в беседу, а вот это для меня, дей-

ствительно, было мучительно... Одежды же набрался как-то сам собой целый сломанный шкаф... Обратите внимание на парадокс, заключённый не только во фразе, но и в своеобразии всей нашей новой жизни: она была похожа на сломанный шкаф, из которого торчали яркие ненужные тряпки...

Во-первых, здесь всегда можно было наведаться в кладовую Красного Креста, где две, так сказать, «крестовые дамы», похожие друг на друга, как две загогулины одной свастики, видимо, сёстры, скрипя зубами по поводу зачистивших русских: «Пришли, победители, побираться...» (в другой стране «жидовские морды» стали как бы «русскими мордами», заполнив ту же нишу народного недовольства...), всё же предлагали нам кое-что из сразу послевоенных штанов и ботинок, залежавшееся на складе. Понятно, что те, кому не нравились туалеты или смысл приветствия, могли повернуться и больше не спотыкаться об этот порог... Но не тут-то было... От халавы господ советские эмигранты так легко не отказываются, даже если их с ног до головы оплевать; что-то всё-таки достанется — тем, заодно, и вытрутся... Зато если уж кто из русских, то есть, евреев «возникал», (а евреи не «возникать» не могут, за это их все и не любят, и автор тоже), что, мол, турки целыми кагалами без очереди прут и мешками лучшую одежду уносят, ежели кто совал свой длинный нос, куда не следует, его быстренько отправляли домой: и не только в хайм, а непосредственно туда, откуда приехал...

И даже, наверное, правильно делали, потому что в открывшемся позже продуктовом магазине, где всех неимущих, без национальной или какой-либо иной дискриминации, встречали по-королевски, благодаря каждого за покупку (арбуз — 1 марка, яблоко — 10 пфеннигов, плюс улыбка и благодарность), именно этот настырный народ, почувствовав слабину, начал воевать за «улучшение снабжения» и «культурное обслуживание потребителя»... (Куда уж культурней — разве только ещё приседать в книксене и целовать покупателей в щёчки при входе и выходе, если бы это не было так противно...).

Потому что советский еврей просто так, сложа руки, сидеть не может. Он — или связан по рукам и ногам, что, несомненно, как-то ущемляет его права, или — он переделывает мир в обозримом для него радиусе...

Пожалуй, больший, воистину революционный размах выказала баба Валя, которая ничем не возмущалась, наоборот, всем восхищалась и попросту «экспроприировала экспроприаторов», опережая машины Красного Креста и самовольно собирая мешки с одеждой прямо на улице, куда их заблаговременно выставляли дисциплинированные жители города...

Она каждый день меняла наряды, сочетая мальчишковые футболки с килограммовыми, сумасшедше блестящими клипсами и была по-своему счастлива, только иногда, в свободное от этой благородной «охоты» время, вспоминая, каким «большим человеком» был её покойный супруг в обкоме партии...

Каюсь, один раз (ведь и в тюрьме иногда просыпается желание пошутить, ведь ещё всё-таки не могила...) я похвалила её «шабат-туалет», выбранный ею (разумеется, из мешка ...) для посещения службы в синагоге. Футболка была — «Посмотри, какая прелесть, и даже не ношенная...» — просторная, чёрная, а на ней ярко, оглушая глаза красками, один серебристый мыш дружил свою распластannую по ткани ушастую мышастую

подругу, оттянув ей алые, в ослепительный белый горошек, трусики...

Вернулась баба Валя с торжественной литургии вся чёрная (не иначе как раввин высказал ей своё, отличное от нашего с ней, мнение...), вся мрачная, как футболка с изнанки, и ещё несколько дней мне посчастливилось прожить без демонстрации мод...

Что же касается шпермюлей — организованного городского выкидыша ненужных вещей, то здесь понемногу, ну, хоть по капельке, хоть по одному разику грешны все, и вчерашние академики, и даже сам брезгливо брюзжащий автор, уже потому хотя бы, что это было загадочно и непредсказуемо: что же выбрасывают здесь люди из своей жизни... Увы, не только сломанные или даже ещё «тянущие» пылесосы и надоевшую мебель... Из-под проливного дождя спасла я, согрев за пазухой, совсем, уже даже без кавычек расклеившегося Генриха Гейне, приютила «Доктора Живаго» в немецком издании, а однажды споткнулась о целую библиотечку новых романов. (Впрочем, бегло пролистав их дома, поняла, что на сей раз всё было сделано правильно, туда им и дорога...)

Должна честно сказать, что жизнь эмигранта (если, конечно, урчащее, постоянно облизывающееся, как моя кошка, существование можно назвать жизнью, но критерии ведь падают не только в искусстве...), жизнь переселенца, начинающего её — в экономическом смысле — с нуля, была бы и вовсе сказкой, если бы выполнялись все замечательно писанные законы. Только вот для кого они писаны? Наверно, для тех же маленьких людей, над которыми смеялись когда-то в «жолтых окнах» и которые все ещё трудятся с утра до вечера на больших предприятиях... (Потому их, этих людей, и не видно, можно даже подумать, что их в Германии нет...) Что же касается законов этических, то они, видимо, хранятся здесь в запасниках библиотек, как у нас прятались от нас (не сами, конечно...) потрясающие студентов (и, что самое ужасное, основы общества...) немецкие философы... Такое впечатление, что абсолютное большинство немцев понятия не имеет о том, «что такое хорошо и что такое плохо»... (Может, от них это скрывают из соображений гуманизма: чтобы не узнали и не пустили все разом себе пулю в лоб, как Маяковский...) В результате моего, чисто любительского, правда, исследования, выявилась только одна закономерность, совпадающая, как и следовало ожидать, с правилами немецкой грамматики и выраженная моральной формулой «Das ist gut für mich»... Что означает, — «это хорошо для меня», а подразумевается, стало быть, что, значит, и вообще «хорошо»...

Не оттого ли и убивали они так запросто, так спокойно, и мочились не то что тихий «гражданин Г» — на тротуар, а на янтарные паркетки наших святынь, содрогая воздушные, нежные своды барокко скабрезной бранью и артиллерийским громовым хохотом, не потому ли, что для них это было тогда «гут»?...

Признаться, мне часто не по себе в стране того самого индивидуализма, который я воспевала в России, где все должны были быть «как один»... Иной раз — просто мороз по коже от их косматых рефлексов, от эгоизма, злобы и зависти, будто видишь сквозь ткань, как удаляется, вспыхнув, багровый от ярости зад примата...

Но это уже другой разговор, требующий отдельного, благородных древесных кровей, письменного стола, который у меня появится позже, когда нам обоим, и мне, и ему, столу, будет, где встать...

И посему, мой читатель, не раздражайся на вряд ли интересующие тебя подробности эмигрантского быта, не сердись на бесцеремонно появляющихся и долго не уходящих героев; тебе всё же не придётся терпеть всё это целых три года... А если уже неумоги, если подступает к горлу тошнотворный комок, но если ты при этом всё-таки нет-нет, а вздохнёшь, куда же, мол, подевался поэт и философ, я могу дать тебе всё тот же штутгартский адрес...

Там, правда, никто не знает моего настоящего имени, но оно и к лучшему...

Спросишь тётку из 435-ой...

* * *

*чужая речь как птичий щебет
твоих ушей коснется лишь
не заползет в глухие щели
где сокровенное таишь
маршрутный лист над головами
меланхолически читай
и ежедневный путь в трамвае
един, — Париж или Китай...
везде покачивает сумрак
и содрогает поворот
носильщиц грез и тяжких сумок
что называются — народ...
кивают вяло подбородки
потоку встречной чепухи...
Где итальянские красоты?
Где елисейские духи?
Ты все придумал, Боттичелли!
Ты обманул меня, Вийон!
Мир — деревянные качели:
сабвей — убан — метро — вагон...
И я сама — не гость высокий —
сизжу тихохонько в углу
дрожащей жилкою височной
припав к прохладному стеклу
и пребываю за границей
хотя считается — живу...
А пятки — чуть смежишь ресницы —
Летят, как яблоки, в траву...*

...Но что проку с того, что нас с детства учили только хорошему, например, никогда не брать чужого; что вору в дикие (но отнюдь не с этической точки зрения...) времена даже отрубали руку?...

Однажды к хайму вдруг подъехал полицейский автомобиль...

Кумушки зашушукались, шлёпанцы зашуршали, жители высыпали под разными предлогами во двор... (Самое печальное, что и мужчины — тоже. Если мужчина проявляет дворовое любопытство, то это уже — несомненная деградация...)

И тут одна, не хочу акцентировать, но опять-таки черновицкая бабенция стала в один час своего рода знаменитостью того самого тихого городка, с которого мы много страниц назад начали сие мало подвижное путешествие, а сейчас снова вернёмся туда, потому что эта не совсем красивая, как вы уже догадались, история произошла именно там...

Помните дешёвый магазин «Альди», где нас нещадно обсчитывали? (Я уже, по счастью, забыла, но не обо мне сейчас речь...) Видимо, кассирше не нравилось, когда обманывает не она, а — её (так почему-то всегда бывает в жизни...), и потому она схватила бабку за сумку, в которой ярко синели не предъявленные к оплате джинсы... Бабка захлопала, но ничего, кроме уже упомянутого товара и названия улицы проживания, расположенной через три долгих аллеи от магазина, вытрясти из неё не удалось, так как по-немецки она — ни «не» — ни «ме»...

К оправданию любопытных на этот раз надо добавить, что её во дворе знали все, причём, знали не столько в лицо, сколько в ноги, хотя никто, даже Костик, старым бабкам в ноги не смотрит: ну что там увидишь, кроме корявых пальцев и полиартритных вздувшихся вен... Но эти ноги сами, можно сказать, бросались в глаза своим ярким, малиновым, светофорным, поверх грязи, педикюром...

На сей раз все вынуждены были обратить внимание на её глаза, из которых лились неостановимые слёзы... Она неуверенно опускалась на землю с машины, бережно поддерживаемая под руки двумя юными полицейскими...

А потом вызванный для ведения дипломатических переговоров, знающий с детства, хоть и понемногу, пять языков, как бы исполняющий обязанности дворового Рабби, почтенный дед Исаак, глядя в землю и пылая лицом пуще её ногтей, переводил стражам закона весьма странную версию...

Бабка клялась и божилась, что джинсы не крала, а просто взяла домой, чтобы её дед, Иван, примерил и, если не подойдут, принести обратно...

Каюсь, я была неправа, заявив, что немцы не уважают старость. Мальчики в тёмно-зелёных форменных куртках, всё внимательно выслушав, принесли ей свои извинения за оскорбление подозрением и укатали.

А уж что ей сказал старый Исаак, когда они скрылись из слышимости, вы можете себе представить, потому что русским он тоже владел с детства...

...Я всё время забываю признаться, но вы это, наверное, и сами заметили, что в моей угрюмой и даже зловещей памяти есть один довольно-таки весёленький закоулочек, где откладывается — всегда на потом — смешное, забавное, наверное, на ещё более чёрный день в жизни... И эта вот смехотворная запасливость, и всегдашняя готовность к последующим, непременно последующим неприятностям, не менее подтверждает мою национальную принадлежность, чем затребованные синагогой метрики...

Вот и сейчас, спустя несколько лет, я вдруг вспоминаю, как здесь же, в Эсслингене (пора и назвать городок, с которым столько связано и о котором столько сказано, и в котором мы благодаря бабе Липе, назовём её так, опять очутились), как зачитывали мы на том самом чердаке (читатель мог его уже и забыть, но обитатель — никогда в жизни), зачитывали вслух письмо таниной мамы из Ленинграда. «Зачитывала», понятно, сама Таня, а мы с Костином «заслушивали» и буквально валились на свои нары от смеха, потому что мама волновалась, не скучает ли девочка без рояля и

спрашивала, не попытаться ли его сюда — по железной дороге — доставить... Именно рояля нам всем тут и не хватало, разве что воздвигнуть его во дворе и созывать весь хайм на утреннюю зарядку...

Или та замечательная история, когда Костик впервые поехал в Мюнхен, собрав паспорта у всех желающих встать в русское консульство на учёт (Вопрос этот имел принципиальный характер, многие мечтали о немецком гражданстве, а кое-кто не представлял себя без России, какую бы она ни была...) Спросив у первых же попавшихся навстречу пацанов про нужную улицу, которая оказалась недалеко от вокзала, а, значит, — в криминальной зоне, (Костик же был, по его словам, искушён только в эрогенных), — он нечаянно забрёл в тёмный привокзальный туннель и угодил в облаву на наркоманов. Длинный, в джинсовых с пижонской бахромой шортиках, озирающийся по сторонам круглыми кроличьими глазами русский парень показался полиции подозрительным... В общем, — лицом — к стене, руки — назад, за спину! При обыске в его рюкзачке вместо ожидаемого какого-либо опиума для народа была обнаружена другая крамола: стопочка чужих паспортов, перетянутая советской аптечной резиновой резинкой, которые он, путаясь в незнакомых словах, комментировал более чем странно: «Да, это я... А это — моя жена... А это кто? Это тоже из Ленинграда, мы живём вместе... Да, все вместе... И её муж тоже... И те трое...»

(Значит, не только нам самим, но и немецкой полиции было непонятно, как это столько людей могут жить вместе...)

Или — ещё одна встающая перед полузакрытыми глазами (надо же всё-таки постараться научиться спать...) трогательная сцена... Место действия — всё тот же хайм. Действующие лица: та самая, уже оправившаяся от испуга и, будем надеяться, исправившаяся бабушка Липа и её муж, которому не подошли джинсы. Сейчас они сидят в комнате отдыха от отдыха (отдыха в помещении после отдыха на природе), и, образно говоря, бачут коммунальный фэрнзеер... (здесь и везде я не перевожу понятные каждому еврейю слова...)

И тут он нежно наклоняется к своей, как всегда нещадно размалёванной турецкой косметикой половине, и произносит следующую, ставшую крылатой, фразу:

— Мы с тобой уже старенькие, всё может случиться... Если кто-то из нас умрёт, я уеду в Америку...

Вот что такое не придуманный литературный, а живой натуральный еврейский юмор...

Забегая опять далеко вперёд, скажу, что уехал он вскоре не в Америку, а последовал за своей старухой на местное, пока ещё небольшое еврейское кладбище... Небольшое, потому что своей смертью евреи в Германии начали умирать не так уж и давно, так что до нашего приезда никакого столпотворения покойников здесь не наблюдалось... Но где возникаем мы — там почему-то всегда возникают и очереди... И, главное, каждый обязательно хочет влезть раньше других...

Это еврейское качество известно всем, и в первую очередь — самим евреям. Потому в таком жизненно важном вопросе было незамедлительно принято решение еврейской общины. Я своими личными глазами читала в протоколе правления: «...обсуждали два вопроса:

1) быстрейшая адаптации эмигрантов из бывшего СССР и 2) расширение общинного кладбища... (принято единогласно...)».

Ну да что к словам придирайтесь... Не будем педантами, хотя мы и в Германии.... Надо ещё спасибо сказать, что хоть похоронят, а не выбросят в мусорный бачок, как это делают иногда на нашей бесслёзной Родине... И не по злобе, а по отчаянной бедности. Я бы, может, сама наказала сыну так со мной поступить, если бы знала, что мой окаянный ящик лишит его и его ребёнка куска хлеба... В общем, я не возражаю против этого кладбища, хотя наши Пулковские высоты, откуда папа город для меня защищал, и где теперь лежит, опять в тесноте, в одной узкой траншее с мамой, мне чем-то роднее...

Но умирать я пока всё равно не имею никакого римского права: нужно ещё получить квартиру в Штутгарте или хотя бы Нобелевскую премию мира за эти воинственные записки... (Если уж Арафат, похожий на «Али-бабу и сорок разбойников» получил, то мне и сам Бог велел...)

Да и продолжительность жизни здесь, в Германии, воистину фантастическая: по телевизору до сих пор выступают розовенькие, как ангелочки, очаровательные старички из гитлеровской obsługi, и, доверительно улыбаясь, рассказывают всем нам, какой фюрер был, в сущности, добрый малый, как любил их всех, и даже свою собачку... Получается, что так же, как мы — нашу, когда её ещё не отловила «живодёрка» с синим крестом и когда папа ещё не упал, весь в орденских планках, на пол, с последней, недосказанной пеной у рта...

* * *

*Кладбищенский Ангел мне дверь отворил,
Велел подождать за оградой...
Родители вышли, касаясь перил
невидимых, вея прохладой...
Дыханье — как взрыв у высоких ворот
в незримом присутствии Лика...
Ну что вам сказать? Продолжается род,
И нежно цветёт земляника...
И совестно вымолвить что-то ещё
На этом наречии бедном...
И сходит заря, как румянец — со щёк,
И небо становится бледным...
И с места — не сдвинуться, будто нога
вросла... Онемевшие чресла...
И женщина в чёрном торопит, строга...
А женщина в белом — исчезла...*

...Счастливый всё-таки писатель был Серёжа Довлатов... Никогда не обременял себя ни мучительными раскопками прошлого, ни закрученными спиралью прострелами в будущее; два-три острых штриха к портрету, живой, выпуклый диалог, согретый иронией, — и готово! И всё это, при всём при том, — чистой воды Литература...

Когда-то брели мы с ним по Чугунной, окраинной ленинградской улице, что на Выборгской стороне, по заросшим лягушачьей зеленью

ржавым рельсам, — два разных состава, оказавшихся рядом на запасных путях русской литературы, и он мечтательно шурился на неделимое чистое небо: «Хочу — говорил — быть капелькой в мировой культуре, хочу в ней раствориться...»

Желание его исполнилось и, к счастью, не полностью: довлатовская капелька не растворилась — она поблескивает, как маленькая жемчужинка, по-немецки — «Die Perle», «перлы» его героев цитируют даже здесь, хотя они трудно поддаются обработке твёрдыми германскими буквами. Теряется живое тепло согретых за пазухой строк...

А мне почему-то обязательно надо вникнуть, найти первопричинность причинности ни с того ни с сего случившегося или случиться могущего, в разлохмаченной кроне моей шелестят, перешептываясь, разноцветные ассоциации... А уж что касается стиля...

Подлежащее и сказуемое разделены, как шекспировские влюблённые, многочисленными Монтекки и Капулетти — вздорными и противоречащими друг другу членами сложносочинённого и подчинённого минутному чувственному капризу предложения... Целые страницы запутываются в тропках, как парашютист — в стропах, пока, наконец, не приземлишься сломя голову...

В таких случаях лучше всего продезинфицировать организм баллончиком пива и наложить на воспалённые глаза примочки из «Улисса», а потом медленно, с блаженной улыбкой, перейти в то плывущее состояние, которое так помогало ещё на Родине при острых приступах самоедства...

Утешительная мысль нашептывает, как Арина Родионовна, что утро вечера мудренее... Не мудрёнее, а именно мудренее... (Что могут сделать две точки над одной буквой, один умляют, если не ты владеешь языком, а он — тобой... Поэтому я навсегда останусь русским поэтом, а заслуженный в любовной борьбе с немецкой грамматикой членский билет Союза писателей Германии кажется мне не более чем приятным сувениром...)

Эта ласковая, добренькая старушка — мысль, вынырившая столько упрямцев и гордецов, укачивает моё сознание на знакомый мотив: случаются, мол, писатели и позаковыристей, и подиковинней, а есть и попроще, бывают и вовсе простецкие, чёткие, как забор; а ты, голуба, главное, ни на кого не смотри, только уж ежели совсем занеможется — на дно своей пивной кружки...

Сказала — и приумолкла у окна, вяжет поблескивающими спицами чулочек для Александра Сергеевича, — или это детский велосипед по комнате егозит?..

В голове, как на фестплате, на диске «С», набито столько относящейся к прошлому информации, что она выскакивает перед глазами в самых причудливых комбинациях...

Всё-таки правильно, что уехали. Вот и компьютер персональный уже имеется, потому что сегодня печатать на машинке — всё равно что воду из колодца таскать вместо того, чтобы просто повернуть звёздочку ручки над никелированным краном...

А когда ребёнок родился, не то что компьютеров не было, не только за колготками в Ригу потом ездить пришлось, — марганцовка, и та вдруг пропала, младенца хоть водкой подмывай...

Нет, всё-таки правильно, что уехали, невзирая на то, что стучат теперь

кони Клодта копытами по виску, изнутри бьют, как будто у меня в голове не Валлопиев мост, а декабрьский Аничков скобкой мерцает...И отражаются огоньки набережной в чернильной тьме засыпания, как ёлочная гирлянда послевоенного детства...

На ёлку мы вешали бутерброды с любительской колбасой (весёлое конфетти белых жиринок...), покрашенные серебрянкой орехи и ещё — мандарины. Как они тогда пахли... Даже сейчас, спустя столько запутавшихся серпантинном лет, этот волнующий запах зимы — и праздника, праздника — и зимы, просачиваясь сквозь тяжёлый и серый, как ветошь, прокуренный воздух, щекочет волнуяще ноздри...

А сын уже не так подвержен воспоминаниям, хотя зато и простудам — тоже...

У него вырабатывается иммунитет...

Боюсь, что его дети будут цеплять к потрясённым рождественским веткам действующие модели видеоманитофонов, компьютеров, родителей...

Или у них вовсе не будет ёлки, потому что все леса к тому времени уйдут на рекламные проспекты, и, к тому же, от ёлки много мусора... Разве что синтетическое чучело под каким-нибудь сентиментальным названием, что-то вроде «Nostalgischer Tannenbaum» oder «Omas Schmuckstück»; как всё здесь...

*Мандарины зимой удивительно пахнут
С первой ёлки твоей — до последней одышки...
Вот лежишь — и зрачок ожиданием распахнут,
И щека согревает ладошки-ледышки...
Потому что на вкрадчивых ёлочных лапах,
Расщепляясь, и в каждую щёлочку юркнув,
И висит, и течёт, и баюкает запах,
Беззащитный, щекотный, щемящий, уютный...
Словно сильные губы лишь в лоб целовали,
Извиняясь как будто за каменный привкус,
Если сказочным замком сквозит в целлофане
Мандаринного детства оранжевый призрак...
Излучают витрины зарю мандаринов,
И смягчаются щёк зачерствелых горбушки,
Словно всю эту зиму тебе подарили,
В новогоднюю ночь положив под подушку...*

...И вот он, мой мальчик, Господи, если бы только можно было с ним поменяться местами, лежит неподвижно и шепчет, будто в бреду, как Чехов, «ich sterbe...», и катится крупная мужская слеза по ещё пухлой щеке...

Ну нет, я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, цитата — а как своё, и беспомощность, ну хоть головой об стенку, и согласный, рифмованный стук наших сердец в клинической тишине, как всегда в решительные минуты жизни, жизни, жизни..., потому что он, хоть и не читал немцев, но как будто — читал, унаследовал эту знобящую интуицию, проникающую за черту Знания, и при этом всегда говорит то, что думает...

«Как я всех ненавижу...»

Вокруг него суетились санитарки с горшками, раздавая пациентам «спасибо» за то, что те опорожнили свой мочевой пузырь или кишечник, над его головой дребезжали стеклянные речи, будто моют посуду после обеда... после обеда... (Ну что, что может быть интересно и важно тому, кто только что, ночью, уже заглянул Туда, где нет ни еды, ни уроков, ни выставок, ни-че-го, и кто сейчас ещё на пути Оттуда, как над пропастью — по канату, вздохом бы не спугнуть, слишком громкая капельница...)

Я шепнула ему: «Я понимаю»... И больше — ни слова. До тех пор, пока он не взглянул, наконец, ясными ВЕРНУВШИМИСЯ глазами...

...Мы знали, кого именно следует ненавидеть, но так получалось, что, действительно, почти всех...

...Он уже два дня почти не вставал с нар, температурил, к ночи лицо пожелтело, ноги стали ватными, хлынула рвота...

Вызвали, сбегав на соседнюю улицу, — в хайме на двести жильцов телефона не было, — «Скорую», через два часа белый халат всадил на ходу, даже не присев, шприц (о, моя спасительная привычка оставлять в блюде осколки ампул, чтобы утром лечащий врач не гадал на кофейной гуще...) и сказал, уже стоя одной ногой на лестнице, что завтра, мол, всё пройдёт, такой сейчас грипп...

Как мы дождались завтра — не помню, помню только, что поминутно смотрели на часы, и в 8.00 я уже звонила нашему доктору, а ещё через час, осторожно, останавливаясь едва ли не каждые десять минут — глоток кислорода, — потерпи, сынок (это я или врач? кто это говорит? оба...), потерпи, сынок, уже скоро — ехали мы в городской госпиталь. Потому что наш доктор с первого взгляда определил (и побледнел...), что этот «грипп» называется сепсисом, заражением крови...

Самое ужасное, что все эти кретины или мерзавцы (если специалист верит мерзавцу, то сам он — или кретин или мерзавец, или то и другое вместе...) самое страшное, что они, собираясь — чепчиками — в ромашку над его головой, хором шелестели ему, что никакого укола не было, не было, не было...

И даже профессор, три ночи дежуривший у его изголовья в реанимации, спустившись к нему в отделение (когда главная опасность уже миновала, но оставалось неясным, сможет ли он встать на ноги), не поскупился на дружеский совет забыть об уколе, который ему приснился...

И даже мой знакомый профессор литературы, навестивший сына и подаривший ему книжку Германа Гессе «Под колёсами», будто сам он её не читал или не понял, встретив в коридоре профессора медицины — своего одноклассника, не поленился вернуться в палату, чтобы сказать: «Всё хорошо, только забудь про укол, который тебе показался...»

Собственно, я бы вообще ничего не поняла в этих странных интригах, у меня не было сил думать о чём-нибудь кроме: только бы встал, только бы сделал первый, хоть самый маленький шаг, опершись на плечо отца, а потом уже будет легче, а потом пусть всю жизнь делает всё, что хочет, пусть даже женится на какой-нибудь с зелёными волосами, с кольцом в ноздре, здесь таких много, я и её буду любить...

Но наш доктор, к которому я зашла поклониться — иначе не выразиться, рассказал, что этот фрукт из «Скорой» трясётся от страха на своей ветке, что уже надоел ему и не раз ездил в больницу, утверждая, что никакого укола тогда не делал.

Осколки ампулы пронзительно сверкали на том самом блюде, с розовыми цветочками, которое я принесла ему две недели назад...

Он оказался единственным человеком, который не только спас мальчика, но и понял: нам нужен сын, наш родной единственный сын, а не денежная компенсация за него...

Он при мне выбросил осколки в ведро, они прозвенели коротко: «вжик» — как «жизнь»...

И мы оба знали, хотя не сговаривались, хотя он и не читал русскую классику, что если бы (нет, нет, и ещё раз нет, даже мысленно...), то:

«А мальчика-то и не было...»

Не было... Не было...

И укола не было...

И мальчика не было...

Ничего не было...

Никого не было....

И СЮДА мы ехали, чтобы спасти сына...

*Белокрылые ребята
Не наткнутся на углы,
Их нестоптанные пятки
Розовее пастилы...
Видишь, как они порхают,
Дразнят лентой голубой,
Подплывают, и махают,
И зовут тебя с собой...
Сменим гнойный бинт на ранке —
И щекой прильну к плечу...
Я тебя, мой тёплый ангел,
В ихний сонм не отпускаю!
Я и Бога не прощу!
Никого не подпущу
Ни в каком лучистом ранге!
Спи, мой ангел, мой один
Под вселенскими огнями...
Над кроватью до седины
Досижу я, отгоняя
Рой назойливый... Сейчас...
Пей... Чуть-чуть... Ещё немножко...
И дрожит на чайной ложке
Морс — как мой бессонный глаз...*

...Бывают победы, о которых вспоминаешь с лёгким оттенком сожаления, в чувстве гордости меняется всего несколько букв — и в уголке сжатого рта образуется горечь... Сжёванный фильтр (я всегда курю «Море» — memento mori...) обжигает губу и вдруг вздрагиваешь от кисловатого запаха жжёной бумаги... Вот и всё. А как струились кольца самозабвенного дыма, как вытягивались, одно из другого, в колеблющиеся геометрические фигуры, которым не было названия, но зато — какой аромат...

Название убивает аромат, мысль прищипливается, как бабочка к гербарии — и мгновенно мертва...

Это не означает, конечно, что моя кошка живёт более интенсивной духовной жизнью, чем я, оттого, что ориентируется по запахам и совсем не читает книжек. Многие двуногие следуют тому же угробному принципу: бегут на густой, наваристый дух жирных шей, а когда наедятся до отвала, до треска в туго набитом брюхе, — сворачиваются клубочком перед телевизором. Умение говорить ещё не отличает человека от животного, если человек может сказать со всей ответственностью только: «Я люблю кислые щи»... Он вполне мог бы воспользоваться другим средством коммуникации, например, как это делает при каждом удобном случае моя кошка, просто нырнуть мордой в кастрюлю, а потом, так же, как она, интеллигентно снять коготками некрасивые капустные усы, налипшие на треугольничек носа и кисло свисающие с него, свидетельствуя о глубоком погружении в суть вещей...

По-немецки «intelligent» выражает не интеллигентность в нашем, советском понимании этого слова, а обозначает просто умного, знающего, даже хитрого человека. Именно так. В словарях и это прилагательное — «schlau» — приводится как один из синонимов.

Свинья считается здесь «sehr intelligent», к чему мне до сих пор никак не привыкнуть... Гораздо понятнее, когда она просто объявляется священным животным, независимо от её личных (чуть не написала: человеческих...) свинских качеств.

...Учебник немецкого языка, вернее, скопированные из него для нас листки, раздавал человек лет около тридцати с тяжёлым, хмурым, сорокалетним, и вдруг — озорным, смеющимся взглядом. И — снова смеркалось... Он явно думал о чём-то своём, а не о нас и не о своей учительской миссии...

А я в этот момент напряжённо сидела за партой, сияющая, как первоклассница, боясь пошевелиться и спугнуть это внезапно догнавшее меня на крутом повороте жизни, давно забытое счастье: учиться...

Университет кончала заочно, экстерном, наспех, надо было отрабатывать долги за квартиру; благо, память была ещё молодая, держала с первой зацепки: «проглотишь» учебник — и бегом на экзамен, пока не выветрилось... Один раз даже такси взяла, чтобы не расплескать знания по дороге...

А ксерокс в ленинградской Публичной библиотеке, где всегда любили заниматься студенты, был один. Его охранял милиционер. Для того, чтобы получить оттиск с двух-трёх страниц (больше не разрешалось), выстаивали две очереди: одну к заведующей — за письменным разрешением, другую — к милиционеру с прибором... А у них множительной техники — как грибов и ягод у нас под Сосново...

Учитель остановился возле меня, мы прошли сквозь друг друга невидящими потусторонними глазами, что-то кольнуло и его, видимо, тоже... Потому что он на мгновение как бы очнулся, быстро, захлёбываясь, заговорил и, не закончив какой-то, разумеется, непонятной мне фразы, махнув с досады рукой, рванул за дверь...

Я была ещё плохой собеседницей...

...Учебник меня возмущал. Не правилами немецкой грамматики, разумеется, а примерами, подтверждающими эти правила. Что свинья в нём

надеялась таким же эпитетом, как у нас — академик Сахаров, я уже пережила. В конце концов это их собственные прилагательные... Но вот что под фотографией гётевского дома сказано, что здесь жил автор «Фауста», который сам никогда не страдал отсутствием денег, именно так, в одно предложение, одно только предложение, это меня взбесило уже не на шутку... Ибо великий писатель, в какой бы стране ни угораздило его родиться «с умом и талантом», принадлежит не государству, а Времени, причём, чаще всего — времени будущему...

Позже я поняла, что немецкому классику ещё повезло. Их с Бетховеном хоть и в пфенниг, как говорится, не ставят, но, по крайней мере, на бутылки не лепят... А уж чужих гениев, особенно русских, — ищите в винном отделе...

Одна гимназическая учительница в ответ на вопрос школьника из России, знает ли она Пушкина, ответила радостно и без промедления: «Да, очень вкусно, особенно красная...» Впрочем, некоторые здесь предпочитают прозрачную, как мои, по этому поводу, слёзы, водку «Рахманинов»...

Из умерших композиторов хуже всех живётся, на мой, непросвещённый в этой области взгляд, всё-таки Моцарту. От него, извините, просто тошнит: и на подарочных коробках, и на сувенирных пакетиках, и даже на самых маленьких шоколадках — везде вам сладко улыбается, похожий белыми буклями на только что вышедшего из парикмахерской пуделя, перевязанный шелковым бантиком автор Реквиема... Причём, реклама — это вам не вернисаж, здесь абстракционизм не пройдёт: каждый куделёк прописован, кремовые щёчки, сливочные пальчики...

Надо же догадаться так напоевал выстрелить в спину поэту, так — на всю смерть — отравить память о композиторе: взрослые в Германии считают Пушкина — бутылкой, а дети — Моцарта — конфетой..

Wie süß... Oh, mein Schatz...

Ненавижу эти слова!

Даже перестала впоследствии видаться с одной немецкой приятельницей, которая не сделала мне ничего плохого, но постоянно слюнявила мои уши своим сюсюканьем. Как только она называла «сладким» мой новый свитер, мне хотелось тут же выкинуть его на помойку... А уж если я сама устаивалась стать её «сокровищем», то желваки мои каменели, и тут стоило невероятных усилий не запустить в гостью провокационно стоящей рядом на столике малахитовой пепельницей...

В сущности, большинство неурядиц в моей жизни проистекало именно по филологическим причинам...

Я могла писать хорошие очерки для газет, но меня раздражали их названия, отражающие футуристическую паранойю советского мышления: «Знамя прогресса» и «Рабочая честь»... И потому я с чувством естественного облегчения покинула сначала одну, а потом — вторую, когда наш гуманный КГБ порешил, что хватит мне уже морочить советским людям их и без того несчастные головы...

Замуж не торопилась, оттого, что быть за кем-то замужем звучало мне как жить за каким-то мужем — как за забором... Но, исследовав всех знакомых представителей сильного пола по совмещённому мною методу Фрейда-Фромма (приходилось уже спешить, потому что маму моей подруги могли вот-вот выпихнуть из БАНи на пенсию, и тогда доступ в запасники Библиотеки Академии Наук для всех нас закроется...), так вот, не успев

довести обследование до конца, я всё-таки поняла главное: бояться нечего... Всё равно не я буду за ними, а они — за мной.. При любом возможном раскладе. И предприняла, одну за другой, несколько удачных попыток...

О книгах и славе не мечтала. Мне всегда не хватало тщеславия, чтобы взять себя за шиворот и потащить к успеху. Но этот недостаток с лихвой компенсировало кровоточащее по ночам честолюбие. С таким пороком жить гораздо сложнее: моё честолюбие требовало только большого и только действительно заслуженного, я бы, наверное, отказалась от Государственной премии, посчитав, что мне просто фартит и есть более достойные кандидатуры. Государство тоже считало так, и в этом вопросе у нас не было никаких разногласий...

Вот с таким багажом (это его краткое, беглое описание, предназначенное для твоей, читатель, умственной камеры хранения) я и приехала на Родину моих духовных учителей и, стыдно сказать, но невзирая на уже накопившийся негативный Erfahrung женского рода (какой всё-таки точный язык: едет куда-то человек — и по дороге собирает опыт...), перед немецким интеллектом готова была робеть благоговейно...

Странно, что сидевший, точнее, досматривавший, сидя за учительским столом какой-то тяжёлый сон, всё это, кажется, понимал. По его высокому лбу тоже змеились ядовитые мысли, сквозь мятую рубашку в пятнах (интересно, не ночевал ли он сегодня на вокзале, иначе с чего бы стали темой сегодняшнего занятия разборки с полицией...) то и дело выглядывали ослепительные манжеты аристократа...

Он оказался тем редким человеком, который не терзал мои барабанные перепонки ни глупостью, ни пошлостью, ни пустой назойливой болтовнёй. Словом, мы говорили на одном языке, хотя нас контузило разными кирпичами, упавшими с Вавилонской башни...

Но для начала мы, разумеется, круто поссорились...

...Я, с трудом поворачивая свой будто распухший, непослушный язык, отвечаю на его вопрос, что родилась в Петербурге. (Я всегда говорила так, даже тогда, когда это злило чиновников города Ленина, формулировка вошла в привычку гораздо раньше, чем место моего рождения снова зазвучало гордо и ослепительно, как его свежепозолоченные купола...)

Он, вспыхнув, парирует, что нет, мол, такого города, а есть всеми уважаемый Ленинград...

(Социалист?.. Но откуда у социалиста тонкие нервные пальцы пианиста?.. — Я ещё не знала, что есть здесь и такие, неплохие, кстати, ребята, сами себе господа, понятия не имеющие о том, что случается, когда их кумиры приходят к власти...)

Он спрашивает, сколько мне лет (отвратительная немецкая привычка — выяснять, с точностью до месяцев, дамский возраст, и вообще придавать возрасту слишком большое значение. Например, все происшествия описываются в городской газете примерно так: «Вчера на улице Кошкиного Ручья — я беру одно из типичных названий немецких улиц — 39-летний водитель мотоцикла совершил наезд на одну 42-летнюю, переходившую улицу...» Как будто если бы ему было 42, а ей — 39, это бы что-то изменило в их роковой встрече...) И, услышав мой, как мне казалось, ещё вполне произносимый вслух ответ, этот, сам уже не первой молодости, субъ-

ект объявляет во всеуслышание, притом, почти с грустью, что в Германии это «капут»...

Естественно, что я, в свою очередь, пытаюсь у него выяснить, как называется по-немецки человеческая тонкость, сопряжённая с уважением к женщине, тактичность, и наугад подсказываю «Тактгефюль?»... — с вопросительным, разумеется, знаком...

(Что-то внутри меня уже подсказывает, поддразнивает, что «капут» будет ему, потому что этого я так не оставляю...)

Он, внезапно переходя на рык, клокочет, что в немецком языке таких понятий не существует, как и — отвечая на мой упрёк — понятия сознания вины, а только — денежного долга, и высказывает в три прыжка, раненым оленем, за дверь: отдышаться...

А на следующее утро робко, краснея половиной лица (такая вот половинчатость...), положит передо мной два поэтических томика, своих любимых... Один из них — Октавий Пассий, трижды лауреат Нобелевской премии, о котором я могла только слышать: его лишь теперь, совсем недавно, наконец-то перевели на русский. Мне он приоткрылся в первый раз — тогда, на немецком...

...Учиться было легко, радостно, чему немало способствовало отсутствие какой-либо определённой программы на курсах — с одной стороны, и отсутствие у учащихся дома — в нормальном, уютном смысле этого слова — с другой: в школе начисто забывалось о гетто, как будто его и не было, как будто мои нары уже писали обо мне мемуары, а не ждали меня к ночи обратно, чтобы снова впитаться сквозь тощий матрас всеми своими железными пружинами...

Мы пересказывали с предмета на предмет, как бабочка перелетает с цветка на цветок, и мне нравилось, что кончики пальцев ощущают неведомую цветочную пыльцу...

К тому же, я уже догадывалась, что все курсы для иностранцев существуют вовсе не для иностранцев, а для того, чтобы дать бедным немецким гуманитариям хоть какую-нибудь зарплату. Мы были, по существу, в почти одинаковом положении, ибо они, сыновья прославленных немецких университетов, чувствуют себя в пивоварной и маульташной Германии не в своей тарелке, то есть, как бы и не в своей стране...

Приторный дух пивных дрожжей проникал в класс из соседнего здания, это мешало сосредоточиться, но зато придавало изучаемому языку некий этнически-исторический подтекст...

Но больше всего, как и в любом театре, меня здесь восхищали ремарки, хотя я ещё ничего не знала о настоящей профессии моего нового сумасшедшего друга, связанной не со штутгартским ликбезом для иностранцев, а с маленькой венской сценой... Опаздывая по своему обыкновению на полчаса на занятие, он вежливо здоровался и задумчиво, как бы в качестве или вместо извинения, произносил:

«Как вы знаете, немцы — очень пунктуальны... Итак, следующая наша тема — часы и время...»

...Вообще я теперь думаю, что в каком бы возрасте не сел человек за парту, он всё равно становится ребёнком... В этом я окончательно убедилась,

навестив в Нью-Йорке свою бывшую сослуживицу, почечницу и сердечницу с большим пенсионным стажем... Она в этот момент как раз разговаривала по телефону со своей тамошней подружкой по Туро-колледжу, про который её пятилетний внук, вовсе не стараясь быть остроумным, но оперируя знакомыми ему понятиями, говорил так: «Бабушки нет, она ушла в дуэро-колледж»... Так вот, на сей раз бабушка, к счастью, оказалась дома, но была очень взволнована результатами сочинения: «Представляешь, — чуть не плакала она в трубку — я ей, училке, пять страниц про Агату Кристи написала, а она — ноль внимания, даже спасибо не сказала...»

...В классе, кроме нас двоих, постоянно ссорящихся и мирящихся, к чему все постепенно привыкли и уже даже не замечали, тихо занимаясь (каждый — своим делом...), было ещё тридцать человек, и вполне возможно, что они там из-за нас так ничему и не научились... Но если научились чему-нибудь большему, чем «Я люблю кислые щи» (или же — маульташи и пиво), то это, в какой-то степени, тоже благодаря нам...

Он, во всяком случае, на следующий день после выпускного экзамена пришлёт мне в хайм письмо с благодарностью за совместную работу и с надеждой, что мы устоим и в последней (очередной...) нашей размолвке...

...А пока я, черпая язык, главным образом, из него, хотя были у меня уже и знакомые профессора славистики, знающие моё литературное имя, но именно его язык, застенчиво патетический, с лёгким налётом сарказма, как бы посвящал меня в ту шизоидную Германию, которая мне грезилась ещё в студенческой юности, — пока я внимательно слушала и наблюдала...

Над этим рано облысевшим выпуклым черепом, видно, немало потрудились не только природа, но и семья: родители вкладывали в него томик за томиком, симфонию за симфонией до тех пор, пока всей этой библиофоно-и ещё много чего-теке не стало тесно, и тогда грецкий орех предупреждающе затрещал, засверкали в висках головные боли, накатила волна типично петербургской хандры в довольной судьбой и собой картофельно-виноградной Швабии...

Всё это мне было видно сквозь тонкую, стеклянную для меня кожу его высокого лба; потом однажды, в маленьком захолустном кафе, он, потупившись, вдруг спросит, всегда ли я так читаю закрытые книги, и я помедлю с ответом...

Ещё в университете, где штудировал историю, попались ему под горячую руку русские анархисты, чем-то, видимо, похожие на меня, залихватски расправлявшиеся со слащавым обществом и его шоколадной культурой; мыслями завладел Троцкий...

Ну вот, а я ему — о Гегеле, а он его, разумеется, на дух не переносит со всеми его теориями «несчастливого сознания»... Потому что ему это всё не запрещали, а, наоборот, насильно вводили, как бастующе голодающему — питательный бульон, как нам — Маркса... (Помню, с каким восторгом я обнаружила в Ленинграде новые вывески на одной из самых больших магистралей Выборгской стороны; со всех домов восклицало: «Пр. им. КАЛА МАРКСА»..., вся страна была у нас имени этого самого...)

Так что политические разногласия между нами вскоре были устранены: каждый простил другому университетскую аллергию на некоторые имена... Тем более, что сошлись на Ницше и французских импрессионистах.

А вскоре он придёт на день рождения к нашему общему приятелю со случайно изданной на немецком книжкой Одоевского «Петербургские ночи», и все будут спрашивать, что это за книжка, а он многозначительно промолчит, потому что, конечно же, понятия не имеет, только что купил — за название, и ещё более многозначительно поглядит на меня...

Наши диалоги всегда шли по касательной...

...И после всех наших душевных бесед, состоявших, главным образом, из полуфраз, после всех вспышек щёк и поочерёдных обетов молчания, длящегося иногда по несколько месяцев (я подыгрывала его болезненной ревности, ибо душа его нуждалась не в завоевании, а в трепете предвкушения), после диктанта в лесу (нашёл место...), после моих громко дребезжащих от страха, и чего-то ещё, давно забытого, коленных чашечек у него дома (умница, вышел в кухню сварить кофе, вернулся бледный, как полотенце, синяя вздутая жилка на алом виске, уронил чашку, бурый кофе растекался медведем по тепиху...), после его неприезда в мой Петербург (где, бухаясь с трапа в кучу друзей, подумала: зря приглашала, всё ему здесь чужое, будет только дрожать от холода и злиться от непонимания; а он в это время, конечно, сломал ногу на тренировке...), после того, что мы уже начали смутно догадываться о недовольстве нами не только наших семей, но и наших Богов: ибо при каждом, даже косвенном приближении друг к другу, сыпались с обеих сторон смерти, болезни, суициды, после всего этого и, наконец, как мне показалось, забвения, он позвонит, чтобы уже не молча подышать в трубку и повесить её, как обычно, а чтобы твёрдо и грустно признаться:

— Бог дал мне только один талант: видеть чужие таланты...

В том-то и дело, что я за все свои метания в жизни плачу своими словами, своей неудержимо хлещущей кровью, а он — цитатами... Он всегда посвящал мне чужие мысли и чувства, ставя на титульных листах не им написанных книг свои автографы... Здесь почему-то дарственные надписи на чужих книгах тоже называются «Widmung» — посвящение. Точно так же, как и печатное, официальное посвящение ему большой двуязычной книги стихов, исписанных моей тоской и моим сарказмом и изданной в одном из немецких университетов... Будет потом сидеть на старости у камелька, перечитывать и вспоминать... Это единственное, что я могла для него сделать.

И если когда-нибудь эти записки будут переведены, меня согревает мысль, что есть один человек, который не ополчится на меня за Германию, хотя и ему, конечно, за державу обидно... И, может быть, больнее, чем кому-то другому. (Так же, как и мне — за Россию, когда её линчуют другие...)

Но если бы он мог написать о ней сам, то получилось бы что-то до боли похожее, да, до боли, до спазма, до ожога стыда, до тихого, без закуси, покаяния...

* * *

*И как будто опять сотворенье начал:
Виноградная дрожь и сгущение красок...
Но всего только шаг до срывания масок
И уже не Венеция — голый причал...*

*Никогда не стремилась, «чтоб как у людей...»
Может, Ангел Судьбы за терпенье потрафил...
И клюёт с бело-розовых рук площадей
Ястребиное зренье российских метафор.*

*Я пила и хмелела полночный Нью-Йорк
Из высотных бокалов /навыдумал зодчий.../
И теперь если сердце отчаянно «ёк» —
Значит, в доме случайном почудился отчий...*

*Я читала размытых огней письма
В перевернутых книгах и Сены, и Темзы...
Отпусти мою руку. Шершава она.
Это в детстве... Чернила... Напильником пемзы...*

Меня давно занимает вопрос, что же такое менталитет, и немецкий менталитет — в частности... Не порошний ли это звук модного слова, не миф ли в той же степени, что и загадочная русская душа, и белозубая американская открытость, и французская двух— трёх— и более-смысленная любвеобильность, и английская, подчеркнутая ледяным воротничком, чопорность?

Ну, во-первых, ни в одной, как говорится, семье не обходится без уроды... Под уродами все, без исключения, семьи подразумевают своих неприкаянных чудаков: поэтов, художников, музыкантов... Эти (хорошо ещё, если со снисходительным оттенком образованщины, со скидкой на классику...) идиоты, где бы они ни жили, ухитряются совершенно не понимать, где они живут... Рисуют не доярку с молочным выменем и не секс-бомбу с открытым запалом, а какую-то невзрачную моно-Лизу со щербинкой в зубах; не умеют фотографировать в замочную скважину, видят в лужах — звёзды, не уважают самую изящную в мире лиру — графическое изображение доллара, и вообще шелесту купюр предпочитают бессмысленный шорох листвы... Эти люди потеряны для любого общества. Конечные, можно сказать, люди и, к тому же, всегда уклоняющиеся от налогов на том основании, что у них, видите ли, нет денег... А откуда ж им, деньгам, взяться, если они на деревьях, как известно, нигде не растут; продавать надо, что производишь, а если ничего не производишь, тоже надо уметь перепродать...

Этих, прости их Господи, инвалидов здравого смысла, отличающихся от лучезарного больного в моём окне только тем, что они что-то там сочиняют или пиликают, ни одна общественная наука в расчёт не берёт. Всё равно они и на выборы, как правило, не ходят, хотя их этого гражданско-го права и не лишали; но они почему-то заранее знают, что выберут, дай-то Бог, не самого глупого негодяя, который их, дай-то Бог, не тронет, оставит в покое, и можно будет снова играть в слова, мусолить кисточки или нырнуть головой в роаль...

Говоря о менталитете, а именно — о немецком менталитете, я подразумеваю тех порядочных граждан, которые утром, а не на ночь, и не весь день напролёт, пьют кофий (не обжигаясь, внимательными глотками, и непременно со сливками), никогда не опаздывают ни на службу, ни на Миттагессен (что свято — то должно быть свято...), увлечённо следят за

уровнем холестерина у себя в крови и за тюлевой занавеской в соседских окнах, никогда ни секунду не задержатся в своём кабинете, если рабочий день уже закончен, пусть даже у дверей кто-то внезапно умер — это проблема того, кто лёг умирать в неположенное время в не отведённом для этого занятии месте; а хозяин кабинета — владелец менталитета должен вежливо переступить через труп и, пожелав встретившимся в коридоре коллегам «Schönes Wochenende» (и подумав при этом: «Что б вы все сдохли»...) спокойно пройти на оплаченную стоянку к своему вымытому накануне автомобилю.

Чюс — кюс, чюс — кюс, чюс — кюс... Русскими ерничающими буквами эти прощальные страсти-сласти воспроизводятся ещё более пакостно, и хорошо: гротеск — это реализм, бросающийся в глаза, правда, которую нельзя не заметить, если, конечно, не отворачиваться от неё и не натягивать на уши звуконепроницаемую шапку...

Постепенно я стараюсь избавиться от большинства своих немецких знакомых, и в первую очередь, от тех, которые «любят ауслендеров» и ругают Германию...

Именно они, сами того не осознавая, — самые глупые, самые фальшивые и, по сути, — нацисты... Так в России какой-нибудь добродушный пузан в начальственном кресле мог порассуждать на досуге, как он любит евреев, что у него даже есть один знакомый еврей, и совсем даже неплохой человек, не жид пархатый... А ведь именно это — напоминание людей по национальному принципу — и есть основа любого нацизма. Не говоря уже о том, что в качестве сослуживца он бы этого «своего еврея» на ковёр не пустил, хоть бы того и попёрли отовсюду, как это бывало, за «пятый пункт» и светлую, без кавычек, голову.... Похлопал бы покровительственно по плечу, на всякий случай уже брезгливо отодвигаясь, — ну, ты, мол, брат, и сам всё понимаешь, если б я мог — я бы...

Немцы, отдать им должное, в сослагательном наклонении не рассуждают. Квартира, работа — всё это наши проблемы, как, собственно, и каждого из них. Но они говорят: «У немцев тоже нет работы», «Немцам тоже не хватает квартир», «Немцы трудятся, немцы платят налоги». — Одним словом, — немцы, немцев, немцам, во всех падежах... Как будто «немец» — это профессия, или даже специалист высокой квалификации, а не всего-навсего национальность... Да и трудятся они, чего уж греха таить, чаще всего, в многочисленных сотах бюро, а улицы им метут и тарелки скоблят те самые ауслендеры, иностранцы, которых некоторые из них так любят... Особенно сильно любят, если ауслендер ещё и культурный человек, с университетским дипломом...

Ну да ладно, хватит брюзжать, тем более, что всё равно Германия скоро абсолютным большинством жителей примет Ислам, и Аллах всем нам поможет найти работу или новую Родину... Турки — они, бестии, коварные, они ещё хуже евреев и немцев...

Нет, действительно, хватит, ей-богу, майн Гот, достаточно, так ведь можно однажды себя и на лавочке перед хаймом обнаружить: сидишь и с ностальгической нежностью вспоминаешь...

О чём? — А разве не о чём?

О молодости, ну да, конечно, о молодости, потому что там и первые ямбы, и первые звёзды, а не только бычки в томате и «Солнцедар», от которого утром ломило голову, как от удара утюгом по затылку...

Собственно, я уже вернулась туда, на свою родину, — в русский язык, когда начала писать не на чужом — о России, а на родном — о Германии... А если я вернусь ещё и на свою любимую улицу, то... горе ей и всему русскому менталитету... Потому что я, в отличие от моей кошки, не люблю шкодить натихаря... Ругатель должен находиться в досягаемости ответного удара, чтобы, глядя в глаза обиженному обидчику, ответить на неминуемый вопрос: если всё здесь так плохо, то почему ты всё ещё здесь?..

Думаю, что если эти записки будут когда-нибудь переведены на немецкий, то немецкий читатель, особенно, если это — читательница, прошипит именно это уже на самых первых страницах...

Здесь и без всякого повода, без всякого недовольства чем-либо со стороны эмигранта могут запросто подойти прямо на улице к постороннему человеку и озадачить его, что называется, наповал: «А почему Вы приехали в Германию?»

Звучит это «почему» как не почему, а — «зачем», то есть, какого чёрта, собственно, так оно, и переводится, если переводить не дословно, а точно...

У меня нет ни одного приятеля, ни одного, так сказать, друга, который раньше или позже не всадил бы мне в печень этот вопрос... И большинство — именно раньше, за первым же — *zusammen* — кофе, или прямо в прихожей, загородив спиной комнату и протягивая руку, которую так не хочется пожимать. Потому что это и есть нацизм...

— Oh, Rußland, Wodka, Elzin! Warum sind Sie gekommen? — спрашивают — как допрашивают... И даже не понимают, до какой степени все они бескультурны, если доцент одержим тем же вопросом, что и уборщица.

Представляю себе такую картину: идёт лицо немецкой национальности по Невскому проспекту, спрашивает прохожих, как пройти к Эрмитажу, а в ответ, вместо или кроме ответа, слышит: «А Вы откуда? А, Германия — Коль, пиво, сосиски! А Вы зачем в Россию приехали? А Вы здесь не остаетесь?..»

Да если б какой-нибудь распоследний алкаш с тремя классами к постороннему человеку так привязался, его бы другие проходимцы через улицу тут же утихомирили; ещё и по физиономии бы схлопотал за такое «гостеприимство».

Потому что наши люди — культурны. Это не парадокс и не сарказм. И накустылять могут, и вилку в левой руке до сих пор как-то наперекосяк держат, и вино красное, не обогрев, прямо из холодильника в стакан ливанут, но сердцем русский крестьянин культурней немецкого профессора.

Стоп, стоп, а разве не лезли в душу прямо в галошах, сияющих, прыгающих одна за другой с конвейера фабрики «Красный треугольник», а милиционер, участковый, помнишь участкового, как он ворвался с тремя дружинниками в квартиру, чтобы проверить, что это вы там читаете по ночам... (А читали вы, разумеется, Солженицына...)

Не от этого ли вмешательства в личную жизнь со всеми вытекающими отсюда по — и действительно — следствиями и стремились в свободный мир, где никого не волнует, горит ли у тебя свет по ночам, да и вообще, жив ли ты ещё...

Тем более, что никто здесь почти не читает и не пишет, а пишут только те, кому за это хоть что-то платят, значит, так и пишут, чтобы платили, и, следовательно, опасности для общества не представляют...

Россия в самом деле удивительная страна. Мы — мазохисты. Мы сами спим на полу, а гостю стелем единственную в доме перину. У нас даже вожди такие же полоумные: всегда воевали не с чужими народами, а со своим собственным. Гитлер строил Освенцим для славян и евреев, а Сталин — тоже для славян и евреев, впрочем, и для немцев — тоже, но не для немецких немцев, а, опять-таки, для наших, своих, и в первую очередь — для товарищей по партии.

Так в чём же она, загадка русской души? В светлой наивности, плавно перетекающей в ослепительную глупость?

Думаю, что всё же в культуре. И не в русской национальной культуре (Бердяев, Флоренский, Соловьёв...) — гениями, лет через пятьдесят — сто после их смерти, может похвастать каждый народ, а в самой обыкновенной, человеческой.

Ещё Пётр Первый учил своих подданных не только «пальцами и яйцами в соль не тыкать» (чему так и не научились...), но, главное, «не плюй в тарелку соседа»...

Мы других шибко любим, вот что. А к себе самим испытываем отвращение, как к пресмыкающимся (я себя тоже люблю, между прочим, как змею подколенную...), и стараемся навредить себе как только можем...

А, может, и хватит пресмыкаться-то? В Петербурге и в Москве первопрестольной — метро мраморное, позолотой крещённое, а в Нью-Йорке и Лондоне — льётся под ноги коричневый урин из недопитых баночек «кока-колы». И ведь, заметьте, совершенно неважно, какая политическая погода стоит на дворе, просто у нас другим под нос гадить не принято.

В Германии, правда, всегда был культ чистоты, улицы вылизывались до полной стерильности, — то есть до отсутствия на них даже бактерий, без которых, как известно, нет жизни... Но культ и культура — далеко не синонимы. Наоборот, одно часто исключает другое.

Иногда я включаю телевизор, и через десять минут мне становится нехорошо: на экране самодовольный, весь в бицепсах молодой человек смачно чавкает шоколадкой, поднося её к носу собачки — и тут же отправляя себе в рот, следующий такой же трюк — с девушкой, в общем, что-то вроде «А ну-ка, отними!», были у нас такие конфеты, но вот таких «джентльменов» даже советская власть не воспитывала...

Или, например, реклама парикмахерской, текст за кадром: «Мои соседки завидуют мне, что я такая красивая, а я им не скажу, что я всегда хожу делать причёску к...» — дальше, разумеется, следует адрес... Но дети, для которых телеэкран — бесплатная няня, вырастают с твёрдой уверенностью, что жить надо не по совести, а по зависти, что с прекрасным полом нечего церемониться; здесь не уступят место женщине, а если кто уступил — можешь смело обращаться к нему по-русски...

(Это такая же народная примета, как — на весь трамвай — великий, могучий, не забытый в скитаниях, в общем, бля, памятник русской культуры трёхэтажной постройки...)

И вообще мне кажется, что, как это ни странно, всё то, что советская пропаганда рассказывала нам о капитализме, было правдой. И только то, что она плела о социализме — ложью, в чём мы никогда и не сомневались...

Человек человеку — волк. И у немцев это получается как-то уж особенно хорошо. Я бы даже памятник Рэму и Ромулу из Италии в Германию перенесла, как наиболее соответствующий менталитету...

А всё остальное, доходящее до анекдотичности законопослушание, например, — это уже мелочи, карликовые ростки, которые приятно разнообразят гладкоскользкий пейзаж нордического характера... Во всяком случае, как-то «оттепляют» представление о нём...

Выхожу я однажды на тихую узкую улицу, уже и вовсе обезмашинело, все порядочные люди давно спят, только какой-то покачивающийся субъект торчит под светофором и, когда я с ним поравнялась, спрашивает: «Не знаешь, где тут ещё светофор, этот сломан, а мне надо на ту сторону...» «Знаю: довольно далеко, за поворотом»... — «Так что же мне делать?!»

Представляете себе русского алкаша, застывшего в отчаянии перед такой дилеммой?.. Да мы все, вместе с нашими начальниками ГАИ, на красный свет, как к родной маме в объятия, бежим...

Немцы безошибочно реагируют на световые и звуковые сигналы.

Они уже твёрдо знают, что убивать евреев — нехорошо. И что антисемитизм — это совсем плохо. Поэтому, если какой-нибудь новый Адольф фон Шариков придёт и скажет, что мы с вами сейчас начнём убивать евреев и становиться антисемитами, они напишут плакат и выйдут в знак протеста на демонстрацию. Но он же не такой дурак, чтобы повторять прошлые ошибки. Он, наоборот, напомним всем, что антисемитизм — это позор нации, и мы сейчас будем с вами бить не евреев, а всех «не наших», которые понаехали и из-за которых у нас тут безработица, криминалитет и всё прочее...

И тогда они начнут бить, спокойно, послушно, сосредоточенно, постепенно входя во вкус и в экстаз, всё ж таки все мы люди, и они тоже, могут и погорячиться при всей своей дисциплинированности и привычке не делать лишнего... И опять укокошат семь или больше миллионов...

Не правых надо бояться, не тех, кто знает, что и зачем он делает, может, правые в глубине своей души более левые, чем левые, но рынок идей уже поделили, и им достались именно эти, правые идеи, которых никто не взял... Бояться надо тихих, послушных, старательных, имя коим — народ...

Но вот что интересно: немцы никогда не вызывают у меня жалости, а значит — и презрения... Их можно ненавидеть, но ими нельзя пренебречь. В ненависти ведь, согласитесь, есть некий холодок уважения, чувства дистанции... Словом, я нахожу в немцах всё то, чего мне недостаёт в евреях...

А интересно, кого в мире было всё-таки больше: великих евреев или великих немцев? Наверное, великих немецких евреев или великих еврейских немцев...

Потому что это как бы пламень и лёд в одном сосуде...

И вообще, чего я к ним привязалась, люди — как люди...

Честно признаться, я и до сих пор толком не знаю, что это я такое пишу, то есть, к какому жанру относится, писуемое, так сказать, мною произведение... Я хочу только одного: чтобы оно как можно скорей окончилось и отпустило, если не душу — на упокой, то хотя бы тело — в бассейн...

А границы жанров в наше эклектичное время везде смываются или же легко приподымаются одной рукой — как верёвочные оградки, поделившие прямоугольный рай цвета медного купороса на дорожки для плавающих...

Кто может мне, например, точно сказать, где кончается свободное предпринимательство — и начинается свободная спекуляция? То есть, какую

прибавочную стоимость присваивать можно и нужно, а какую цену следует осудить как «накрученную»? Вопрос этот обычно решается эмпирически, попросту говоря: по какой цене берут — та, стало быть, и научная... В блокаду, например, знаменитые часы Буре, полкило золота с цепью, шли за буханку... Смею предполагать, что первые «новые русские» появились уже тогда, только их тогда как-то иначе называли...

«Я не знаю, где граница между севером и югом,

Я не знаю, где граница меж товарищем и другом...»

Вот и я не знаю... И лезут ко мне всякие господа-товарищи в непрошеные лагерные корешки (лагерь — это место концентрации русских евреев, где плотность заселения переходит уже в почти сплюсненность...), болит у них, корешей, душа за культуру в свободное от спекуляции машинами время, а поэт — утешай...

Ну а что касается этих записок, то они по своему внутреннему жанру что-то вроде дневников Анны Франк или ленинградской школьницы Тани Савичевой:

Вот уже и Петрюковых нет...

И Гришмановых...

И Кацнельбобенов...

А мы всё ещё здесь, на Viehwesen 22; замечательный, кстати, адрес, я его для книги даже менять не собираюсь, ещё и вынесу в заголовок большими многозначительными буквами, потому что не найти метафоры точней и невероятней, чем самая обыкновенная повседневная жизнь...

Мне, между прочим, посоветовал так назвать свою книгу об эмиграции ещё там, ещё тогда один очень толковый, хотя и царапающе циничный, социальный работник. (Циники глупыми не бывают, это прерогатива, увы и ах, прекраснодушных болванов, которые из всех сил тщатся стать ну очень хорошими людьми, но у них это из-за глупости не очень-то получается, могут нагадить совершенно произвольно, из лучших, так сказать, побуждений...) Он же, если кому и пакостил, то по-немецки, из мести, а из властолюбия, наоборот, всем искренне помогал, не щадя темени и времени своего, и вообще, в отличие от многих своих коллег, не зря получал зарплату...

В юности обременил себя двумя высшими образованиями, читал Оруэлла и, конечно, знал сакраментальную фразу: «Все животные равны, но есть животные равнее других...»

Если я неправильно паркую машину, — смеялся он, делясь со мною своими наблюдениями, — я плачу штраф, а еврей — вместо того, чтобы заплатить по квитанции, — кричит: «Караул, антисемитизм!»...

Мне нечего было ему возразить, он поневоле стал хорошим специалистом по «еврейскому вопросу», но он-то — по долгу службы, а я — на кой чёрт и за какие грехи?!

Да, именно так, Viehwesen 22, что в переводе означает скотский хутор, где все пытаются вставить свои длинные еврейские «пяточки» в чужие дела, а если ещё учесть отношение к этому патетическому адресу аборигенов, заносчивых жителей почти кассилевской страны — «Швабрании», то становится ясно: никакой научной или не научной фантастики не бывает; просто есть реалисты, которым удаётся заглянуть туда, куда другим реалистам вход воспрещён, и последние, чтобы не выглядеть недотёпами, объявляют осязаемо существующие планеты плодами воображения первых...

Мне тоже, прочитав эту книгу, могут заявить, что так, дескать, не бывает, что нет ни Германии такой, наверное, автор просто принял за ворот лишнего, как говорят немцы, «über Hals», и вообразил себя Колумбом, спустав Индию с Америкой; и уж чего совершенно точно не может быть — так это такой улицы на штутгартской карте и такого свинского общежития...

Не верите? А мы сейчас снова туда вернёмся, потому что же нам делать, куда же нам ещё возвращаться, если мы там прописаны-анмельдованы, если там — место автора в стойле и его доля в кормушке... В том-то и дело, что возвращаться нам, господа эмигранты, больше некуда...

А жанр... (Мы его, если мне ещё не изменяет память, так и не установили...) Ну что ж, отнесём эти записки просто и скромно к «пушкинской прозе»... Почему к пушкинской? А помните: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь...»

Also, приехали...

* * *

*Ничего не изменила заграница.
Разве только поулыбчивее лица.*

*Разве только виды более гористы.
И не снятся с первым снегом — декабристы...*

*Разве только/уж не этого ли ради.../
С дрожью шепчущие губы — в шоколаде...*

*Да торчит, как на помятом хулигане,
Синтетический колпак на пальтоугане...*

*Лучше было в этот мир явиться кошкой,
Чем зачуханною теткою с картошкой...*

С мужиком на хмурой шее да с дитяи...

Нуют ночью заусенцы под ногтями...

*Помереть бы тихо — тихо, без мучений,
Не нарушив гул и глянец развлечений...*

*Я увидела Париж, чего же боле...
О покое помолюсь, а не о воле.*

*В этой жизни мне и скушно, и натужно,
А другая... Коли нет — так и не нужно...*

...И опять потянулись дни, и даже не один за другим, а узеньким сплош-няком, серой тяготинкой, как обезвкусевшая уже жвачка, когда пыта-ешься отодрать её от зубов....

Будто нет, не было и не будет никогда ни чисел, ни месяцев, ни стра-ны, ни мира, а только этот растрескавшийся панцирь асфальта, над кото-рым торчат несколько замшелых бараков да несколько пробившихся таки к свету пыльных травинков...

Чудо-юдо...

Чудо — Jude...

Viehwasen 22...

И ещё автор заранее просит извинить его за ненормативную лексику, проникшую в повествование из ненормативной, так сказать, жизни...

* * *

...Ночь, нехотя переходящая в раннее, ещё очень ночное утро... Только в это время можно сразу дозвониться из будки до Ленинграда.

(Как там моя рыжая бестия, сидит, верно, на адаптировавших её коленях и сладко, как Владимир Ильич, шурится — сознание моё онемечивается, *meine liebe Katze*, глагол сам ползёт, поджимая хвост, в конец предложения...)

В разбавленной одним жидким фонарём (я имею в виду слабенький блик, а не жидомасонский источник света...), в глубокой ещё темноте двора различаю я мужской силуэт, отделившийся от противоположной стены и надвигающийся прямо на меня...

Страх, разумеется, нет. Я же не араб, чтобы бежать от одного еврея... Только вот что ему от меня надо? Зажигалку?

Он уже дышит стеснительно мне в лицо, переминается с ноги на ногу и, поглаживая интеллигентский клинышек куцей бородки, осведомляется:

— Простите, но очень интересно узнать, куда это Вы идёте?

Ну что, что можно было ответить, кроме:

— В вонунгсамт, за ключами от пятикомнатной, а Вы тоже? Или по-маленькому?...

* * *

...Бесплатную газету (сорок страниц вздора, од ветчине, славословий в адрес отцов города, достойных советской, как мы тогда говорили, много — вытирашки..., сексуальных призывных стонов под видом массажных объявлений, а Кафку, «*Der Schloß*», мне еле откопали в городской библиотеке, давно не переиздавался), так вот, эту газетку, которую я, к восторгу Костика, тут же переименовала из «*Wochenblatt*» в, простите, «Вохенблядь» (ещё раз прошу простить и заметить: это не дворовая брань, а беспристрастный профессиональный отзыв специалиста, ведь читаешь — и плакать хочется, как жалко бумаги...), эту газетку выгружали у наших ворот по четвергам целыми тележками...

Очевидно, юным бизнесменам, школьникам — разносчикам, было сподручнее вывалить всё своё задание здесь, чем выискивать редкие на нашей улице почтовые ящики.

И вдруг — через полчаса — уже ни одной газетки...

Жаль, в кои-то веки понадобилось, там должно было быть несколько строчек о первой выставке мужа, всё-таки, как-никак, сувенир...

Спрашиваю хаузмастера, куда подевалась гора сегодняшней прессы, а он хохочет:

— Да герр Панасюк всё, до последнего листика, к себе оттащил, чтобы в поисках «*Wohnung*» und «*Arbeit*» не иметь конкурентов...

(Вероятно, «герр Панасюк» полагал, что конкуренты живут только здесь, на Фиевазен, а то бы он весь город обегал, чтобы уничтожить почти полумиллионный тираж...)

* * *

...Костик вбегает радостный, возбуждённый:

— А на Вашем месте (мы уже переехали — через коридор — в комнату попросторней) Доберман поселился!

И чего это он, думаю, в таком восторге, какая в сущности разница, кто там теперь живёт: слева Оберман, справа, значит, Доберман... А где-то в Израиле — Губерман...

Мне и в голову не пришло, что он — о настоящем, изящном, как балерина, на четырёх, правда, пуантах, очаровательном пинчере... (Костик тоже любил животных, и наша с ним полная адаптация произойдёт, когда у него в доме появится сеттер с влажными, бархатными, как бы «анютиными глазками», а порог моей квартиры переступит наша рыжая хвостатая девочка, приехавшая, наконец, для воссоединения с семьёй...)

Но тогда я, трезво оценив ситуацию, покачала перед зеркалом головой: плохой симптом... Ты, кажется, начинаешь туго соображать...

* * *

...Вообще местные газеты по своей бездарности и безликости вполне могли бы вызвать на социалистическое соревнование всю советскую прессу имени нашего дорогого, сочно причмокивавшего, не столь харизматического, сколь маразматического «лично товарища»... Вот только читатели здесь, в отличие от российских, не строптивы: всему верят и возмущаются не корреспондентом, а только вместе с ним каким-нибудь фактом... Да и то, не возмущаются, а обсуждают, переливают полученную информацию из пустого в порожнее...

И пользуются каждую неделю новыми косметическими кремами и лекарствами, которые заботливо рекомендуют производители и продавцы, заботясь, естественно, главным образом о том, чтобы ваши марки стали их марками... (Немецкое общество можно смело охарактеризовать как общество «филателистов»...)

Если вычесть эту потребительскую наивность, то мне иногда даже кажется, что Германия и есть страна того самого «развитого» — слышите воркующее ударение на «о»? — социализма, о котором мечтали в нашем пенсионном правительстве...

Тишь да гладь, все улыбаются, можно спокойно играть в машинки...

С той только поправкой, что здесь 75 лет расцветом творческих сил не назовут нигде, даже в Бундестаге...

— Слушай, а какая разница между Бундестагом и Бундесратом?

— Отхлынь, говорю, сынок, не знаю, наверное, как между статосратом и сратостатом, всё одно — дирижопль...

И заслоняю глаза тяжелыми портьерами век, поленившись сходить к покрытому пятнами ржавчины, как глобус — морями, общественному умывальнику...

Ещё один нехороший симптом: так можно сначала перестать умываться, а потом и вовсе — вставать...

* * *

...Иногда ко мне в гости приходит известный поэт местного значения. Он пишет не на немецком, а на швабском, который кроме него никто не понимает, и поэтому он пользуется уважением...

Когда он первый раз спросил про меня на вахте, ему ответствовали: «Никаких русских писателей тут не живёт. Одни евреи...»

А когда он, уже зная трёхзначный номер моего обиталища, пришел во второй раз, причём, не один, а с друзьями и ящиком пива, обалдевшие евреи закричали, подхватив за кем-то первым (в любом идиотизме всегда есть кто-то первый, только его потом не найти...), заскандировали всем двором: «Ура! Немцы идут!»...

Я усмехнулась, наблюдая эту картину из своего окна: в 41-ом вы бы так не орали...

Что поделаешь, совсем одичали соотечественники от скуки...

Потому что все пакетики уже перепробовали, если это вообще возможно, и жизнь начала терять смысл... Хотя и не перестали заглядывать в чужие сумки, ощупывать глазами беременные продуктами полиэтиленовые мешки, — что ж это там такое, выпуклое, не иначе, как что-то изпод прилавка...

Ещё одна примета, по которой можно безошибочно узнать советского человека: он смотрит вам не в глаза, а — сначала — в кошёлку... Причём, что самое смешное и грустное, — непроизвольно, нечаянно, так же, как немецкая дамочка — на ярлычок вашего макинтоша...

* * *

...Особенно грустно становится, когда советский человек хочет сделать что-то хорошее, приятное всем, а именно он этого иногда и хочет. Потому что не советскому человеку на «всех» просто плевать, он о других не думает, тем более обо «всех»...

Взятая на службу в хайм жительница хайма решила, видимо, как-то разнообразить жизнь (чуть не написалось: отдыхающих...) проживающих, взбрело ей в голову, под её ещё не распушенную и не подстриженную тогда партийную «кичку», порадовать своих вчерашних сожителей...

И однажды возле решётки появилась, что бы вы думали, ...стенная газета. Настоящая, размалёванная цветочками и солнышками, словом, всё, как полагается... Правда, заметок о передовиках чистки зубов и отстающих по общественной швабре в ней не было, содержание носило исключительно праздничный характер: одна жилища поздравлялась от имени всего дружного коллектива хайма с пятидесятилетием. (О котором она вовсе не собиралась сообщать всему «дружному коллективу»...)

Ну, ладно, как говорится, посмеялись — проехали, schon vorbei...

Но на следующее утро — ещё один именинник, потом — ещё, да, к тому же, с фотографиями из личных дел, сданных в администрацию, как вы понимаете, совсем не для этого...

Нас в хайме скопилось уже только чуть меньше, чем дней в году, вот и получилось, что почти каждый день — чей-то день рождения...

Люди начали возмущаться, особенно громко возмущались, конечно,

те, кто сам рвался в лидеры «дружного коллектива» и завидовал доставшемуся ей рабочему месту...

А вот один мужик, крепкий, жилистый, и, к тому же смекалистый, сказал во всеуслышание возле очередного выпуска — назовём её так — «Хаймовской правды»:

— Ну, чего раскудахтались? Кто как, а я лично — доволен: каждый день знаю, куда пойти за стопариком... Кто у нас там сегодня? А, фрау Распушанская, — а это в каком бараке?..

* * *

...Никогда, ни при каких обстоятельствах не знакомлюсь на улице. Потому что умные люди идут по своим делам и ни к кому по дороге не вяжутся. Но у немцев почему-то не считается зазорным, например, с места в убане влезть в чужой разговор, да ещё со своим вечно свербящим, говоря по-немецки, горящем на языке: «Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?»...

В этот раз я была не одна, и знакомство, к сожалению, состоялось...

Весьма респектабельная супружеская чета забальзаковского возраста пожаловала к нам, на Фиевазен...

Он, заведующий отделом одной из крупнейших фирм, опасливо озирался по сторонам и не вставал со стула, очевидно, из экологических побуждений: чтобы не раздавить какое-нибудь из семейств путешествующих по полу тараканов...

Она же, представившись как большая любительница России, довольно быстро наклюкалась, болтала какие-то дамские глупости, которые лет сорок тому кому-то могли показаться милыми, а потом, почувствовав себя и вовсе свободно, видимо, как в любимой ею России, завела на весь хайм «Калинку-малинку». Разумеется, дальше первого куплета ни одна из её многочисленных попыток не прорвалась, но мне с лихвой хватило и этого...

— Душа — кричит — у меня тут с вами отходит...

Нашла — думаю — отхожее место...

Мы себя у вас в гостях так не вели, сидели чин-чинарём, отвечали почтительно на вопросы, а что жилище у нас к свинству располагает, так это — ваша вина... Могли бы и сообщить немецкой общественности, в каких условиях люди живут, или хотя бы помочь снять квартиру...

* * *

Немецкие женщины, видимо, не знают одного строгого правила, лежащего в основе закона всемирного, так сказать, тяготения: глупой может быть только очаровательная девушка, — тогда и глупость её кажется очаровательной...

А если к вам в комнату вваливается с громкими поцелуями влажная от климакса и плавящегося июля возбуждённая бегемотица и начинает с порога пересказывать немецкососедские сплетни, тут впору самой трубно завывать...

«Представляете, представляете, я слышала, я слышала, что русские проститутки... самые развратные...»

Интересно было бы знать, что она понимает под «развратной проституткой»?..

Ту, которая трудится, не щадя живота своего?.. Или дамочка полагает, что в пуффе должна работать стыдливо краснеющая Гретхен... (А в русском борделе — соответственно — скромная тургеневская девушка...)

...Ну вот, и ещё одной приятельницей стало меньше...

* * *

Жил-был в еврейской хитроумной мишпухе Иванушка-дурачок. Славный наивный малый, над которым все смеялись, а у него хватало ума ни на кого не обижаться...

Однажды гнал он на лихом своём велосипеде, да так, что памятник хаймовской культуры, статую несвободы — решётку нашу железную, чуть было не снёс.. Потому что спасался, как выяснилось, от полиции... Но форменные мальчики — тоже непромах, тут как тут, на гнедой машине настигли...

— А я что — говорит он им, потирая коленку — я — ничего...

— А если ничего, так почему от нас удираешь?

— А чего вы за мной гонитесь?

— А того, что вечером надо задний фонарь включать..

— А... А я думал, что я чего натворил... А вы только из-за фонаря?

— Из-за фонаря. Включай в следующий раз!

— Ну, какой уж теперь следующий раз... — И пнул кроссовкой сплюснутые останки велосипеда...

А потом Иванушка экзамены на языковых курсах сдавал. Явился при пиджаке, рубаха белая, чистая — смотреть больно, написал на доске из трёх слов предложение, да ошибся самую малость. Учитель, чтобы помочь ему, на мысль навести, говорит:

— Ты подумай, какой тут казус, и всё будет в порядке...

Иванушка думал-думал, мел в пальцах искрошил да как бабахнет:

— Никакого казуса тут нет!

«Падеж» — подсказывают ему по-русски — «падеж какой»...

— Падеж — отвечает тоже по-русски — именительный, а казуса — добавляет по-немецки — для комиссии — никакого нет, по-моему, всё нормально...

Но всё это только присказки... А сказка — ещё сообразительней и выразительней, потому что наивностью Иванушки все, кому делать было нечего, пользовались, а делать было нечего всем...

Вот кто-то и надоумил его, паренька одинокого, но в самом, как говорится, соку, пойти в маленькое, неподалёку от нас, пикантное заведение, сказав, что для получателей социальной помощи там предусмотрена скидка, надо только документы с собой иметь...

— И вот прихожу я, — рассказывает Иванушка через час после неслучившегося, — и прошу позвать мне директора. А девица внизу смеётся и кричит: «Пуффмугер, пуффмугер, тут молодой человек к Вам»... А я говорю: «Нет, мугер не нужно, лучше бы кого помоложе»... — «Так в чём же проблема?» — «Вот, — говорю, — мой социалпас, это талончики — на бассейн, это — на зоопарк, а вот здесь, мне сказали, под буквой «Б» — вы можете оторвать, чтобы за полцены...»

Часто провоцировали Иванушку на этот рассказ, долго ещё выступал он во дворе на «бис» с этой программой... Пока не женился. И женился, заметьте, за полную стоимость: жену себе из родной деревни привёз, кормит-поит-обувает, потому что в отличие от шибко умных дурака не валяет, а честно вкалывает. Словом, стали они жить-поживать, видеотехнику наживать, и дай-то Бог...

* * *

Что меня больше всего поразило в Германии, так это, стыдно сказать, первое посещение зубного врача, когда я, лёжа вниз головой в течение часа, никакой даже тени боли при операции всё же не ощутила. Он же всё время беспокоился, спрашивая о том, что я чувствую, и чувствую ли я что вообще... (Привык к швабским капризницам...) Отвечала я, понятно, только признательными щенячьими глазами, так как рот был забит щипцами, сверлом, его рукой и какими-то ещё неизвестными мне инструментами... Когда операция закончилась, он повторил ещё раз свой риторический до этого момента вопрос, переводимый на русский и как «что Вы сейчас испытываете?..» И пошатнулся от хохота, расплескав стаканчик с приготовленным для меня полосканием, так как услышал умиротворённое: «Оргазмус»... Между тем шутка была настолько близка к истине, насколько она вообще может быть к ней близка... Меня по сей день обуревают восторг в кресле у моего зубного, и ещё у моего гинеколога (притяжательное местоимение подчёркиваю я неслучайно, потому что «не мой» врач вполне может сделать с меня целый фотоальбом дорогих рентгеновских снимков, а я не настолько тщеславна, чтобы всё это коллекционировать...), беспокоить здесь может только одна «головная боль»: оплатит ли все полученные тобой удовольствия больничная касса?.. Но если бы самый искусный гинеколог, будь он при этом даже твоим лучшим другом, в этом сомневался, он бы не влез в твои недомогания, что называется, с головой... Поэтому, если ты, раскинувшись в кресле (не хватает разве что сигареты...), видишь, как сосредоточенно торчат промеж твоих ног его розовые уши, значит, уже всё в порядке, «schon erledigt»; это капитализм...

Только вот зачем я и об этом рассказываю?

Не иначе как — уличаю себя — позарилась — где-то там, в одной из полутёмных пещер своей возвышенно-родниковой души, где шуршат купюрами крылья летучих мышей, — польстилась на лавры самого читаемого в мире писателя, Эдички-свет-Лимонова?... И совершенно напрасно. Эти листики не для твоей насуспенной головы... Пошляком нужно родиться, так же, как горьким пьяницей или поэтом... Изменив же призванию своему, только потеряешь читателя, карабкавшегося с тобой в одной связке к сиянию вершин (вон он уже, я вижу, и вижу уже не в первый раз, пытается отстегнуть свой карабин...), а другой читатель, которого много, как бабы Вали, за тобой всё равно не пойдёт: ему гинекологию без социологии подавай, одну мясистую розу, безо всяких там шипов и вырезных листиков тёмно-зелёного стиля...

Так что, давайте договоримся: этой записи в моём дневнике не было...

* * *

...Влетает ... кто бы вы думали? Правильно, Костик, потому что именно он всегда влетает, но — в коридор, а перед комнатой медлит, чтобы и отдышаться и постучать, его так родители научили, — ждать, пока пригласят войти, и этим он отличается от основного населения хайма. Он возбуждён, кажется, нашёл халтуру, захлабывается словами: «Не знаю, на каком я сейчас свете, куча дел...» и т.п...

Вот он, родной наш, нежно любимый менталитет: все дела свалены в кучу, человек копошится в ней, в этой куче, рыпается, пытаясь выбрать — и снова проваливается... Потому что пока он выкарабкивался, на него навалилась ещё одна куча дел, и так — без конца... В немецком языке такое выражение невозможно. Оно бы не пришло ни в одну немецкую голову, на полгода вперёд знающую, когда и на чьей подушке она будет предаваться страстям... Я не знаю, какая из этих двух крайностей ужасней...

* * *

...И ещё несколько слов о менталитете. Иногда вдруг кажется, что встречаешь в чужой стране старых своих знакомых, только зовут их иначе и говорят они на другом языке, а кроме этого — всё совпадает... Я даже думаю, что и у меня есть везде по двойнику: и во Франции, и в Гренландии, и в каком-нибудь африканском племени «НИ БУМ БУМ»...

Посудите сами. Был у меня в прошлой ленинградской жизни приятель, который огорчал свою лучшую половину тем, что ни за что не хотел иметь детей. О себе он говорил при этом в третьем лице и с нескрываемой нежностью:

— Сейчас кто у нас мяску кушает? — Спрашивал он и сам же отвечал: — Серёжа кушает мяску... А потом что, он будет?...

И, заранее возмущаясь такой перспективой, пододвигал к себе поближе тарелку....

А здесь сижу я в гостях у одного своего немецкого, как их называет мой муж, хахаля, который, как и Серёжа, который кушает мяску, тоже никогда не хотел иметь детей. «Почему?» — спрашиваю...

— Потому что, — отвечает, — я всё подсчитал, налог за бездетность, конечно, большой, но ребёнок может съесть ещё больше...

И пододвигает к себе поближе тарелку...

Оба они уже плешивые, и оба кушают, в основном, бананы, как наши далёкие родственники...

Потому что мяску им никто уже не готовит... Да и не по зубам уже...

* * *

...Мне кажется и не нравится, что в местах скопления так называемых контингентных беженцев возникает какой-то новый контингентно-беженский диалект, основанный на приживлении русских черенков к немецким корням и уже проникший в русскоязычную прессу Германии.

Юные натуралисты! Изобретательные мичуринцы!

Будьте осторожны при разведении новых культур — мы можем получить уродливые и безвкусные плоды...

Представьте себе, что сказали бы читатели в России, увидев посреди вроде бы русского текста «хабать», «шпрехать», «кукать», «дрюкать» унд зо вайтер...

Они этого «фрессать» не станут... (А немцы — тем более...)

* * *

...Он представился моим коллегой, хотя выговорил это слово как-то странно, как-то на «кал»...

Графоманом назвать его было нельзя, потому что этот, хоть и не ахти какой титул, предполагает некую усреднённую грамотность, и даже много лет способствовал её развитию не только в самой читающей, но и в самой, судя по редакционным корзинам, пишущей стране...

Ему же, не знаю, как, но удалось сохранить то первозданное состояние мозга, когда даже алфавит использовался не полностью, видимо, он дошёл до буквы «Мы» или «Лы». Правда, у него была одна книжка, Пушкина, но он сразу меня предупредил, что читать её не читал и не собирается, потому что это может повредить его собственному таланту. Привёз на память о Казахстане...

Писал он подряд, без рифм, без ритма, без знаков препинания, доходя почти что до модернизма, если бы хоть слово «мама» было у него без ошибок...Продираясь сквозь дебри его, к тому же, дремучего почерка, окончательно одурев, я вдруг нашла две строчки, вернее, подобие строчек, которые показались мне на этом фоне воистину гениальными:

«И накануне ана вскачила и гостю груба закричала сними штаны сваи падлец...»

Я пахвалила и — тем самым — нечаянно возвела его в графоманы. А графоманов, как известно, хвалить нельзя...

Он стал приходить через день, декламировал вслух всё новые и новые произведения и, уже не дожидаясь моих похвал, перешёл на самообслуживание: рассказывал мне, как его хвалят другие:

— Одна учёная даже сказала: «Как вы в душу глубоко залазите, я так не могу...»

Словом, мне, не учёной, оставалось только пожелать ему «залазить» ещё глубже и признаться, что и я тоже так не могу..

Единственное, что мне удалось: это не пустить его через год на сцену на моём первом большом вечере. Хотя он и сказал, что с кем с кем, а со мной вместе выступать согласен...

* * *

У нас появились знакомые, кто бы вы думали... немецкие коммунисты. Очень симпатичные, признаться, ребята, хотя никого, кроме Карла Маркса, читать не хотели из принципиальных соображений. Последнего же декламировали с упоением, как стихи. Особенно жена, видимо, на женщин такой тип развратителей: фанатичных, темпераментных, до самых глаз бородатых действует особенно сильно. Не зря даже красавица Женни когда-то купилась, а потом, с детьми, было уже поздно, одна отрада — с Энгельсом пошутиться...

С коммунистом мы сошлись во мнении, что капитализм — это не очень хорошо, а тёмное пиво — наоборот — очень... После шестой бутылки он сказал, что из меня можно сделать настоящую коммунистку... И мы взяли за седьмую. А настоящая коммунистка тем временем обиделась и ушла, не прощаясь, без него на митинг. Боюсь, что этого он ей уже не простит...

* * *

...Костик решил объявить тараканам последний и решительный бой. Он отправился с пособием в аптеку, готовый отдать всё, что получил, за хорошее средство против этих никого не кусающих, но катастрофически размножающихся жильцов хайма. Местная эпидемиологическая станция с ними не справилась: отравилась только одна жалобная собачка, а они просто сходили в «Uglaub» на две недели и вернулись домой посвежевшие, бодрые, с новым приплодом...

В первой аптеке не повезло. Потому что Костик, по рассеянности или от волнения, или, скорее, по своим выдающимся способностям влипнуть в историю, попросил отраву не против «шабен», а «геген швабен», то есть, против коренных жителей нашей гостеприимной земли... И, увидев себя в зеркальных очках аптекаря, вылетел за дверь, не дожидаясь ответа. (Или полиции...)

* * *

...Наконец-то, впервые меня не бросило в ярость от вопроса: «Почему Вы сюда приехали?»... Так как задавший его, во-первых, долго краснел перед тем, как выговорить эту хамскую тутошнюю банальность, во-вторых, он лично, в этом можно было не сомневаться, радовался, что я лично приехала именно сюда, а не, допустим, в Африку, а в-третьих, после вопросительного знака, прозвучавшего как восклицательный, да ещё и — дополнительно — с двумя грустными слёзками точек, фраза закруглилась таким вот неожиданным образом: «Из Германии талантливые и умные люди всегда уезжали...»

Мне ничего не оставалось, как, польстив, но — совершенно искренне — возразить в том смысле, что он-то вот не уехал...

Последовала грустная, какая-то беспомощно-мечтательная улыбка, будто вослед уходящему поезду...

А я поймала себя на мысли, что мы с моим немецким товарищем идём по заросшим заржавленным рельсам по Viehwagen, как когда-то шли с Сережей Довлатовым по Чугунной...

* * *

...Как ребёнок норовит в своей кроватке принять форму эмбриона, так человек, можно сказать, заново родившийся в другой стране, постепенно окружает себя всё тем же и всё теми же, что и на своей печальной Родине... Во всяком случае, я не могу себе представить, что моими друзьями станут перепродавалы машин или вчерашние партийцы, даже если бы кроме них вокруг меня вообще никого не было...

А вот что Татьяна Григорьевна Гнедич нашла себе в лагере (другом, сталинском лагере) мужа-сантехника, и научила его ругаться «Феб с ним», это я представляю себе весьма хорошо и отчётливо...

* * *

В городской библиотеке моя рука набрела случайно на учебник русского языка для немцев. Читала я его ночь напролёт, не давая спать домочадцам, потому что то и дело содрогалась от хохота. Выражение «живой ребёнок», например, переводилось правильно, в том смысле, что «играющий» («подвижный» — это они уже не догадались...), но зато «живой дедушка» разъяснялось, как «Наш дедушка всё ещё жив»... С оттенком сожаления очень бы вязалось бы дополнить подлежащее определением «богатый дедушка»; видимо, таков и был ход мысли немецкого переводчика...

* * *

...Представьте себе такую картину. Вас вызывают в профком и спрашивают, не нужно ли Вам что-либо из мебели, не пришла ли в негодность Ваша одежда?..

Наверное, в такой невероятной ситуации советский человек тут же бы и родил, причём, независимо от пола... А в Германии это — повседневная реальность: два раза в году каждый нуждающийся получает от социаламта деньги на приобретение новой одежды. Только вот делается это, извините за выражение, по-немецки...

Вас приглашает социальный работник, в данном случае, — интеллигентного вида мужчина, кладет перед собой лист бумаги и.. приступает к допросу:

— Трусы есть? Сколько? — Так, записываем... — Ночная рубашка? Носки? — И так далее, хотя... куда уж далее...

И такое вдруг чувство, будто он в вашей корзине с грязным бельём роется, пересматривает всё, как кино...

Ходят слухи, что социальные деньги в Германии (и это не удивительно, вот ещё и югославов приняла эта маленькая страна...) подходят к концу, и «Bekleidungsgeld» выплачивать перестанут. А я почему-то думаю, что выплату не отменят, но введут процедуру личной проверки нижнего белья на каждом... Это, к тому же, позволит создать новые рабочие места «проверяющих наличие и состояние трусов»...

* * *

Пришла немецкая, как она себя называет, подруга. Она совершенно не понимает, что понятие дружбы предполагает и некие общие представления о том, что смешно, и о том, что трагично...

Известного анекдота о Гегеле, ответившем студенту, что если его, профессора Гегеля, теория расходится с фактами, то — тем хуже... для фактов, она не осилила. И долго объясняла мне, почему это неверно...

Зато очень расстроилась, когда на её рассказ о поездке в Польшу и раздаче там своих платьев, притом, не просто так, а, заставляя каждую женщину при ней примерить, чтобы не брали для продажи, — я засмеялась... (Это подтвердило мою вышеизложенную теорию, которая, можно сказать, уже не разошлась с фактами...)

Попытка же втолковать ей, что она дважды оскорбила благодетельствованных ею персон: и подозрением, и самой процедурой — привела только к вспыхнувшим от гнева (а отнюдь не от сознания вины...) щекам и

мстительному ответу, что, вы, мол, сначала без ошибок говорить научитесь, а потом уже будете себя с немцами... сравнивать...

Патриотизм всегда посещает её так же некстати, как она — меня...

* * *

Меня беспокоит странная, согласитесь, но уже многократно проверенная догадка, что дружба с немцем означает не что иное, как его любезное, выданное тебе разрешение, самозабвенно любить его, немца, и бесконечно восхищаться им...

Твои же успехи им (или — ею) чаще всего не прощаются...

* * *

Немцы не доверяют никому. Это касается и учреждений, и рынка, и личной жизни. Может быть, потому, что они почти всегда лгут... Нет, не в мелочах обманывают, этому им в хитроумной России ещё «учиться, учиться и учиться» — всё равно никогда не осенит их, например, рисовую крупу в томате сварить и под видом красной икры за час целый грузовик распродать, как это случилось однажды возле моей бывшей работы... За такое, мне кажется, не тюрьма, а орден Остапа Бендера полагается, потому что здесь не обошлось без специфического, но всё же — таланта... Немцы же вдруг скушно, причём, в главном, а именно: в своих помыслах, скрывающих умысел...

Вся реклама, например, построена на том, что добрейшие, надо полагать, бескорыстнейшие люди хотят вам помочь... Разумеется, только заплатите им, и чем больше вы заплатите — тем нежнее они будут о вас заботиться...

Зато в цифрах в Германии рекомендуется соблюдать точность. Здесь не поверят, если Вы скажете, что не обратили внимания на количество пфенигов, когда покупали духи любимой...

Я, например, уже знаю, как я докажу своё алиби, если мне придёт в голову ограбить банк: во-первых, это была шутка, посмотрите, пистолет — из Дома игрушек, только что купила, вот чек, 39 ДМ 99 ПФ, во-вторых, это было так: ровно в 13 часов 34 минуты иду я... Думаю, что этого будет достаточно.... Именно подозрительных и фальшивых людей так легко обмануть, если это, действительно, хочется...

* * *

...Наконец улыбнулась и мне возможность подработать «по-чёрному»...

Те евреи, которые ещё не живут в Германии, — и чтоб им всем, как говорится, так жить, — думают, что речь идёт только о простой, неквалифицированной работе, как говорили в России «работе для негров»... Странные представления были в стране, где пение «Интернационала» сопровождалось вдохновенным вставанием... Работа в Германии — это аристократический род занятий, а по-чёрному — заячье счастье бедняка, какого бы цвета ни была его дублёная кожа... По-чёрному — это значит прошмыгнуть, как

чёрная кошка в темноте, спрятавшись от налогов... Вот что такое — «по-чёрному»...

Моё же «по-чёрному» предполагало ослепительно белый халат булочной продавщицы...

Первым же посетителем, которому я начала, как меня научили, отдаваться улыбкой, когда он ещё только взялся за ручку стеклянной двери с той стороны, оказался «уж», директор моего социаламта. Он, получив из моих дрожащих рук две, несколько раз уроненные на пол, булочки с маком, очевидно, к первому рабочему завтраку, поздравил меня с началом трудовой деятельности, то есть с тем радостным, как он надеялся, фактом, что я, наконец, слезу с его, ужа, шеи...

Только окончила я лепетать ему уже в уходящую извивающуюся спину, что это, мол, пока бесплатная практика, как перед моей витринкой-трибункой, на которой я не имела понятия, что лежит, потому что названия репертуара..., простите, товара и ценники ещё не принесли, как из-под бодена (из-под пола, а не из-под бодуна...) возникла старушка... Миленькая такая, чистенькая, славная швабская бабушка, с аккуратно подпиленными коготками, один из которых указал на пышный хлебный кирпичик...

Но это было не всё... Она попросила его разрезать. Лихорадочно соображая, как это надо делать, вдоль или поперёк, и есть ли тут, вообще, нож, мне никто ничего накануне не показал, я вдруг нашла спасительный выход:

— Смотрите, вот половинка, именно этот хлеб, который Вам нравится...

— Нет, я возьму тот, и целиком...

— Зачем же тогда половинить?

— Я хочу видеть, как он выглядит изнутри...

Вот тут у меня и вырвалось:

— Лучше, чем мы с Вами, хотя и того же возраста...

По-немецки этот диалог прозвучал ещё более восхитительно, это был мой бенефис, последние гастроли всё равно уже погорелого театра...

Визит одной знакомой литературной дамы, живущей в другом конце города, но именно в этот день оказавшейся именно здесь и внезапно проголодавшейся, уже ничего добавить не мог. Я «отпустила» ей, как выражались в России брецель, сразу же отпустила, не тянула к себе обратно, и выслушала её кисло-сладкое «похвально, весьма похвально», прочтя по брезгливо поджатым губам, что больше мне в её гобеленовом салоне делать нечего, могу даже не беспокоиться...

А я и не беспокоилась. Ну и чёрт с ней, и с ними со всеми...

Вместо обещанного полтинника мне дали по окончании спектакля гонорар в виде мешка позавчерашних выпечных изделий, но я-то знала, что и этого слишком много...

Словом, ещё одна басня про сапожника и пирожника...

Видимо, каждый должен заниматься своим делом...

* * *

...На бирже труда, в арбайтсамте, мне выдали довольно странное разрешение на работу...

Мой немецкий друг, который никогда не врёт, и поэтому с ним так легко и можно тоже не лгать, и ничего, в том числе и себя самоё, не

приукрашивать, потому что нас обоих интересует суть, а не как она выглядит, вдруг посоветовал мне утаить мою российскую трудовую книжку с весьма романтичными, после удаления меня, как гнилого зуба, из советской журналистики, на мой взгляд, замечательными профессиями: уборщицы и кочегара...

Ничего мне не объяснив, да и что я тогда могла понять, густо краснея, велел предъявить только билет Союза писателей...

Теперь-то я знаю, как он был прав, потому что меня бы уже давно послали на курсы переобучения на швабскую, непревзойдённую, виртуозную «Putzfrau» и мне было бы некогда писать мои русские и мои немецкие книжки, и эти записки — тоже, и не то что ни один большой зал, но ни одна распродажная забегаловка не пригласила бы меня с литературным концертом...

В результате же не слишком ожесточённой, даже и не борьбы вовсе, а, скорее, игры в выяснение истины, я получила документ со всеми необходимыми печатями, удостоверяющий, что мне разрешено на территории Германии работать... писателем...

Что и делаю изо всех сил...

Ну, если мне, конечно, предложат в арбайтсамте твёрдое вакантное место старика Гёте, то я серьёзно подумую...

* * *

Люблю читать объявления. Всегда узнаёшь что-то новое, необыкновенное, особенно здесь, в хайме...

«Вы ищете квартиру? Мы Вам поможем!

Обращаться: барак №2, комната 293, койка вторая, сверху»...

Очевидно, сам маклер живёт здесь из простой человеческой любви к нарам...

Или ещё:

«Если горюет» — так назывались, переведённые кем-то для нас правила пожарной безопасности... Далее было сказано, чтоб в лифт (где они его тут видели, лифт, может, в подвале...) не пхались во избежания застревания и згараения, соседей предупредили, паники не вспыхивали, а звоняли по такому-то телефону...

Вот так, очень даже замечательная инструкция, особенно, если учесть, что для русских филологов работы не находится...

Впрочем, даже правильно написанные инструкции звучат обычно не лучше.

Мне никогда не постичь бюрократическую письменность, причём, независимо от языка: что готика — что кириллица — один, показывающий рожки восклицательных знаков, чёрт, который, как известно, всегда был интернационалистом...

Надо бы предложить проект премии за самую понятную немецкую инструкцию, вдруг пройдёт? Кое-какие из моих проектов уже сбываются...

* * *

Костику с Таней удалось, наконец, снять квартиру. В деревне, на последней, возле самого уже тёмно-зеленого лесного гребешка, улице, в последнем, но так же, как все первые, обгераненном домике, на последнем,

но к чердаку им было не привыкать, этаже. Чудо состоялось, потому что они наплели хозяину, что не эмигранты, а приехали по студенческому обмену... Нужно было, наверно, сказать, что по обмену шпионами, тогда бы, глядишь, и более приличные апартаменты нашлись, и, глядишь, в самом сердце нашего увлекательного города, — почему-то хочется продолжить, вспомнив великого русскоязычного реалиста — города Глупова... Потому что все знают, что у кого у кого, а у шпионов денежки водятся, не то что у неработающих инженеров, к тому же, приехавших из такой ненадёжной страны...

Но Таня, справив новоселье, вместо того, чтобы жить да радоваться, опасаясь только визита хозяина, потому что посреди кухни, на новеньком светло-медовом линолеуме, уже лежал роскошный коричневый блин — отпечаток горячей сковородки, стала вдруг, возвращаясь домой из города, нервничать и вести себя странно...

Всю получасовую дорогу от станции она несла купленные продукты в крепком, глубоком полиэтиленовом мешке «Альди», а возле дома вдруг ныряла в лесок и спешно, а иногда и безуспешно, пыталась переложить альдивскую снедь в тоненький прозрачный пакет дорогой фирмы...

Не знаю, нужны ли были такие ухищрения, но соседи видели, где она (якобы) отоваривается, и через полгода дошло до того, что одна соседка даже кивнула при встрече...

* * *

А я, чтобы круто повернуть свою жизнь, поехала на несколько дней в Испанию. Здесь так обычно и говорят: «Денег на отпуск нет, придётся в Испанию...» Услышать бы такое лет десять назад в городе Ленина, в нашей несравненной, теперь я говорю об этом уверенно, Северной Пальмире...

Когда автобус притормозил у первого — французского — шлагбаума (ещё одно типично немецкое русское слово — помните: «...Или в лоб шлагбаум влепит неспортивный инвалид...»), половина пассажиров с радостными воплями вскочила со своих мест, и я сразу поняла, хотя в воплях не было слышно ни одного русского слова, они носили исключительно утробно-пещерный характер, что это — мои земляки...

Признаться, и у меня внутри что-то и по сей день замирает при пересечении государственных границ, хотя коллекции фотографий, сделанных моим стареньким безотказным «Зенитом 3М» (подарок папы за поступление в университет, знал бы он, где только ни побывает этот вытертый добела, в девичестве — шоколадно-негритянский, как Майкл Джексон, футляр...), оптические картины мира уже начали вытеснять из стеллажей мои многотомные рукописи, отражающие лишь внутренний мир автора...

Ну, неужели, неужели это так просто: та ёлка — Танненбаум, а вон та, через несколько шагов, — уже с артиклем «Ля»... А нам всю жизнь морочили голову, что обе они так далеко, получалось, что и вовсе недостижимы... Папа мой так и умер, с твёрдой уверенностью, что Берлин, до которого он когда-то дошёл пешком, перенесён в другую галактику, куда на поезде не доедешь, на простом самолёте не долетишь...

...Что мне ещё запомнилось из того волнующего первого момента, так это два неумышленно метафорических памятника, по ту и другую сторону

пограничной будки: над Францией полыхал, подмигивая окантовкой из маленьких огоньков, тёмный загадочный женский силуэт, а за спиной остался как бы символизирующий Германию монумент... сардельке: толстое, будто беременный полумесяц, на который натянут фильдеперсовый — пятидесятих годов — чулок, покрашенное в коричневый цвет чучело колбасного изделия, водруженное на мраморный пьедестал...

А вокруг них шумел безграничный лес, в котором паслась всегда поднятая, чисто символическая «зебра» шлагбаума...

* * *

...Заехав в «Каритас», одно из многочисленных здесь благотворительных обществ, чтобы подыскать, наконец, плотную портьеру и не ощущать у себя в гостях всех жильцов из дома напротив, я остолбенела ещё на пороге: дама, вся, с головы до ног окутанная норковыми мехами, с недовольной миной рылась в коробке для поношенного белья и, увидев меня, попыталась выразить своё возмущение: дескать, ничего здесь хорошего, в этом «Каритасе», нет, и куда всё девается, и как с этими безобразиями покончить...

Говорила она по-немецки с характерным руководящим акцентом, что, как и шуба, особенно весной, выдавало именно наш, и никакой другой, контингент, потому что только советские евреи приходят просить милостыню в мехах, да ещё и с таким видом, как будто они инспектируют дающего и, ежели что не так, могут снять его с его дающей должности...

Я сделала вид, что не понимаю ни одного из двух предложенных ею языков, что я из Турции или откуда угодно, и она, поджав губы, отошла к стойке с куртками и пальто.

Бедная женщина, вряд ли ей повезёт и там найти что-нибудь подходящее...

* * *

...Одна дама очень хотела со мной подружиться. Что-то подсказывало ей, что, возможно, я стану когда-то местной достопримечательностью, а она для своей карьеры избрала все направления сразу: и религию, и политику, и культуру, вот только место у решётки, в окошечке администрации хайма, уже уплыло... Но это не страшно, она так и говорила, что, мол, невелика честь, а со мной, отчасти даже искренне, надобилось ей завязать отношения...

А как?

Зазовёт меня на крылечко, то есть, на единственную ступеньку, отделяющую дом от асфальта, где она всегда легонько покуривала (я-то курю везде, где только нет грудных младенцев), и, мечтательно глядя ввысь, то есть, не в небо, а, как бы сквозь него, на высоту своего прежнего положения, начинает:

— Вот лежу я однажды в больнице четвёртого управления и так мне Цветаеву почитать захотелось, такой вдруг каприз — ну, как беременным клубники иногда хочется...

Да, клубнички вам, таким, всегда хочется, представляю, что бы сказала Марина Ивановна, услышав про такие «капризы», наверное бы, мокрым полотенцем — по лицу, и была бы совершенно права...

Как им, охотникам за привилегиями, нейдётся совместить несовместное: четвёртое управление, платье — «последний крик моды» и... искусство в удавке... (в качестве бижутерии...)

* * *

«Мы с Цветаевой выдержали до 54-х.» — Так почему-то думалось мне тогда, и этот случайно поставленный в планах срок, ещё не прошёл...

* * *

*Переживанья горькие свои
пережевая, запить глотком свободы...
Сияют храмы... И кряхтят заводы...
И муравьи возводят муравьи...
Кто петь рожден, поет не свысока,
но с высоты... Так набожно. Так надо.
Акустика клубящегося сада
не имеет и не терпит потолка...
Как радостно глаголить на родном
наречии... Вселенское изгойство.
А тут — как пробку вышибли из горла,
и это — рай. — Запомни, астроном!
Все карты биты. Мир угрюм и пуст.
А дальше — космос: черная чужбина...
«..Но если по дороге куст
встает, особенно рябина...»
Цитата. Кровь из первых уст.
И прошептать: — «Ave Марина...»*

...И коли уж автор незадолго до — отлистните десяток страниц назад — так сурово обошёлся с немецким менталитетом, то грешно ему не попытаться обобщить и кое-что насчёт своих дражайших (по обыкновению, дрожащих от страха) соотечественников...

Потому что местечковая ментальность, хотя, видимо, и не претерпела серьёзных изменений со времён Шолом-Алейхема, но не стала от этого легче переносимой...

Во всяком случае, от налипшего на уши акцента её хочется с головой, как в Волгу, — в глубины Толстого и Достоевского, Тургенева и Гончарова...

Теперь, когда все они, оберегая картонными переплётами, как надёжными шлюзами, источники души и скорби моей, стоят, наконец, друг за другом в моём немецкой резной работы книжном шкафу, я могу уже вполне спокойно и внятно порассуждать и о чём-то другом, в частности, — о диковинном еврейском народе...

...Встречаются иногда стройноногие, кофейнокожие, печальноглазые, о которых и хочется, и не стыдно сказать «Дети Израилевы»... Но этот генотип нации в России практически не сохранился. Такое впечатление, что иудеи вымерли — остались евреи... Маленькие, круглопузенькие, суетливые и беспардонные...

Помню, встречали мы как-то в Ленинграде поезд из Одессы с нашей любимой тётей, так гул именно этого состава, помноженный на его внутреннюю крикливость, заглушал все остальные задолго до его прибытия на перрон...

Вообще 1 децибел явно мал как единица измерения шума, который могут наделать евреи... Это касается и науки, и войны, и просто разборок в очередях за яйцами или туалетной бумагой (яйца и всё остальное брали, как говорится, с бою...) Впрочем, в очереди, заметив выдающийся нос (этого достижения у евреев никто никогда не отнимал...), ему быстро давали понять, на какой морде он вырос и куда ему, соответственно, надо ехать... В то время как все остальные желающие могли скандалить в своё удовольствие, посылая друг друга по гораздо более близкому и не такому обидному адресу...

Очевидно, именно этот вид расовой дискриминации ощущался активными участниками борьбы за товары широкого потребления как особенно оскорбительный, и не он ли, в конечном счёте, привёл их к окончательному Исходу — в новую, так сказать, всесоюзную здравницу — солнечный Израиль...

Сначала уезжали отдельные отщепенцы, которым возжелалось свободы, а потом уже — все, поголовно, покупатели...

Причём, именно они, так долго собиравшиеся, всё взвешивавшие, пробовавшие (долларовую бумажку, как говорится, на зуб (и не простой, а золотой...), в конечном счёте, как показывает история, слишком поторопились. Прилавки России, наконец-то, изнемогают от изобилия, напоминающая фламандские картины в посещаемом заморскими гостями нашего города Эрмитаже, а эти дуралеи отняли у себя сказку о золотой рыбке: мечту о царстве-государстве, где их ждут с распростёртыми объятиями...

Теперь вот летят панические конверты через все континенты: там — вэлфер урезают, здесь — хильфу, а на исторической Родине в «корзину» падают последние крохи, с воробьем не поделишься, а и есть ли там наши вездесущие расторопные попрыгунчики, похоже, что одни пластающиеся над зазевавшейся жертвой коршуны, как и везде... В сущности, это не так уж стыдно быть простым и незамысловатым потребителем — покупателем. Именно для него производят во всём мире всякую всячину, тысячи сортов хлеба и мыла, в частности, вот это, которое мне подарили, мыло в виде рафаэлевского ангела, глядя на которого невольно вспоминается стишок из счастливого детства: «Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой...» и фотография ещё не терроризирующего Россию кроткого Вовочки...

Пусть себе покупают, пусть моются себе и нам на здоровье, Рафаэлю уже всё равно в его далёкой, окрашенной вечной синькой небес, последней Италии, лишь бы из них самих мыла не наварили... Рецепт-то, наверняка, сохранился, лежит у кого-нибудь под подушкой с тщательно вышитыми цветочками или кошечками. И будет лежать до поры...

Под гобеленами, под одеялами, за приспущенными плюшевыми шторами — зло... — Пусть на улице убивают, лишь бы меня не трогали... Но ведь если все будут рассуждать именно так, — никто никого и не тронет... Слава обывателю, предотвратившему третью мировую войну!

А всё-таки она будет. И начнут её опять, скорее всего, именно они, немцы. Как так? А так... Вялотекущий реваншизм как одна из форм вялотекущей шизофрении. Потому что в глубине своей общенародной души они

так и не смирились с поражением. Потому что в конце концов даже святому осточертеет отдавать долги уже пра-пра-правнукам жертв своих пра-пра-прашуров. И тогда достанет искры, чтобы из неё возгорелось пламя... Весь народ придёт в состояние коллективного аффекта, сообщающего восторг групповому насилию. И тогда это будет уже даже не война, а свирепое убийство всех всеми, потому что каждый второй окажется к тому времени безработным, а в магазинах останутся, как бывало у нас, только соевые конфеты и резиновые сапоги. Они не вынесут этого. Они привыкли баловать своё холёное тело, спать на водяных, плавно покачивающих, матрасах, ступать в бархатных шлёпанцах по полу с внутренним подогревом, пересчитывать семечки витаминов в каждом огурчике... Они послушны любой палке, но не идее. Голодать ради идеи они не станут. И тогда кто виноват? Чужие...

Все сюрпризы поддаются примерному прогнозированию... Тем более, что немцы — очень мужественные люди.

Оставшись без глаза от бенгальской искры на карнавале, немец так дотошно, так тщательно передаёт свои ощущения телезрителям, как будто эта, неприятная, конечно, история произошла не с ним самим, а он только пересказывает содержание прочитанной книжки... Он то ли действительно не испытывает боли и бешенства, то ли каждое утро выполняет специальные упражнения, вырабатывающие особую технику их сокрытия или преодоления. Иногда кажется, что от немцев веет металлическим холодком анестезии, они как бы приморожены изнутри... И поэтому с лёгкостью переносят свою боль, а чужой и вовсе не замечают...

Завершают же нордический характер злопамятность, мстительность, эгоизм, ростки которых тщательно окучиваются обществом и в зрелости приносят плоды в виде крепких орешков, о которые можно запросто сломать зубы...

А евреи — наоборот. И плачут, и причитают, и сопли по лицу размазывают, и вечно чего-то канючат, и ... так брезгливо и тошно становится, что поневоле думаешь: такой тебя в газовую камеру вперёд пропустит, попростав 10 марок вперёд за одолжение...

И тоже ведь есть свои пред-пред-предпричины, и объяснить всё можно (софистика с казуистикой уже приготовились, привстали в первом «па» узорчатого фокстрота ...), вон и мать Моисея, нанявшись к собственному, чудом спасённому сыну кормилицей, вместо того, чтобы от счастья святой сделаться, душой вознестись, добилась за эту работу ещё и денежного вознаграждения... В их талантах, египетских... А по нашим талантам, душевно-литературным, — дрожь да озноб... Цинизм это безграничный, торгашество, предательство смысла...

Не потому ли и удалось впоследствии одному взбесившемуся народу так стремительно истребить другой, ещё до смерти перепуганный дёсмерти, что некоторые сами закладывали своих дорогих соплеменников, как иногда закладывают в ломбард дорогие вещи, а потом уже не имеют возможности выкупить их назад, уже как-то не до того... История — ростовщик с самыми высокими процентами...

И... дрогнула рука, спохватившись, что какой-то дурак и мерзавец уже протянул грязную лапу за этими строчками, чтобы залить их кровью тех или других, или, как это бывает, — и тех, и других, а с другой стороны — уже дышит жарко в лицо сорвавшаяся с цепи свора воинствующих гума-

нистов всех мастей и подпалин, и свирепо рычит, обвиняя автора в новой расистской теории...

Писателю нечем заслониться от разбушевавшейся доброты (читай: от толпы демагогов), кроме тонкого, трепещущего листа бумаги. Это — его единственный щит, а певчее перо — единственное оружие...

Не об антисемитизме здесь может идти речь, ибо автору хорошо, на собственной терпкой крови известно, что за столько веков и испытаний не отреклись евреи от Веры своей, не предали главного...; и не об «антине-мизме», ибо доходящая до ненависти любовь свидетельствует о причастности, но — об, если так можно выразиться, некоем «антивсемизме». Если все — это гетто...

Даже если оно окружено не колючей, а метафизической проволокой.

И ещё несколько откровенных признаний, чтобы у читателя не сложилось впечатление, будто автор судит и приговаривает к позорному столбу весь мир, упиваясь прозрачным вином собственной святости...

Во-первых, меня всегда радовали победы израильтян, хотя в суть арабско-израильских конфликтов я не вдавалась. Просто было приятно, что не клязничают, а воюют, как нормальные мужики. И ещё как бы, совсем немножко, где-то внутри, в глубине этого «внутри», сладко подзванивало, что мстят за всех «срезанных» на экзаменах в российские университеты, за всех не принятых на работу по «пятому пункту»... Во-вторых, хотя я и отказалась в своё время наотрез менять «крамольный» еврейский паспорт на русский, ибо судьбу не меняют и от родителей не отрешиваются, но что-то во мне всегда краснело при обсуждении «еврейского вопроса» в русской компании, я как бы отодвигалась от разговора, как будто он меня не касался... Может быть, с точки зрения раввинов это было и мудро, во всяком случае, разного рода Борухи, возникшие вдруг здесь из Борисов, никого, кроме меня, наверное, не смущают... (Это мне иногда хочется вдруг спросить: так что ж вы, боровы, там-то боялись назвать себя настоящим именем, — или же, наоборот, здесь стилизуетесь?..)

А вдуматься: так ведь и просто промолчать, отодвинуться, — это есть оно, то самое, что нас бесит в других. И в первую очередь — презренная попытка спрятаться от своей национальности, хотя и не пряча её от других, но стыдясь её и, одновременно, возгордившись ею, кичась своим отщепенством, которое на русском языке называется изгойством, потому что «гоем» на еврейском языке называется русский.... Вот они, два типа еврейской гордыни: гордыня пресмыкающаяся — и гордыня шапкамизкающая, из которой произрастают как бы русские народные евреи: евреи-алкаши, евреи-красные командиры, евреи-космополиты и евреи-антисемиты... Как будто национальность — это или орден или клеймо, а не всего-навсего — оболочка, фантик, в который завернуто обычное человеческое сердце...

Как смешно и печально смотреть на русских евреев, которые пытаются в Германии стать или хотя бы выглядеть немцами; поучая других своему нелепому, с акцентом — на сто вёрст — немецкому языку, предавая сразу две свои родины: Россию и, как они думают, Израиль, — они выглядят, само собой разумеется, не бывалыми европейцами, а жалкими клоунами на хохочущей над ними немецкой арене... Даже не на арене, а на рыночной площади, потому что в цирке выступают профессионалы. Цирк — это уже большая политика...

Ну что, сладкая моя, — обращаюсь я к себе по-немецки, если уж тебя потянуло на беседы по национальным вопросам, лучше всего позвать гостей, Вольфганга или Гришу, или, ещё лучше, сразу обоих; потому что с ними всё это как-то забывается, можно даже перепутать, кто где родился: кто здесь, в благословенной Готтом Швабии, а кому «рідна мати» — Украина... И поговорить о России...

* * *

*Право, славно — выпить православно,
захрустев огурчиком огонь...
Как вы там Петровна, Николавна
И другие образы тихонь?..*

*Как вам спится на железных буклях?
Также ль тянет свежестью с реки?
Ваши руки тяжестью набухли,
Как на ветках — яблоч кулаки...*

*Вольно вам в предутреннем тумане
Путь заветной тропкою продля..
...Никаких Америк и Германий:
Лишь деревня Редькино — Земля!..*

*Мне за вас и радостно, и жутко;
Вот звонит наш колокол по ком...
Ну, а дочки... Дочки ...в проститутки
Убегли — как были — босиком...*

Утро напомнило кадр из итальянского кинофильма, хотя его героиня, хлопающая на крыльце не крыльями, а бельём, соседка-наседка меньше всего походила на Анну Маньяни или Джульетту Мазину, и вообще Феллини, Антониони, Висконти превратились для меня в воспоминания... о Петербурге. Вот как иногда получается в жизни: здесь Италия на расстоянии одной автобусной ночи, и сын едет туда на каникулы, и обувь итальянская — на всех прилавках, как гондолы — в венецианских каналах, банановыми связками, но та, моя, страна самого солнечного в мире искусства, куда-то от меня отодвинулась, как и моя Франция, и моя Германия...

Представьте себе человека, упавшего с самолёта в джунгли: он должен брести куда-то, лишь бы идти, он должен стараться не забыть правила арифметики и рафинированный — по сравнению с рычанием и шипением — человеческий язык, он не имеет права царапаться и кусаться, даже если ему грозит опасность, и пока он помнит, осознаёт, что он — здесь — человек, он жив и может когда-нибудь наткнуться на узкую путаную тропинку, ведущую к широкой дороге и, значит, — к спасению...

Я вдруг почувствовала, что главная опасность уже позади, кризис тяжелой и продолжительной болезни, имя которой — ожесточение, миновал, постепенно переставало трясти от приближающихся сограждан, возвращались мудрая снисходительность и спасительная ирония...

Или это, наоборот, происходило самое страшное: привыкание к ежедневному кошмару, как — уже — к должному, как в тюрьме или в лагере другого типа (это был лагерь, так сказать, только усиленного режима общения...), и тогда маленькие радости, которые я уже как бы научалась (не научилась ещё, но уже научалась) воспринимать означали не возврат к человеческой, в моём понимании, жизни, а, наоборот, безнадежный отказ от неё, сползание в некое насекомое существование, проще говоря — деградацию...

Как бы там ни было, солнце сияло, несмотря на то, что мне опять не пришел конверт с квартирой; оно слепило и заставляло щуриться — как улыбаться...

Не случайно, мне кажется, представители желтой расы всегда будто бы улыбаются, даже когда причиняют себе харакири или шинкуют кого-нибудь на крыше мечом... (Разумеется, я имею в виду не кино Куросавы, эта моя Япония тоже осталась в Петербурге...) Жёлтые лучики морщинок у глаз обманчиво превращают лицо в круг солнцеподобный... Все восточные злодеи так улыбались: и Чингисхан, и Владимир Ильич, и даже моя рыжая кошка... А западные — иначе: старательно, открыто, фарфорово, словно они рекламируют зубную пасту... Только, пожалуй, Гитлер ни на кого не похож, нет, есть всё-таки, как мы уже говорили, один персонаж, булгаковский Шариков, когда профессора преображенские недооценили опасность, упустили момент, и он сделался фюрером...

Несчастливая всё-таки страна — Германия... Ведь живёшь в ней, пользуешься её благами, но, положа руку на сердце, кто её любит? Никто. Все относятся примерно так, как в браке по расчёту — к богатой и постылой жене, то и дело попрекая её скандальным прошлым, которое она честно хотела забыть... И она затыкает все бранящие её рты деньгами, до следующего, иногда специально ради этого спровоцированного скандала...

Но утро, повторяю, выдалось ни с того ни с сего радостное, что-то ликовало вокруг или внутри, прошёл, «жопу выклячивая», как выразилась, как всегда убийственно точно, одна девушка из хорошей семьи (ей бы — в писатели или в журналисты, а она — в кауффрау...) комендант лагеря, такая была у него, оттопыренная, что ли, походка; пошутил, хоть и не без язвительности, по своему обыкновению (а его, по обыкновению, не поняли — и поползли слухи...), что все евреи должны сдать свои меха в социаламт как предмет роскоши...

Разумеется, больше всех напугалась владелица драного козлиного полушубка и такой же драной и нежно любимой ею кошки, у неё даже не хватило фантазии эту кошку как-то назвать, хотя бы Машкой, кошка — и кошка, но зато хватило терпения трястись с кошкой — кошкой через все таможи, сначала — в поезде, а потом — в автобусе. (Можно ли прибыть в Германию с кошкой, она заранее не справлялась, а кто не задаёт вопросов — тот не получает и отрицательных ответов. — Это ещё раз о вреде грамотности...)

Она теребила всех, предлагая лично убедиться в ветхости и непрезентабельности своего козла, и ещё её явно беспокоил вопрос, не отнесут ли к ценным мехам и кошку — кошку... — Кто их, этих немцев, знает...

Разумеется, больше всех издевалась над недотёпой и простофилей женщина породистой осанки, которую звали, как грузинскую царицу, была она не тех, конечно, кровей, но из тех краёв, и струхнув, я думаю, ещё

раньше, но раньше и сообразив, теперь вымещала свой испуг на остальных... (А шубу свою предварительно, на всякий случай, всё же припрятала, сказав мне: «Вон как парит, в этом году больше уже не понадобится»... — Да, да, конечно, спасибо за информацию, за косвенный привет от Вашей лисы моему кролику...)

Люблю неглупых людей. Если они даже сволочи, то всё равно способные, работоспособные сволочи, просто им Бог таланта не дал, а умом и самомнением не обделил. Из них получают профессиональные функционеры неважно какой партии, и что бы они ни пропагандировали (с усмешкой вовнутрь...), делают они это гораздо лучше, чем верующие в то, что они делают, прекраснотушные дилетанты...

Могу представить себе, что сейчас творится в Израиле: туда уже столько вчерашних партийных и профсоюзных боссов понаехало, что надо в каждом втором доме открывать синагогу, чтобы дать каждому руководящий «столик и стулик»... — Помните у Льва Кассиля, маленький Оська, он ещё спрашивал: «Мама, а наша кошка — тоже еврей?»...

Еврей, еврей, в том-то и дело, что каждый сидящий здесь, за этой решёткой, на этом квадрате горячего уже асфальта, в той или иной степени — еврей, даже Вася Иванов, даже влетающая в комнату без приглашения, как атомная бомба, лезущая на тебя при разговоре всеми руками, как на дерево, разбитная бабёнка с узкими раскосыми глазами, все, все они евреи, и даже кошка-кошка, и даже сам до слёз или сквозь слёзы смеющийся автор....

За всю свою долгую жизнь не пришлось мне увидеть столько евреев, и вообще столько людей, сколько за три этих бесконечных года... И несмотря на проросшее, пробившееся сквозь асфальт хайма это, согласитесь, далеко не бесталанное, свежее моё произведение, думаю, что русскому поэту этот опыт был необходим так же, как, скажем, Райнер Мария Рильке — пожить в одном чуме с чукчами... Если бы этот эксперимент состоялся и продолжался примерно такой же период времени, у бедного Райнера мог бы появиться чукчианский акцент, и он бы, того гляди, начал откликаться на «Марусю»...

Впрочем, я опять, по своей скверной привычке перескакивать с места на время, отвлеклась от того неожиданно погожего утра, когда два дома напротив друг друга ослепили друг друга смеющимися стёклами, и разбуженная солнцем и вестью об уценке в универмаге соседка из Львова, та самая, которая когда-то втиснулась перед нами в нашу, нашу, только нашу, и ничью больше комнату, выкатилась на крылечко, чтобы развесить на заднем дворе бельё, и с ходу вступила в диалог со всеми окнами противоположного дома:

— Девочки, а в Кауфхофе были?

— Были!

— А бюстгальтеры там есть?

— Есть, там всё есть!

— А на мои титьки, вы только посмотрите, какие большие, — (!...) — тоже есть?..

И я вдруг подумала, что вот натянуть бы между этих домов бельевые верёвки, чтобы небесно-голубые подштанники, пожарного цвета футболки, белые майки развевались как флаги, — вот это и был бы любимый квартал Феллини...

И ещё я подумала, что «бюстгальтер», конечно же, немецкое слово, но его здесь уже не употребляют, зато оно хорошо прижилось в России... Так же, как «ярмарка», «вундеркинд», и многое другое, что появилось в граде Святого Петра вместе с первыми швабами...

И что не только легендарный граф Орлов (не о полубовности речь, которая — личное дело каждого, но о почтении к личности иностранца, ежели эта личность того заслуживает), не только он, непокорный — и покорённый, но вся Россия не погнушалась поясно поклониться уроженке здешних краёв, назвав её государыней своей Екатериной Великой.

И пусть не душевного благородства (на это я не надеюсь), но здравого смысла у немцев хватит: чужаки — дешёвая рабочая сила; грех и глупость отказать от такого подарка... А русскому человеку, будь он еврей или аусзидлер, только дай шанс — уж он развернётся и помощи ни от кого не попросит...

Словом, если не всё, то что-то должно когда-то как-то наладиться...

А вечером сын принёс мне письмо, которое ему отдали ещё утром, но он думал уже не о нашей с ним квартире, а совсем о другом, в глазах его дрожали и переливались огоньки первой влюблённости, и слава Богу, а письмо было то, то самое, которое я уже устала и перестала ждать, и ещё второе — от мэра города, который желал нам в его и — теперь — нашем городе — счастья...

Тут, собственно говоря, и кончилась отчаянная повесть — и началась не чаянная жизнь!..

* * *

*Метастазы грозы раздаются в осеннем саду.
Я теперь поняла: боль не тлеет, а громко сверкает.
И рыданья небес, подхватившие с пеной — звезду,
С плеч покатых стекают...*

стекают...

стекают...

Стихает.

*Оглянись и увидь, никого и ни в чем не виня:
Нежно-розовый край...*

*Черный крестик — наверно, Иуда...
Мы стоим, как волхвы, над рождением нового дня,
И каким бы он ни был, для нас он — великое чудо...*

...Чтобы литературное произведение можно было считать завершённым, ему, вернее, к нему полагается послесловие. Это так же неукоснительно, как библиография — к диссертации, хрен — к осетрине, рогалик — к утреннему кофе... В любом деле и, тем более в повествовании, нужна последняя, изящно закругляющая событие виньетка...

Но, мой внимательный читатель, если ты был, действительно, внимателен при нашем, почти сто страниц длящемся, знакомстве, тебе удалось уловить смысл и дух послесловия ещё в междустрочии...

Ты догадываешься, что автор, в общем и целом, удовлетворён своей жизнью, но — не собой, и это тоже неплохо, потому что самоуспокоение, где бы оно нас ни настигло, всегда находится в осязаемой близости от кладбищенского умиротворения; ты почувствовал, если даже не посочувствовал автору, что ему целый мир — в той или иной мере — чужбина, вернее, в высшей мере, в которой автор разговаривает и приговаривает, ибо никаких других мерок, помельче, похитрей, попронырливей — не признаёт...

Но он не кричит: «Дайте мне другой глобус!», потому что и безо всяких услуг космического бюро путешествий, заранее, априори знает, что все миры так или иначе — зеркальны...

Но это уже взгляд в сторону теоретической физики, а в точных науках, за исключением поэзии, автор компетентен не более, чем соловей — в кибернетике...

Поэтому оставим его с кружкой тёмного — птичьими глотками — охлаждённого пива в уже заслуженной прилежными посещениями и щедрыми чаевыми (знай наших...) Stammkneipe — мечтать о какой-нибудь марсианской Франции, ибо к Франции, расположенной по соседству, у него тоже есть кое-какие претензии, — и тосковать о своей горькой, отстоявшейся в памяти, светлой — без примесей, может, уже и не существующей на земле, призрачной и пьянящей до слёз России...

* * *

*Знаю: Родина — миф. Где любовь — там и родина... Что ж
Не вдохнуть и не выдохнуть, если ноябрь и Россия...
Лист шершавый колюч, как в ладони уткнувшийся еж,
И любой эмигрант на закате речист, как Мессия...
Ибо обе судьбы он изведal на этой земле:
От креста оторвавшись, он понял, что это возможно:
И брести, и вести босиком по горячей золе
Сброд, который пинком отпустила к Истокам таможня...
Для того и границы, чтоб кто-то их мог пересечь
Не за ради Христа, не вдогонку заморских красавиц;
И не меч вознести, а блистательно острую речь!
И славянскою вязью еврейских пророков восславить,
Зная: Родина — мир... Где любовь — там и родина.. Но
И любовь — там, где родина... Прочее — лишь любованье...
Как темно в этом космосе.../Помните, как в «Котловане».../
А в России из кранов библейское хлещет вино...*



Лариса МИРЧЕВСКАЯ

Ханау

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

РАССКАЗ

*«...Во жизнь, ноу проблем: жуи да
отрыгивай. Только рога и вымя ме-
шают... лучше быть собакой».*

М. Веллер

РИЗЕНШНАУЦЕР Я. Если угодно — Ризен. Это не имя. В переводе с немецкого — Гигантский Усач. Вам это о чём-нибудь говорит? Теперь мы уже не редкость. Вы ведь не раз видели меня на улице — шикарные усы и за-ме-чательная борода, а о бровях я, уж, и не говорю. Уши, правда, почему-то обрезали, то есть купировали. В юности ещё. Но я постаралась забыть. Тогда было больно, но ещё больше — обидно. Заманили в машину, якобы на прогулку, а проснулась... Голова болит, тошнит, уши прибинтованы к макушке, а на шее — Испанский Воротник — средневековый атрибут казни. На поля огромной шляпы похож. Ни лечь, ни сесть. ОНИ думали, что я буду уши чесать, но я терпела, потому что чесать было неудобно, лапа не доставала, даже задняя. Да и верила я, что именно так и надо. А уши мои ОНИ сохранили. Обваляли в соли, высушили и спрятали в шкафу. Иногда мы с хозяином заглядывали в шкаф. Он там что-нибудь искал, а я внюхивалась. Оч-чень знакомый запах. Он напоминал о детстве и боли. А хвост мой отрезали, когда мне было всего три дня, именно тогда он и потерялся вместе с остальными хвостами. Это было в том доме, где я родилась, при маме.

По паспорту я РОН-ЗЛАТА. А кличут меня Джерри, Дунька, Дуся, Катя..., проще сказать, как не зовут. Родословная моя замечательная. Заграничный отец Мавр — из Венгрии. Он приезжал оттуда на несколько дней, чтобы жениться на Айке, моей матери. Айка тогда была в числе первых красавиц, поэтому многие женихи просили её руки, то есть лапы. Мои многочисленные братья и сёстры с приставкой к имени «РОН» успешно конкурировали на выставках с другими кланами или отдельными выскочками. Мне не повезло! На своей первой щенячьей выставке я получила серебряные медали за «экстерьер», но случилась беда. Мои новые родители позволили надеть на меня металлический ошейник с запахом чужой собаки (своего ещё не приобрели). Строгач называется. Да ещё незнакомый человек повёл меня по кругу — я должна была идти стройно-напряжённо, с гордо поднятой головой, отыскивая в толпе взглядом своих хозяев. Судьи должны были ощутить всё моё очарованье.

Вот такая задача ставилась, а меня не предупредили... Всё должно было выглядеть оч-ч-чень красиво, но я же об этом не знала и взвилась на дыбы. Передний зуб ударился об ошейник и повис на десне — сломался. Оборвалась на этой выставке моя карьера... Может, и к лучшему. Хлопотно очень, да и не люблю я большого скопления людей. Хозяин, правда, очень переживал. А потом и прималёры не вышли. Зубы такие сбоку. Издержки родственных связей в нашем клубе. Родители РИЗЕНОВ, то есть их хозяева, любили решать наши брачные дела не на схемах, а за бутылочкой, да с хорошей закуской. Напробовалась я этой закуски в юности, когда на Себлу отвезли меня...

Себла — это речка такая на Рыбинском водохранилище. Вместе с Айкой привезли меня на эту природу мои первые родители. Ехали мы на машине. А потом на лодке приплыли те, вторые, у кого началась моя новая жизнь. Я уж стала их забывать, но по запаху вспомнила... По вечерам сетями ловили рыбку. Двunoгие уплывали ещё засветло, а возвращались в полной темноте.

Всплески воды из-под уклучин предвещали что-то радостное. Сквозь тучи скромно проглядывала луна, предлагая дорогу для возвращения домой. Чёрный силуэт Айки возвышался, как большой куст над рекой. Она тоже ждала, как и я. Айкино тихое посвистывание возвещало о возвращении. Наступала ночная жизнь! Рыбку тут же на берегу при свете фонаря разделявали и тайно коптили. Глупые! Какая же это тайна, если запах стлался вдоль реки, по земле, по небу, проникая сквозь страшные тучи, сливался с морозящим дождём. Они боялись инспектора, а он — их...

Утром я любила, пробежавшись вдоль реки, съесть КОЕ-ЧТО (стыдно говорить), но меня за ЭТО наказывали чисткой зубов в реке. Открывали силой пасть и зубная щётка долго щекотала мой язык. Фу! Премерзкие воспоминания о зубной щётке. Позже я поняла, что оставленные с ночи на земле сковородки не зря камнями придавлены — там спит жареная и копчёная рыбка. Знакомство с ней было не менее приятным, чем с ЭТИМ (ну, за что ругали). Крышки, правда, я не могла назад надвинуть, но хозяйка моя новая рано вставала и шла следом за мной, восстанавливая во избежание неприятностей порядок.

Жизнь там вообще была раздольной. Мама Айка была рядом, правда, родственных чувств не проявляла, но и не обижала. Надоели мы ей, когда все одиннадцать детей висели на её десяти сосках. То есть, не детей, а щенков, и не висели, а питались. Теперь Айку одолевали уже другие мысли. С нашего рождения прошло уже два с половиной месяца, и жизнь диктовала новую прозу: собирать разбегающихся по лесу в поисках грибов и ягод двunoгих, следить за детьми у реки, чтобы не нахлебались, оберегать хозяина своего Рониса (святое дело!), отгонять чужих, да мало ли какие дела у ХОЗЯЙКИ лагеря в двадцать три человека, не считая собак...

В Москву возвращаться не хотелось. Все говорили, что я повзрослела и стала красавицей. Сама-то я в зеркало смотреться не любила. Неприятно, когда на тебя смотрит огромный чёрный лохматый пёс на длинных ногах, почти без хвоста, если не считать шарика в конце спины. И такой усатобородатый, что как-то не по себе становится...

Я вообще-то собак не люблю, но этого не показываю, так как горда и самодостаточна. Если ко мне подходил КТО-ТО познакомиться, то я позволяла себя обнюхать, но потом рывкала так, что этот КТО-ТО больше никогда со мной не здоровался и даже в мою сторону не смотрел. Но всё же

главными нелюбимцами были для меня кошки. Одно слово какое неприятное и шипящее: ко-ш-ш-ш-ка! Как скажу что-нибудь повышенным тоном — кошка сразу на дерево! Только глаза пугают, как лампочки из швейной машинки. Конечно, враг мелкий, но приятно погонять. Однажды, правда, опозорилась: приняла бумажный ком за кошку. Ветер сильный был. Устыдилась, но хозяин сделал вид, что не заметил. А как-то скульптуру лошади, что стояла у Сельскохозяйственной Академии, приняла за настоящую, долго к ней подкрадывалась, а она... нет, вспоминать этот случай не люблю. Хозяин был не один, и они долго смеялись.

В Москве Мишка, брат мой юный, друг мой глупый, первым делом вынес меня на балкон и подержал над поручнем — пугал... Бр-р-р! Восьмизатяжная высота мне не понравилась. Он боялся, что я буду постоянно выскакивать на балкон и сваливаться каждый раз вниз. Но зачем мне это? Я туда после этого не ходила никогда, даже когда звали. Просто у меня устойчивая боязнь высоты, какая-то из фобий, только я об этом никому никогда не намекала: просто не хочется отдыхать в жару на прохладных кафельных плитках рядом с хозяином, лежащим в шезлонге.

Вообще от Мишки было много неприятного. Например, бежать на привязи за велосипедом, да ещё с моей больной печенью. Я ведь не сказала, что четырёх месяцев от роду заболела чумкой, сразу же после прививки, вот печень и давала сбой. Погрызёшь кость или съешь что-нибудь жирненькое и, ах, как плохо становилось.



Но иногда и премиленькие случаи были. Лара — НАЧАЛЬНИК ЕДЫ, что-то защитила, и гости заполнили наш дом. Она пыталась накормить их огромным пирогом, но они всё ели и ели мясо, а на пирог не осталось ни времени, ни места в горле. Вот потому и задержался у нас дома центральный круг пирога с надписью. Вообще-то я читать умею, но там было всего две буквы, какая-то абракадабра, поэтому пришлось попробовать на язык. Было непривычно вкусно. Вовремя остановиться не смогла. Да и Юра — ХОЗЯИН НАЧАЛЬНИКА ЕДЫ и мой большой друг очень кстати поставил этот пирог не на стол, а на табуретку. Когда они заметили мой интерес, я скромно отошла, чтобы и они смогли попробовать. Попробовали..., даже чай с ним пили. Любила я ещё морковку грызть. Вот удовольствие, мало с чем сравнимое. Возьмёшь её зубами, отнесёшь к себе на место, ляжешь, поддерживая морковку лапами, а зубы уже вонзаются в мягко-твёрдую вкусную сладость. Зато тоска, когда около магазина ждёшь, да ещё крепко к дереву привязанная. А вдруг ОНИ не выйдут? Один знакомый кобель долго ждал. Хозяева так заговорились, что забыли, как из дома ушли с ним, а вернулись — без него! Ну, ничего. Мы ведь ждём до конца. О нём всё-таки вспомнили.

Замуж я не выходила, да и претендентов видных не было. Всё какие-то мелкие, потёртые, некондиционные. А как только хорош собой, так глуп, как троллейбус. Это уж закон. В ботву они уходят, крупные и красивые. Ино-

Замуж я не выходила, да и претендентов видных не было. Всё какие-то мелкие, потёртые, некондиционные. А как только хорош собой, так глуп, как троллейбус. Это уж закон. В ботву они уходят, крупные и красивые. Ино-



...она знает, да еще и веревку привязывает...

гда, правда, хотелось развлечься. Выйти в свет после стрижки — себя показать, отзывы услышать. Но и это желание проходило, так как обростала я быстро, а стригли редко. Да и сама стрижка — это каторга долговременная. Поставят на стол — ноги дрожат, подкашиваются, хочется исчезнуть... Разделят меня на троих: кто лапы чешет, кто спину щиплет, а Лара морду стрижёт, да и ответственные места тоже. ЭТО я доверяла только ей. Потом меня стирали в ванной. Я долго стряхивалась, но ещё дольше обретала себя.

А Юра ушёл не попрощавшись... Пыталась мордой поднять его руку, она упала. Стала слизывать слёзы — меня прогнали. Приходили люди. Лаять не хотелось. Есть тоже не хотелось. Вечером предложила себя в соседи по тахте. Она не ответила, и я легла. Раньше-

то не позволяли. Всю ночь пролежала тихо, «в струнку». Так и приходила я все сорок ночей, пока меня Юра об этом просил. Я слышала его голос. Я могла узнать его из всех голосов. Я любила его. Жить стало малоинтересно. Скучаю я. 31 декабря, под Новый 1989, я уже не пришла...

Не любила я ещё, когда на работу все уходили. Но ничего не поделаешь. Старалась это время проспять. Тишина, как сейчас. Если лифт на нашем этаже останавливался — лаяла. Соседи считали, что я хорошо работаю. А я сном время коротала. Иногда, бывало, днём забежит кто-нибудь. Тогда и кусочек вкусный перепадёт с поцелуем вперемешку, а иногда и на улицу сбегает.

А вечером..., какая же замечательная жизнь начиналась вечером! Дымылась, остывшая, каша с мясом. Тайком от Юры ещё и какой-нибудь кусочек в пасть перепадал. Он не хотел, чтобы мы с ним толстели. Гуляли допоздна, и я очень гордилась, что могу его охранять. Но самое приятное, когда знаешь, что твой сон охраняют хозяева. Я просыпаюсь, перехожу на новое место, опять сплю, снова просыпаюсь и снова перехожу... Зелёный свет настольной лампы притягивает меня сильнее, чем луна. Мои когти стучат по паркету в тишине. Я быстро иду к Ларе или Юре, утыкаюсь в протянутую руку. Меня целуют. Мне шепчут в ухо ласковые слова. Возвращаюсь на место. Меня любят. Это точно. ЭТО важно для меня. Через час надо снова ЭТО проверить!

Вот и я ухожу! Тороплюсь. Завтра должна из Суздаля вернуться Лара. Не хочется её огорчать. Жаль, что замуж меня не выдали. Но, может быть, это к лучшему? Знакомая сука рассказывала, как детей её раздавали налево-направо, направо-налево. Как-то неинтеллигентно...

Я всё думаю о смысле жизни. Мы с хозяином часто теперь встречаемся и беседуем на эту тему...

Может быть, в жизни лучше быть коровой...???



Анна СОХРИНА

Кёльн

Сапоги от Жванецкого

РАССКАЗ

— Рита, так мы едем на Жванецкого?

— Едем, едем, конечно, едем!

Зал собирается медленно. Приветствия, возгласы, разговоры... Эмиграция съехалась со всей земли, со всех больших и малых городов Северной Рейн-Вестфалии.

И вот, наконец, все затихает, и он выходит на сцену. Маленький, толстый, живой, со знаменитым потрепанным портфельчиком под мышкой. И зал выдыхает, замирает в мгновение и взрывается аплодисментами. А он уже начинает говорить и зажигаются улыбки, и оживляются взгляды, и светлеют лица...

— Какой прекрасный зал! — говорит Жванецкий. — Да, моих зрителей я могу встретить сегодня только в Америке, Израиле, а теперь и здесь, в Германии.

Да, и впрямь, какой зал, отметила про себя Рита. Как когда-то в Большом зале филармонии, когда давали, к примеру, Спивакова с его «Виртуозами Москвы» и на концерт приходила вся интеллигенция Питера, или на концерте полузапрещенного барда, только-только начавшего свое восхождение. Какие лица! Какая атмосфера! Да, ею можно надышаться на много недель вперед, а потом вспоминать и смаковать медленно, по глоточку в этих друг на друга похожих буднях сырой и сумрачной Германии, куда незнамо-негаданно занесла ее с Гришей судьба. Кто думал? Кто рассчитывал? Кто знал?

...А в том солнечном и ярком апреле конца восьмидесятых, когда все вокруг зашевелилось, забурило, заговорило на разные голоса внезапно объявленной перестройки и гласности, они с Левкой Корецким оказались вдруг на Юмороле в Одессе. И это, я вам скажу, было зрелище.

— Таки — да... — как громко восклицал бессменный фотокор их издания Левка, щелкая языком и комично закатывая глаза.

Их поселили в гостиницу на берегу моря с пышным названием «Аркадия», что в переводе с греческого означало — страна блаженства. В отеле жили все, кто имел хоть какое-то отношение к юмору в этой стране: заводцами сатиры газет и журналов, авторы эстрадных реприз, прославленные капитаны КВН, режиссеры всеми любимых комедий, сценаристы, телевизионщики, писатели... На девяносто процентов они были евреями. Риту

этот факт поразил. И заставил задуматься. Получалось, что остроумно шутили в стране развитого социализма, говоря официальным языком, лишь лица еврейской национальности. А что остальные — не имели чувства юмора?

И вся эта шумная, разношерстная, абсолютно неуправляемая публика с утра до ночи болталась по благодатно-теплой Одессе, отдыхала, флиртвала, вкусно ела, пила водку, посещала и давала концерты, завязывала знакомства, сочиняла, ссорилась, хохотала, развратничала, шумела и пела песни, восхищалась, рукоплескала, напивалась и хлопала пробками шампанского — словом, гуляла от всей души, на всю катушку, как и полагается литературно-артистической богеме.

Толстый, бородатый Левка, шумно сопя, неуклюже топал рядом повсюду, бросая на Ритку влюбленные взгляды жертвенной коровы. Ее роман с Гришей тогда был в самом разгаре, и она бегала ему звонить три раза на день, подробно пересказывая все произошедшее. Ее душа была с Гришкой в Питере. И та пьяно-терпкая, шальная атмосфера одесской Юморины задевала ее лишь краем, как теплая летняя гроза, прошедшая стороной. Однако творческий вечер Жванецкого, проходивший в огромном роскошном Оперном театре, запомнился Рите надолго.

Как этот толстенький, невысокий, лысый человек вышел на сцену, смешно взмахнул руками, и зал встал на едином дыхании и долго-долго хлопал, не давая ему сказать ни слова. Жванецкий кланялся, прижимал руки к сердцу, качал головой, призывая публику закончить овации, а люди все рукоплескали благодарно и не хотели занимать свои места.

— Вот это да! — восхищенно присвистнул Левка. — Рита, да он же национальный герой!

То был самый хмельной год перестройки, ее начало, когда вдруг повелось, что и в самом деле все возможно изменить к лучшему, перестроить, наконец, для блага людей, и что железные, заржавевшие колеса государственной махины стали со скрипом разворачиваться, открывая окна стремительному свежему воздуху.

И Жванецкий рассказывал о своей первой поездке в Америку, о встречах со школьными друзьями, эмигрировавшими много лет назад, читал новые рассказы. И люди смеялись и плакали. Плакали и смеялись, очищаясь этими слезами и смехом от всего тяжелого и липкого, что скопилось в их душах. И были благодарны автору за это счастливое свойство его таланта.

После концерта Жванецкий вышел на улицу, и у театрального подъезда его окружила плотная толпа. Люди подходили, началась давка, и он просто чудом сумел протиснуться в дверцу новеньких «Жигулей», машину его приятелей. И тогда люди подняли машину и пронесли по улице на руках вместе со всеми пассажирами.

— Народ чтит своего героя, — сказал тогда Левка. — Тебе не приходило в голову, что во времена застоя тоже была гласность? Она называлась Жванецкий.

Потом они вернулись в Питер, Рита написала вполне приличный репортаж и его напечатали вместе с Левкиными снимками. Прошел год. Они с Гришей поженились и жили в маленькой квартирке на Петроградской. Рита уже работала по договору в хорошем литературном журнале, куда привел ее добрая душа Левка. И жизнь пошла яркая, насыщенная, интересная.

Журнал только что напечатал повесть «Интердевочка», одного ставшего сразу же известным автора. Главной героиней повести была валютная

проститутка. Это было открытием темы, и вещь произвела впечатление разорвавшейся бомбы. В образовавшуюся брешь хлынула лавина читательских откликов. И у Риты, трудившейся в отделе писем, и у ее начальницы Ариадны, стареющей красавицы с пепельными волосами и миниатюрной талией, начались сумасшедшие дни. Писали женщины и дети, студенты, пенсионеры, курсанты военных училищ и старые большевики. Кто бы мог подумать, что тема продажной любви за твердоконвертируемую так взволнует общество!

Письма читателей несли мешками. «Да если бы мы раньше знали, что проститутки за валюту так зарабатывают и так живут, то разве стали бы учиться в своем педагогическом?» — писала группа студенток педучилища. Автора проклинали и восхваляли, требовали наградить почетным званием и призвать к ответу по суду за оскорбление общественной нравственности. «Зачем я двадцать лет училась, — возмущалась одна дама, кандидат наук, — если за полгода в своем институте получаю столько, сколько эта девица за ночь?»

— Рехнуться можно, — подвела итоги Ариадна, распечатывая очередное письмо, — такое ощущение, что все наши бабы испытывают горькое сожаление лишь о том, что не стали валютными проститутками, а пошли в инженеры, учителя, врачи. Их разговор прервал появившейся на пороге заведомо сатиры и юмора журнала Костик Матрухан. Костик был знаменит тем, что написал джентльменский кодекс: «Должен ли джентльмен держать вилку в левой руке, если в правой он держит котлету?» Или «Должен ли джентльмен желать даме спокойной ночи, если дама спокойной ночи не желает?»

Костик относился к Рите своеобразно. Считая себя неотразимым женским сердцем, он никак не мог понять, почему Рита совсем не отвечает на оказываемые ей знаки внимания.

— Неужели ты мне так никогда и не дашь? — спросил он задумчиво, поймав Риту в редакционном коридоре.

С появлением Костики Рита внутренне напряглась.

— Старуха! — значительно проговорил он. — Еду встречать Жванецкого. От журнала нужна красивая женщина — беру тебя.

— Наглец! — сказала Рита и согласилась.

И они поехали в аэропорт встречать Жванецкого.

И когда он сел рядом с Ритой в машину и с любопытством окинул ее взглядом, она сразу же отметила удивительное свойство его глаз — как бы вбирать в себя все окружающее, и еще их цвет — светло-серый. Жванецкий стал что-то рассказывать, и она поняла, что этот недоговаривающий, смещенный, как бы с «акцентом» язык его монологов и реприз, от которых публика на концертах валилась от хохота, органичен и присущ ему в жизни. Он говорил, как писал, и писал, как говорил.

Они ехали пыльными ленинградскими улицами, притормаживая у светофоров, и он рассказывал, как они с Ильченко и Карцевым жили в новостройке, приехав из Одессы. Как искали счастья в театре у Райкина. Как он был влюблен в одну красивую молодую женщину, а она, обидевшись на то, что он не торопится жениться, уехала в Америку. Тогда они были молоды, веселы, беспечны...

Рита слушала Жванецкого и чувствовала, что от него идет бодрящая энергия. Как сказал бы Левка Корецкий, последнее время увлекающийся всякими магиями и экстрасенсами:

— Ритка, этот человек — мощный донор.

Наверное, это чувствовали и зрители на его концертах, заряжаясь животворящей энергией, а значит, любили его не зря.

Они высадили Жванецкого у дверей «Астории». Он торопился, его ждали встречи, друзья, заказанные столики в ресторане.

— А Жванецкому ты бы тоже не дала? — с ехидцей спросил Костик.

Рита промолчала.

А через неделю она заскочила по каким-то делам в Дом актера на Невском и, когда уже собиралась уходить, то увидела, как навстречу ей по коридору, заполняя собой все пространство, движется улыбающийся Жванецкий.

— Ну вот, — сказал он, беря Риту за руку. — А я вас запомнил и очень рад встретить. — Пообедаем вместе?

Рита замерла завороченно, порозовев, как школьница. И безоговорочно пошла вслед.

За накрытым столом сидело несколько человек.

— Так, — сказал Жванецкий, галантным жестом усаживая Риту за стол. — Мы же не можем обедать без общества красивой женщины.

И обед начался. Рита ощущала себя королевой. В честь нее произносились тосты, рассказывались смешные истории, говорились речи. Этот обед Рита запомнила на всю жизнь. Казалось, что эти талантливые, неординарные мужчины соревнуются за право понравиться ей, лидировал, конечно, Жванецкий.

— Яша, а сколько мы вчера заработали, — спросил Жванецкий у пухленького чернявого мужчины, коммерческого директора вновь созданного театрального кооператива. Тот глянул в засаленный блокнотик:

— Вчера? Восемьдесят тысяч.

Рита округлила глаза. Большинство ее знакомых тогда еще работали на государственных службах с окладом 100 — 150 рублей, кооперативы еще только — только появлялись первыми робкими росточками, и кооператоры с их баснословными заработками были редки, как экзотические птицы. Сама Рита в своем журнале получала 110 рублей, а ее муж Гриша — 150.

— Риточка, — Жванецкий наклонился к ее уху. — Давайте выйдем на воздух. До моего концерта еще три часа.

И они вышли на солнечный многолюдный Невский и зашагали в сторону площади Восстания.

— Скажите, Рита, — вновь касаясь ее руки, проговорил Жванецкий. — Вы ведь замужем, да?

Рита кивнула.

— И муж наш человек?

Рита с улыбкой посмотрела на Жванецкого.

— Да.

Он слегка вздохнул и развел руками.

— И у вас все хорошо? Ну... Я рад.

— Знаете, Рита, — сказал Жванецкий. — Друзья сказали мне, что здесь неподалеку открыт первый кооперативный рынок.

И они свернули на Лиговку, в сторону Некрасовского рынка. Рынок гудел и разнообразно пах. Они поднялись на второй этаж, где кооператоры торговали одеждой и обувью. Жирный усатый грузин торжественно возвышался над прилавком с обувью. В центре прилавка стояли высокие красные

сапожки из кожи с высоким ладным каблучком — Ритина мечта. Рита остановилась, повертела сапоги в руках.

— Сколько стоят? — поинтересовалась она.

— 150, — процедил грузин, не устаивая ее взглядом.

— Нравится? — спросил вставший за спиной Жванецкий. — О чем речь! Я тебе их куплю.

И полез в карман за бумажником.

— Не надо! — вспыхнула Рита. Я их не возьму. Одно дело женщину обедом покормить, другое...

— Слушай, дэвушка, — сказал грузин, поманив Риту пальцем. — Это кто такой рядом с тобой будет? Лицо что-то знакомое...

— Это Жванецкий, сатирик, — доверчиво разъяснила Рита.

— Жванецкий?! На бесплатно!

И прежде чем Рита успела опомниться, грузин ловко уложил сапоги в коробку, захлопнул крышку и всунул ей в руки. Далее произошла немая мимическая сцена. Смущенная Рита отпихивала коробку назад, в то время как Жванецкий безрезультатно пытался отдать деньги своему неожиданному поклоннику.

— Зачем не хочешь? Хочу подарок делать! — бил себя кулаком в грудь грузин. Напротив них стали останавливаться люди.

— Смотри, Жванецкий! — сказала молодая женщина своему мужу.

— И впрямь, — изумился тот.

— Жванецкий! Жванецкий! — закричало вокруг несколько голосов. Рита с пылающими щеками, так и не сумев отдать сапоги грузину, в сердцах бросила их на пол и, продравшись сквозь толпу, побежала к лестнице. Внизу на улице ее догнал запыхавшийся Жванецкий.

— Рита, к сожалению, мне надо уходить. Скоро концерт. Дайте-ка я запишу свой московский адрес и телефон. Будете в Москве, заходите.

Рита достала записную книжку. Крупным корявым почерком он написал: «Мих. Мих. Жванецкий. Адрес, телефон.» Чмокнул Риту в щеку и размашисто расписался.

Болтливая Ариадна на следующий день раззвонила по всей редакции историю о том, как Жванецкий сапоги Ритке дарил.

Заинтригованные сотрудницы прибежали с расспросами, охали и восклицали.

— Духи от Диора, сапоги от Жванецкого! — насмешничала полногрудая корректорша Машка.

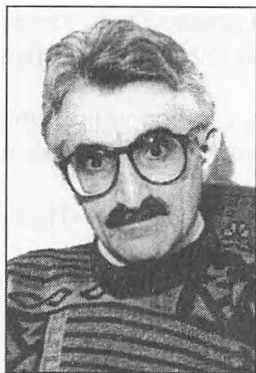
Но все женщины редакции были единомышленны в одном — сапоги она не взяла зря. Особенно переживала Ариадна.

— Это ж твоя месячная зарплата, — сокрушалась она. — Так и проходишь всю жизнь с голым задом...

И сейчас, спустя десятилетие, сидя в полутемном зале рядом со своим мужем, здесь, в Германии, на концерте Жванецкого, Рита вспоминала себя и ту прежнюю жизнь и с грустью подумала, что Ариадна, пожалуй, была права. И вечером, засыпая, она еще раз восстановила эту историю в мельчайших подробностях.

— Надо бы ее кому-нибудь рассказать, — подумала она.

Да только кто ж теперь поверит?...



Исай ШПИЦЕР

Мюнхен

НЕДАЛЕКО ОТ ЭСТРАДЫ

В 70-80-е годы министерство культуры страны Советов с периодичностью раз в полтора года позволяло себе роскошь непозволительную. Оно устраивало семинары драматургов эстрады. Эти семинары проходили в Подмоскovie в каком-нибудь из престижных пансионатов. Происходило это обычно в межсезонье — ранней весной или поздней осенью, когда главные отдыхающие уже наотдыхались.

Целью этих семинаров было — стреножить отечественных юмористов, научить их шутить конструктивно в русле дозволенных тем, скажем, про-иски империалистов, реваншистов, сионистов. И чтоб на советской эстраде звучал только здоровый смех, каким надлежало смеяться строителям коммунизма.

Естественно, что над этими установками министерства смеялись сами участники семинаров. Они набивались десятками в двухместные номера, пили водку, шутили, хохмили, «травили анекдоты». От их смеха и шуток вздрагивали стены пансионатов, которые, конечно же, имели «уши».

Через такие семинары прошли почти все наши ведущие сатирики и юмористы: Михаил Жванецкий, Михаил Мишин, Семён Альтов, Игорь Иртеньев.

Руководил семинарами неизменно писатель Матвей Яковлевич Гриф. Этот пожилой уже человек прошёл суровую школу жизни, которую мог предложить авторитарный советский режим — 18 лет лагерей и тюрем. Впервые его арестовали в 1937 году по делу журналиста Михаила Кольцова. Очевидно, только чувство юмора помогло ему выжить.

Мне посчастливилось быть участником трёх семинаров в годы, когда рамки дозволенного смеха были слегка расширены. И, конечно же, самым ярким воспоминанием от этих семинаров были выступления самого руководителя. Матвей Яковлевич обычно завершал обсуждение произведений очередного автора, и каждый его монолог был законченным литературным произведением, насыщенным интересной информацией, репризами, неожиданными ассоциациями.

Что-то мне удалось тогда записать, что-то я запомнил.

Так, бывшего министра культуры РСФСР он характеризовал: «Вы же знаете, Попов был странным министром культуры. После каждого слова у него был мат». И тут же приводил афоризм Станислава Леца: «Если человек не имеет отношения к искусству, он не должен иметь отношение к искусству».

Об эстрадных режиссёрах он говорил: «У нас много режиссёров, которые правительственные концерты делают таким образом: 300 знамён справа и 400 танков слева».

Об эстрадном авторе Кондратьеве: «Он говорит, что его исполняет артист Поплавский. Надо знать этого Поплавского. Во Дворец съездов или в Октябрьский его близко не пустят даже по билету».

«Артист Барбенко говорил мне: «Меня хвалят в газетах». Я говорю: «Приноси мне эти газеты». Он отвечает: невозможно, это стенные газеты».

«Одесса. В цирке — Олег Попов. Женщина в первом ряду причитает: «Ох, Попов! Ах, Попов!» Её муж: «Ничего особенного, это же не Плисецкая».

«В той же Одессе, до войны. Спектакль с Качаловым. Знаменитая мизансцена: лампа в полёте. Зал замер. И тут — голос:

— Сара Абрамовна, как вам эти москвичи?

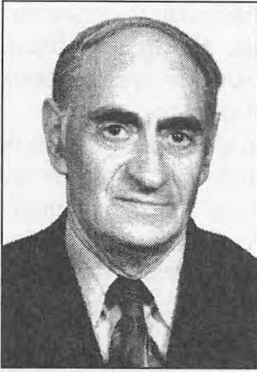
— Ой, лучше бы я купила халвы».

В 1962 году в Горьком прошёл первый всесоюзный конкурс эстрады. В нём участвовал и Матвей Грин. Вот его воспоминания: «Туда съехались ведущие артисты страны. Они буквально ограбили город. После них в течение 5 лет туда никто не приезжал. Нас попросили выступить на автозаводе. Я вел концерт. Что я мог интересного рассказать им об автомобиле? Но накануне концерта я побывал в городском музее, архиве, библиотеке. И я им сказал: «В начале века в Нижнем Новгороде была ярмарка, на которой были проданы две автомашины. Одну купил сам губернатор, а вторую — хлебный купец, который подарил её артистке цирка. Что-то в машине не сработало, и артистка разбилась как раз на том месте, где у вас сейчас цех готовой продукции. Так что, качество и еще раз качество, дорогие автостроители».

«На этом конкурсе один конференсье так истерично кричал за мир, что у меня сложилось впечатление, что за пределами зала всё уже рухнуло, и осталась лишь горстка людей, сидящих в зале».

И ещё Матвей Яковлевич рассказывал нам эпизоды из своей лагерной жизни. Впоследствии они вошли в его книгу «Артист за колючей проволокой». Вот один из них: «На одном пересыльном пункте я познакомился со старым бухгалтером из Одессы. Он мне сказал: «Мотя, я здесь уже не первый год и вижу, как каждый день сюда прибывают этапы «врагов народа». Скажи мне, пожалуйста, Мотя, что это за народ, у которого столько врагов?»

Когда я уезжал из России, Матвей Яковлевич был жив. Очень надеюсь, что он здравствует и сейчас.



Илья ФРИДМАН

Штутгарт

Вор

Леонида молодым уже не назовешь, но он отнюдь и не стар. Как говорится, мужчина в самом соку. По утрам моется холодной водой по пояс, затем обычно с удовольствием разглядывает себя в зеркале и убеждается, что выглядит еще вполне прилично: животик умеренный, мускулы более или менее сохранились, да и седые виски вид не портят, они лишь украшают мужчину.

У Леонида, как у большинства мужчин, имелись свои увлечения: он играл в теннис, собирал модельки автомобилей и маленькие бутылочки коньяка, старательно ухаживал за своей машиной.

Леонид не курит. С этим пороком он справился еще в молодости. Выпивал немного и только по праздникам.

Жанна была женщиной самостоятельной. Свой суверенитет она тщательно оберегала. Работой увлекалась и могла говорить о ней часами.

Жанна любила своего мужа, но немного холодноватой и высокомерной любовью.

По утрам оба спешили на работу, а вечером встречались дома, и каждый занимался своим делом. Жили они вместе, но у каждого была своя отдельная жизнь.

Ольга была веселой и ласковой молодой женщиной. Своими большими темными глазами она с удивлением взирала на мир. С мужем-пьяницей Ольга рассталась без сожаления и теперь жила вместе с матерью и десятилетним сынишкой. Ольга не жаждала самостоятельности и независимости. Она с величайшей радостью подчинялась бы и охотно занималась всеми работами по дому, найдись только серьезный претендент на ее руку и сердце. Работала она, чтобы можно было прожить и обеспечить сына и мать, и это было нелегко.

Леонид познакомился с Ольгой на приеме у врача, куда заезжал иногда, чтобы подремонтировать сердце. Она работала там сестричкой. Они сразу понравились друг другу, и потому Леонид сетовал врачам на свое здоровье чаще, чем в действительности требовалось.

Познакомившись ближе, Леонид начал названивать Ольге по телефону, вызывал на свидание возле третьего столба, что за мостиком. Там Ольга садилась в его машину, и он вез ее в какое-нибудь кафе подальше, где их никто не знал. А затем отвозил домой и провожал до парадного.

Так тянулось год, даже больше. Порой Леонид принимался искать комнатушку, которую сдала бы ему какая-нибудь старушка. Но те, кто были готовы сдать угол, сдирали немыслимые деньги, собирали об арендаторах подробную информацию и затем раззванивали по всей округе.

Расстаться с женой Леонид вовсе не думал. Он привык к своей будничной жизни и другой просто представить себе не мог. И вообще, мысль о разводе его раздражала. Бесконечное хождение по адвокатам и судам, дележ имущества и, главное, обмен этой уютной квартиры на две другие. Хлопот не оберешься. А если Жанна будет ставить препоны по всякому поводу? Женщины в подобных случаях упорны и неуступчивы. Для развода требуются нервы, здоровье и долгие месяцы, если не годы. Ну уж нет, это не для него.

Один из коллег Леонида затеял было эту возню, однако довести дело до конца не удалось — схлопотал инфаркт и умер. Другой, правда, оказался настойчивее и предприимчивей. Три года бедолага промучился, 16 судебных заседаний выдержал. Наконец лелеемая мечта воплотилась в действительность — он женился заново. Но как только возлюбленная стала женой, она показала свое истинное лицо, и все началось сначала.

Но и оставить Ольгу Леониду тоже не хотелось. Прекрасные мгновения с нею никто и ничем не заменит. Какое-то время они встречались у подружки Ольги. Ее муж уехал за границу. Подруга послушно шла в кино, где показывали по меньшей мере две серии. Но вскоре муж вернулся.

Пришла осень, ее сменила зима. Однажды Жанна уехала в командировку, и Леонид пригласил Ольгу к себе домой. Один раз, второй, третий...

А когда Жанна вернулась, Леонид подумал: жена целый день пропадает на работе, дома ни души, а что если продолжать встречаться с Ольгой здесь в первой половине дня?

Ольга вначале, правда, возражала:

— Ты хоть понимаешь, что произойдет, если твоя вдруг заявится?

— С чего это вдруг? Она обедает на работе, — утверждал Леонид.

— Но если все-таки?

— До сих пор она сидела сиднем на работе. Но, если хочешь, засов задвинем, — Леонид как мог уговаривал свою возлюбленную.

— Но тогда уж она точно сообразит, что кто-то дома, — не соглашалась Ольга. — Нет, лучше запремся в твоем кабинете.

Вначале было как-то неловко, боязно. Потом оба пообвыклись и даже забывали о существовании Жанны. Но однажды, когда Леонид и Ольга находились на диване, щелкнул английский замок входных дверей, и раздались шаги в коридоре. Ольга побелела и спряталась в страхе под одеяло.

— Тихо, — прошипел в ужасе Леонид. — Не шевелись! Сюда она не зайдет. Возьмет в спальне что там ей нужно и побежит обратно на работу.

— А если зайдет сюда? — прошептала Ольга дрожащими губами.

— У нее нет второго ключа.

Шаги приближались. Оба замерли, не дыша. Вслушивались. Затем шаги отдалились. Ольга прерывисто вздохнула.

— Я оденусь, — беззвучно сказала она.

— Не нужно, — возразил Леонид. — Уронишь еще что-нибудь, а тогда — конец.

Оба лежали неподвижно. Шаги замерли в спальне. Там долго что-то стучало и гремело, что-то передвигали. Скрипнули дверцы шкафа, а потом что-то упало и разбилось.

— Что это она там делает? — Ольга удивилась. Они переглянулись, и Леонид недоумевающе пожал плечами.

Наконец шаги снова раздались в прихожей. Леонид ожидал, что Жанна откроет дверь и уйдет. Но не тут-то было.

В замочной скважине что-то мелькнуло.

Одним рывком оба сели.

— Идет сюда, — выдохнула Ольга с отчаянным испугом в глазах.

— Абсурд, мистика, — вытянулось лицо у Леонида.

Ключ тихо повернулся в замке, и дверь медленно распахнулась.

В дверном проеме стоял хорошо одетый молодой блондин в роговых очках.

Изумление оказалось обоюдным. Какое-то мгновение никто не был в состоянии выдать из себя слово. Первым пришел в себя молодой человек.

— Добрый день, — несмело покосился он на лежавших. — Я, кажется, вам помешал? — заметил он, заикаясь.

— Добрый день, — не без труда ответил Леонид. Оба они с Ольгой одновременно кивнули головой. — Нет, ничего, — подавил вздох облегчения Леонид. Он все еще не мог поверить своим глазам, что это не Жанна только что вошла в комнату.

— Я все же вас побеспокоил, — томился вор. — Извините, пожалуйста. Я думал, что никого нет дома. Каждый делает свое, — пытался он оправдаться.

— Так оно и есть, — невольно согласился Леонид и бросил взгляд на свою оголенную партнершу. — Вы... вы хотите осмотреть и эту комнату? Тогда, пожалуйста, отвернитесь и дайте возможность даме одеться. Мы с ней выйдем.

— Ну, уж нет, — отступил назад вор. — Я вас понимаю — хотите запереть меня в этой комнате и позвонить в полицию. Не выйдет!

— Звонить в полицию? — повторил Леонид. — Мне и в голову такое не придет!

— Вы правы, — успокоился вор. — Полицейские чуткостью не отличаются, они запишут Вашу даму в свидетели и потянут в суд. Вот вам и скандал на ровном месте.

— Послушайте, — вымолвил Леонид. — Вам что, так уж обязательно очистить и эту комнату? Может, хватит одной?

— Так я могу идти? — вор радостно схватил узел и быстро повернулся.

— Стой! — и Леонид в одних трусиках покинул ложе и преградил вору путь.

Вор втянул голову в плечи, словно ожидая удара.

— Не надо, не надо! — начал он канючить. — Пустите меня, пустите...

— Сначала брось узел, — расхрабрился Леонид.

— Жалко, жалко вам? — скорчил гримасу вор. — Жалко вещичек, мешанин вы этакий! А я ведь сирота, ни отца, ни матери.

— Да не жаль, — прорывал в ответ Леонид. — Только с вещичками тебя сразу прихватят, а тогда ты все выложишь, как по нотам: где брал, что видел в квартире...

— Не расскажу, честное слово, не расскажу!

— Чтобы свою шкуру спасти, все расскажешь. Знаю я таких. Лучше деньгами заплачу!

Вор бросил узел на пол.

— Фу... — утер он мокрый лоб. — Платите!

Леонид повернулся и пошел.

— Эй! — воскликнул вор и угрожающе сунул руку в карман, словно бы у него там оружие.

— В чем дело? — остановился Леонид, — я ведь за деньгами...

— Этот номер не пройдет! Хотите позвать соседа и вдвоем меня отдубасить?

— Позвать соседа? — переспросил Леонид, — чтобы он рассказал моей жене все, что здесь увидел?

— Хороший сосед не выдаст. Он сам, наверное, с чужими женами крутит. Рука руку моет.

Леонид оставался у двери.

— Ну, так как же будет? — недоумевая, пожал он плечами.

И уже по-боевому настроенный вор встал на его пути.

— Не выпущу отсюда. Только через мой труп.

— Ого, — протянул Леонид. — Ну что ж, не хотите, так и не надо, — равнодушно махнул он рукой. — Оставьте адресок, pošлю деньги по почте.

— Умник какой нашелся! — театрально засмеялся вор. — Оставь ему адресок, чтобы он переадресовал его полиции. Видали такое?!

— Я уже говорил, что с полицией нашей дел иметь не буду.

— Ну, тогда дружок найдется и прихлопнет меня. Эх, влип я в беду. Лучше уйду пустой. Подобру-поздорову.

Он повернулся и собрался было уйти. Но Леонид внезапно снова преградил ему путь.

— Стоять! Никуда не пойдешь! — рявкнул он. — Я людишек такого сорта знаю. Не сегодня, так завтра попадешься и начнешь кудахтать, как старая курица, все выложишь, как на ладони — подробно и с комментариями, — он схватил вора за воротник, втащил назад в комнату и силой усадил в кресло. — Ну-ка обдумаем, как тебе заткнуть рот!

Пораженный вор уселся.

— Лучше всего бы тебя пристукнуть. — Леонид рассматривал вопрос всесторонне и спокойно. — Разрезать на куски да бросить в море. Вдвоем мы справимся. Такого прощелыгу никто искать не станет.

Вор побледнел и сжался в комок.

— Будут искать, — возразил он. — У меня же здесь в городе родители, люди известные...

— И у одного друга оставлено письмо, не так ли? — насмехался Леонид.

— Нет, — признался вор.

— Но все равно, этот вариант для нас не проходит, — присел на край дивана Леонид. — Труп еще выплывет, убийство раскроют, и нам из-за тебя придется отправиться в тюрьму. Лучше переоценим ценности, — он открыл шкафчик, вытащил две бутылки коньяка и поставил их на столик рядом с диваном.

Когда Жанна вечером пришла домой с работы, все трое были уже навеселе.

— Дорогая моя, познакомься! — Леонид схватил Жанну за руку и втащил в комнату. — Это мои молодые друзья — Петр и Ольга. Завтра они собираются зарегистрировать свой брак.



Борис НЕМИРОВСКИЙ

Аахен

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА

НОВАЯ РУССКАЯ СКАЗКА

Сегодня — день торгов. День торгов! Кто ни разу не был на нашей бирже, тому ни за что не понять, какое это слово. В нем — сияющие вершины и бездны низвержения, в нем — слава и успех, в нем — жизнь и смерть... Посмотрите, какое радостное оживление у входа: подъезжают лимузины и олдсмобили, проворные привратники отворяют дверцы, вытягиваются в струнку и берут под козырек... Наша биржа — не для шушеры всякой, у нас — только солидные клиенты. Наши брокеры — всем на зависть. День торгов! Каждый знает каждого, приветственные возгласы, радостные улыбки... «-о, рад видеть!» — «...Без петли на шее...» — «Как жена?» — «...Которая?» — «...Как бизнес?» — «...Помаленьку...» Вообще, слово «бизнес» — самое употребительное. Наши бизнесмены никогда не забывают о деле, они сжились с ним, они дышат им! День торгов! Веселые, довольные холуи тихонько убираются с глаз подальше с солидными чаевыми в карманах. Оживленная толпа всасывается в роскошный вестибюль и движется по направлению к залу. Вперед пропускают, конечно же, женщин — мы ж, японский городской, джентльмены в натуре или нет?! А женщины... О, это НАШИ женщины — и этим все сказано. Впрочем, о них позже, ибо звучит гонг, зажигается электронное табло, и ведущий берет в руки микрофон. День торгов!

— Господа брокеры, рад приветствовать вас на нашей бирже. Начинаем наши торги. Первым номером у нас сегодня...

И пошла работа. Серьезные, вдумчивые лица, тишина в зале... Только изредка задаст кто-нибудь вежливый вопрос. Бесшумно шныряют официанты с напитками. Продается и покупается все — от партий редкоземельных металлов до политических партий, от японских телефонов до телефонного права, тепловозы, оружие, власть, жизнь... Все есть на нашей бирже — только плати. Универсальность — наш девиз.

— Продается власть. Полная партия — кабинет министров, цены — в зависимости от партии...

Вопрос с места:

— А по одному можно?

Кабинет министров удаляется на совещание. Через минуту появляется премьер:

— Можно, — решительно кивает он, — но с условием: от каждой покупки — процент мне.

Такой товар обычно не залеживается. Министров споро и охотно раскупают. Премьер довольно качает головой — он в стороне не остался. И что с того, что завтра ему в отставку? С такими средствами да с такими связями он живо окажется по другую сторону помоста — среди покупателей. А у наших бизнесменов и на нового премьера денег достанет. А на помосте — новый товар.

— Внимание! Предлагается к продаже партия национал-социалистов.

Все морщатся и поспешно прячут глаза. Некоторые бросают укоризненные взгляды на самоуверенного лидера партии. Эти... уже многократно переданы и куплены. Все-то им нейдет... Поменять название, что ли, что-нибудь эдакое либеральное... Ведущий, чувствуя заминку, сноровисто хватается следующую карточку:

— Господа, у нас сегодня интересный товар, — следует профессиональная улыбка, — предлагается к продаже творческая интеллигенция...

По залу проходит короткий, масляный какой-то смешок. Да, такой товар не каждому по карману. Покупать ненужные вещи может себе позволить только очень богатый человек... Интеллигенция испуганно жмется в угол, из ее беспорядочной толпы доносятся жалобные возгласы:

— Где это мы?

— Как это нас угораздило?

— Что делать?.. Кто виноват?..

Спокойны только киноактеры и режиссеры — им не привыкать. Это, в конце концов, их работа — на публике. Хотя и в их улыбках, если присмотреться, тоже можно заметить некоторую нервозность. Им тоже как-то не по себе. Как оно еще все повернется...

Да-а уж, товарищ не ахти... Берут самых знаменитых, берут и парочку молодежи побойчее. В основном, актрисочек с ножками — хоть какой-то прок от них... Ведущий замечает уныние в зале и решает объявить перерыв.

После перерыва в зал возвращаются не все — некоторых увозят на носилках в больницу, а иных — прямо на кладбище, если остается что похоронить. Ну что ж, господа, это жизнь, давайте не будем. Мы же с вами понимаем, что человек человеку — даже не волк, а просто вирус СПИДа. Так что, пока живы, будем жить, а кому не повезло — сам виноват. Вон посмотрите лучше, что в зале творится...

А в зале — лихорадочное оживление. Ведущий свое дело знает туго — в работу пошел коронный номер.

— Продажа по разделу «Тела». Предлагается тело с лицензией на вывоз. Оплата в СКВ. Прошу внимания, господа... Цена...

Вот они — наши женщины! Бойко стучат по помосту каблучки, качаются бедра... Вот когда просыпаются лучшие чувства — цены растут на глазах, достаются объемистые кошельки. Ведущий взмок:

— Регистрируется сделка... Номер...

Но — хорошенького понемножку. Опять все входит в накатанную рабочую колею. Продается, покупается — страны и народы, сырье и полуфабрикаты, газеты и телевидение, посты и привилегии... Где-то в котировке сиротливо болтаются ум, честь и совесть — они уже никого не интересуют, они вышли в тираж. Да и качество товара сомнительно. Торги идут к концу. Ведущий ставит последний номер. Все удивленно переглядываются. На помосте — маленький, старенький и сморщенный попик в рясе и с большим нательным крестом. Добрые глазки, щурясь, посматривают на господ брокеров. Ведущий объявляет:

— Продается царствие небесное.

Долгое молчание. Потом неуверенный вопрос:

— А-а... А оплата какая?

Попик на помосте ласково улыбается:

— Житие праведное, сынок.

Раздается чей-то полузадушенный то ли смешок, то ли всхлип. Он ползет по залу, набирает силу и ширится, превращается в хохот. Вопросы сыплются так, что поп еле успевает поворачиваться:

— А лицензия на вывоз есть?

— А оплата по факту?

Попик отвечает:

— Что ты, сынок, предоплата...

Хохот в зале уже просто оглушающий. Даже ведущий смеется.

— Предоплата не канает, батя, пора знать!

— А почему опиум для народа?

Вдруг вопрос, за которым следует напряженная тишина:

— А деньгами возьмешь?

Попик грустно качает головой:

— Нет, сынок. Царствие небесное за деньги не продается...

Вдруг — от дверей:

— Что ты несешь, окаянный! Не слушайте его, господа, продается!

У двери — огромный, благолепный. Седая борода, золотой крест, шелковая риза... Голос зычный, но приятный:

— Продается, господа, подходите. За деньги все продается!

Вот это по-нашему! Вокруг благообразного сразу собирается толпа. Размахивают деньгами, целуют руку... Оно, может быть, товар и непонятный, да авось пригодится... И только старенький попик сокрушенно бормочет:

— И легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богачу войти в царство Господне...

Гравюры
Георгия
МАЛАКОВА
Киев



Томас Довер

Из серии
“Завоеватели морей”

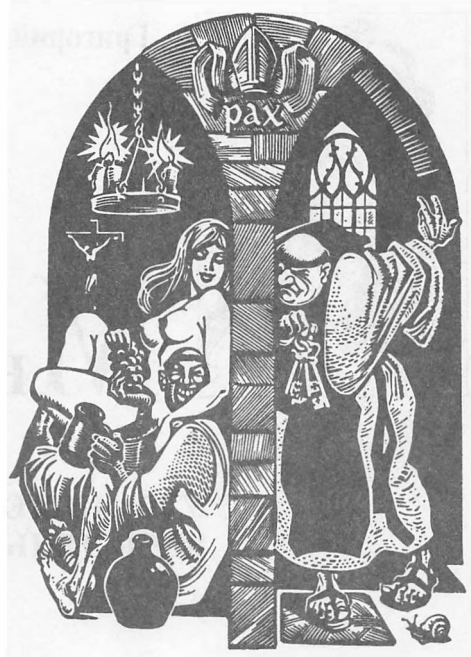


Автоэскиз

Френсис Дрейк



**В поход.
Из серии «Средневековые сюжеты»**



**Иллюстрация к новеллам
Дж.Боккаччо «Декамерон»**



**Первопечатник
Иван
Фёдоров**



Григорий КРОШИН

Дюссельдорф

Мы и вокруг

С УТРА ИНТЕГРИРОВАЛСЯ – ВЕСЬ ДЕНЬ СВОБОДЕН...

«...И я улыбаюсь тебе...»

Из Марка Бернеса.

Кстати, об интеграции. Я имею в виду вживание в новую обстановку, вращение в среде. Ох, трудное это оказалось дело! По крайней мере для меня.. От многих факторов зависит. И от желания. И от того, в каком состоянии духа, например, проснулся «после вчерашнего»...

Бывает, только встанешь, решишь начать интегрироваться прямо с утра пораньше. Ан... нет: чувствуешь что-то не то. Не интегрируется что-то сегодня...

А некоторые здешние привычки просто не укладываются. В голове, в частности. Простой пример. Я тут однажды в тесноте автобуса одного херра двинул нечаянно изо всей силы в живот. Ну, казалось бы, как наш нормальный человек с большой буквы должен бы на это отреагировать? Варианты ответов: а) пнуть незаметно для окружающих так же нечаянно локтем поддых, чтоб закачался; б) врезать правду-матку типа: «А ну, полегче, козёл!»; в) заорать благим матом; г) то же — просто матом... Всё. Больше вариантов нет. Это по-нашему. А по-ихнему, представьте, есть. Причём единственный: этот, кого я двинул в автобусной давке, повернулся ко мне и сквозь перекошенное от боли лицо... улыбается. Мало того:

— Махт никс, — шепчет. Причём на чистейшем немецком. Ну, если по-нашему: о'кей, дескать. Не бери, мол, в голову...

А что же ты? Ты, гордый внук славян, поставлен просто в идиотское положение: теперь, огромным усилием воли убирая с лица характерную для нас зверскую гримасу, хочешь, не хочешь, а вынужден... соответствовать. И с перепугу — тоже лыбишься в ответ... Жуть!

Или ещё один дикий случай. На днях вечером, на дюссельдорфской рейнской набережной застал нас с женой ливень. А мы без зонта... Гуляющая общественность вмиг вся куда-то испарилась. Одни мы посреди набережной — безлошадные беженцы от ливня... Пробегаем мимо огромного, с тёмными окнами (рабочий день-то давно кончился) здания, промелькнула табличка «Министерство...», хлюпаем дальше, чертыхаясь и проклиная

здешний климат, а заодно и всю нашу жизнь, вдруг сзади: «Халлэ! Халлэ!»... Вроде это нам. Смотрю, из министерского подъезда вышел мужчина в униформе работника охраны и делает нам знаки: шуруйте, мол, сюда. Что делать? Шуруем, ещё не веря в бесплатное спасение. Огромные двери открываются и впускают нас, беженцев от ливня, внутрь фешенебельного, просторного, и главное — абсолютно сухого дома. Жизнь прекрасна! Спаситель показывает нам на кожаные диваны:

— Битте шён, майне дамен унд херрен, присядьте, отдохните, а то дождь-то какой... А сам — улыбаясь — убегает обратно к дверям, чтоб посмотреть, нет ли ещё каких мокрых, которых надо спасать от дождя. И, между прочим, приводит ещё троих таких же, которым, как и нам, привалило счастье: над нами не каплет! А спаситель нам пятерым:

— Кафее тринкен не хотите ли?...

Не-ет, это уж слишком! Я живо представил себе эту ситуацию в Москве, попробуй я лишь встать от дождя под козырёк какого-нибудь министерства или другой какой важной конторы. Так и слышу голос изнутри:

— Эй, ты там, давай отсюда, живо! Не положено! А то щас!..

Вот это — нормально, привычно. Это наше, родное. А чтоб вот так, как этот немецкий чудак-вахтёр... Чтоб из МИНИСТЕРСТВА... Да ещё вышел СПЕЦИАЛЬНО, чтоб позвать... Просто потому что увидел, что какие-то люди мокнут... Нет. Убейте меня, не понимаю!..

...А что выкинул на той неделе водитель автобуса! Я вошёл в переднюю дверь, беру билет на двоих, а он мне в ответ... длинную лекцию на тему о том, какой билет в моём случае был бы наиболее выгодным для меня, более дешёвым. То есть: совершенно чужой мне человек взялся... экономить мне МОИ деньги!?!.. А весь автобус, представьте себе, сидит и не психует, терпеливо ждет, пока водитель поможет ЧЕЛОВЕКУ... И пассажиры эти странные не только не объяснили мне популярно, что я козёл и сам должен думать о своей выгоде, а даже и водителю не намекнули ни разу, что он сапожник, не умеет ездить и вообще его пора на свалку... В салоне просто УЛЫБАЛИСЬ!..

...Не понимаю, чего они все лыбятся друг другу?..

Ну, слава богу, не всё здесь для меня так уж непривычно. В супермаркете наехал я тележкой на замешкавшуюся старушку. Легонько так наехал, не насмерть. Её, правда, чуть-чуть откинуло метра на три-четыре. Наученный уже местным этикетом, я ей тут же:

— Энтшульдиген зи битте, — и, как положено, улыбку даю. Что мне, трудно, что ли, улыбнуться, чтоб ты сгорела, старая перечница. А она мне:

— Швайн!.. Это ж *мои* ноги!

— Энтшульдиген, — стою я на своём и продолжаю держать добродушный оскал, демонстрируя ей свою доброжелательность, будь она проклята.

— Швайн! — настаивает и она, загородив всем проход к товарам первой необходимости. — Это *мои* ноги! Это *моя* обувь! Я за неё 50 марок заплатила!..

— Энт-шуль-ди-ген, — через силу выдавливаю из себя я, держа улыбку, так что сводит скулы.

— Швайн, швайн! — заладила она.

— Сама ты швайн! — не выдерживаю я. Правда, я это ей не вслух сказал, я ей это подумал... Но — всё-таки уже полегче. Это уже по-нашему... Хотя и не вслух. А вообще-то...

...Надо, надо интегрироваться скорее, вот что я вам скажу... И ещё: надо нам как-то вывернуться наизнанку и ...попробовать улыбаться друг другу. Даже если этот друг оказался вдруг. Всё же, признаемся, это полезнее для здоровья, чем про козла друг другу намекать.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Я русский бы выучил»... Только за что?

— Да, что и говорить, многовато нас тут, в Германии, стало. Я имею в виду русскоязычных. Аж чуть ли не два миллиона уже, судя по местной статистике. Что, кстати, и так сильно чувствуется и видно без всякой статистики абсолютно ничем не вооружённым глазом. И даже ухом.

К примеру, если шесть лет назад, находясь в Дюссельдорфе в служебной командировке и услышав за месяц пребывания здесь впервые русскую речь в супермаркете, я вздрогнул от неожиданности, то сегодня, слыша тут и там родные слова, я... тоже вздрагиваю. Правда, уже не от неожиданности, а совсем как бы от наоборот...

...Трамвай в дневное время, как известно, довольно свободен: основное местное трудящееся население исправно отработывает свои зарплаты на рабочих местах. Однако сиденья почти стопроцентно заняты — домашними хозяйками, пенсионерами, неучащейся молодёжью, бомжами, флюхтлингами... И прочими случайными пассажирами с детьми и инвалидами. Расслабился, сижу, наблюдаю в окно капиталистический образ жизни со всеми его язвами и противоречиями, вдруг:

— Ну ты, бля, даёшь! — За моей спиной расположились двое парней. — Ты что, не врубаешься? Я ж его, бля... раза... банул в ман... так он, сука, мне, бля, в натуре..., и..... ну..... по..... я, бля, а он, бля..... ты что, бля.... оху.... Ха-ха-ха!

— А с той бл.... замельдовался? Ха-ха-ха-ха!!!..

Всё поняли, читатель? Я тоже... Отдельные звуки. Хотя, надо сказать, всё это было выдано весьма четко, с отличной дикцией и, главное, — громко! И — абсолютный ноль внимания на присутствующую в том же трамвае местную коренную немецкую общественность в виде пенсионеров с детьми и инвалидами. Ну, в общем — знай наших!

И тут уже, похоже, наших знают. И на всякий случай опасаются. Вижу: двое пожилых немцев, может, супруги, озираясь на дискутирующих парней, молча пересаживаются на другое место, подальше от возникшей полемики, в конец вагона. Я вышел за две остановки до своей, прервав наблюдение из окна, чтоб не мешать парням общаться на их языке. А скорее всего, потому, что с непривычки не выдержал просто физически, сломался: слишком уж «велик и могуч», чересчур «правдив и свободен» оказался для меня их русский...

Теперь-то, конечно, я чуть попривык, слыша его повсюду — в тех же трамваях, в кафе и ресторанах, на вокзале, в магазинах, просто на улицах. И всюду — столь же четко, с прекрасной дикцией, как назло, а также смачно и, главное, — громко...

Вот что ещё озадачивает. Почему-то они, эти мои разговорчивые соотечественники, убеждены, что вокруг никто их не понимает... Или — наплевать?... Мол, «у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока»?... Так, что ли? А что же, интересно, буржуи?

Видимо, по каким-то еле уловимым признакам определив во мне русского, в том же транспорте, один из «буржуев» наклонился ко мне и спросил тихо:

— Энтшульдиген зи битте, исвиньите, вы не знайт, эти цвай перзон разговаривайт на русски?

— Я, руссиш, — мямлю я и чувствую, что краснею. — Но... как бы вам объяснить... Местами на русском. Частично.

Он удовлетворённо кивнул и, вижу, чуть успокоился. Видимо решил, что просто не вполне понимает по-русски. Не все слова знает. Местами. Частично.

А мне вспомнился другой случай. В московском строительном институте мы учились в 60-х годах вместе с группой вьетнамцев. Это были необычайно трудолюбивые студенты, не чета нашим. Грызли науку очертя голову, днём и ночью. Всем овладевали мгновенно, в том числе и русским. Очень быстро интегрировались в нашу русскую жизнь, всё понимали.

Хотя, как оказалось, не стопроцентно всё. Однажды двое наших ребят крепко поспорили. Как обычно. До мордобития. Один другому кричит:

— Заткнись, засранец!

Слышавший это вьетнамец спрашивает меня:

— Я не все слова понял. Что такое «заткнись»?..

...Так вот, немцы, видно, в отличие от тех моих вьетнамцев, не полностью ещё интегрировались в наше русское... Значит, наши крепкие слова для местного западного населения пока ещё не всем доступны. Как услышат — начинают дёргаться, пересаживаться на другие места, вообще выходить из транспорта, от греха подальше. Хлипкий пошёл немец. Короче, надеяться на то, что наше русское «крепкое слово и немцу приятно», долго ещё не приходится. Да что там немцу! Нам-то с вами, читатель, самим — неужели так уж приятно? Или, может, понятно?

Лично я, например, из того диалога в трамвае только три слова и понял: «ну ты» и «замельдовался»...

То есть в деле понимания этого языка до вьетнамца мне, конечно, ещё далеко-о-о.

А вам, читатель?

АНКЕТА ДЛЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В ГЕРМАНИИ

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Псевдоним, если Вы им пользуетесь. Кстати, когда и почему Вы решили к нему прибегнуть?
3. Дата и место рождения. Можете указать здесь и свои соображения относительно знака Зодиака, если считаете это существенным...
4. Образование. Если литература не была для Вас единственным делом, какие профессии помогали Вам зарабатывать на хлеб насущный?
5. Первые публикации, учителя и влияния.
6. Какой жанр Вы считаете для себя основным? Много ли у Вас публикаций и к какому периоду времени относится подъём Вашей творческой активности? Участвуете ли Вы в русскоязычной мировой прессе в качестве публициста? В каких изданиях?
7. Из какого населённого пункта бывшего СССР Вы приехали и в каком году?
8. Если не посчитаете этот вопрос некорректным, то почему именно тогда и... именно сюда?
9. Пожалуйста, несколько слов о Вашей семье.
10. Есть ли у Вас в эмиграции круг общения? Получились ли профессиональные контакты с немецкими коллегами? С переводчиками?
11. На каком уровне Вы владеете языком? (И, кстати, когда начали его изучать?) Пробуете ли выразить себя как писатель на немецком? Какими ещё языками владеете?
12. Знаете ли Вы немецкую культуру и повлияла ли она на становление Вашей личности? Следите ли сейчас за немецкой литературой? Кто из современных немецких писателей Вам ближе?
13. Не смущает ли Вас тот факт, что в Германии женская литература рассматривается отдельно? Ваши мысли по этому поводу...
14. Находясь в эмиграции, публикуетесь ли Вы на Родине? Есть ли у Вас давно созданные произведения, которые увидели свет только сейчас, так как в годы их написания были запрещены цензурой?
15. С какими издательствами и журналами в России Вы поддерживаете связь? Так уж сложилось, что именно с этими, или Ваше участие в них обусловлено их традициями, стилем, кругом авторов?
16. Рассматриваете ли Вы русскую литературу в России и за рубежом как единое целое? Ощущаете ли себя, так сказать, в этом едином русле или — на эмигрантской ветви?..
17. Чувствуете ли Вы себя в Германии — дома? Или — как в долгом путешествии, из которого всё-таки возвращаются? Или можно сказать, что у Вас теперь два местожительства?
18. Считаете ли Вы, что изменение пространства и условий жизни оказалось увлекательным для Вас и полезным для Вашего творчества? Является ли современная жизнь на Западе одной из Ваших новых тем?
19. Переводите ли Вы с немецкого? Делаете ли что-нибудь для связи русской и немецкой культур и встречаете ли на этом пути понимание и поддержку?
20. Удаётся ли жить на литературные заработки? Получали ли Вы в Германии какие-либо творческие стипендии, университетские гранты?
21. Как бы Вы оценили значение русского литератора на Западе? Пользуется ли, на Ваш взгляд, русская литература, создаваемая за рубежом, достаточным влиянием в России? Ощущаете ли Вы лично интерес к себе и вообще к русской культуре в Германии? И если что-то мешает Вам полностью реализовать себя, то что именно?

АВТОРЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

1. **ГОРОДИНСКИЙ Михаил Хаимович.**

2. Не пользуюсь, не прибегал.

3. 13.01.47, Ленинград. Козерог, но думаю, что это все же не слишком существенно.

4. Высшее техническое. Работал инженером, радистом, пожарником, ночным директором завода, все это было давно.

5. Начало 70-х годов, журналы «Аврора», «Юность», «Крокодил», «Лит. газета», «Лит. Россия», альманах «Молодой Ленинград» и пр.

Конкретных учителей не было, влияла же, разумеется, всякая хорошая книга, будь то религия, философия или художественная литература.

6. Пишу разное.

Публикаций при небольшом объеме написанного достаточно много. По молодости активно начал, печатался. По мере взросления стремительно убывали и шансы свои сочинения опубликовать. Постепенно и вовсе отказался от попыток печататься. В долгий период разнообразных ломок, так или иначе отлично знакомых всякому сколько-нибудь добросовестному советскому сочинителю, писал в стол. Азарт, если тут годится такое живое слово, вернулся в конце 80-х начале 90-х, да и сейчас, худо-бедно, не пропал. В последние годы прозу, публицистику и эссе публиковал в парижском «Синтаксисе», в журналах «Огонек», «Нева», в коллективных сборниках и альманахах, а также в русских, американских, израильских и немецких газетах («Литературная газета», «Ленинградский литератор», «Русская мысль», «Новое русское слово» и др.) Роман «Дети слов», опубликованный журналом «Нева» в 93-м, был представлен на премию Букера. В том же году в Петербурге вышла книжка прозы «Позабудем свои неудачи», рецензии на нее были в «Литературной газете» и в «Новом мире». Пару лет тесно сотрудничал с радио «Свобода», регулярно участвуя в передаче «Писатели у микрофона».

7. Приехал из Ленинграда в начале 1991-го.

8. Усталость, плохое самочувствие, концентрация окрестной мерзости, страх за семью, детей, себя, массовый отъезд друзей сошлись с шансом радикально сменить обстановку.

9. Имею сына 27-ми лет.

10. Всех расшвыряло, друзья далече, но эпоха исправной почты, телефонов, быстрых сношений компьютерных позволяет проявлять дружелюбие и нежность на любой дистанции, а что-то на дистанции и получше сохраняется. Требуемого качества общения очного мне, наверно, хватает.

11. Немецкий начал учить уже в Германии, могу говорить, читать. Писать на немецком в голову не приходило. В школьно-институтском объеме знаю английский, когда-то учил иврит.

12. Люблю Т.Манна, Гессе, Рильке, из немецкоязычных писателей — Кафку, Майринка, Музиля, Канетти, Броха, Бруно Шульца... Из современных немецких читал Белля, Грасса, Зюскинда.

13. Не думал, но смущает не сильно.

14. Да, публикуюсь в России. Проза, написанная в «застойные» годы.

15. В основном, это питерский журнал «Нева», «Литературная газета». Связано это с нашими хорошими отношениями, моим малописанием, непривычкой и ленью заводить деловые контакты и суетиться.

16. Ни в каком «русле» никогда себя не ощущал, я не человек «русла», группы, тусовки, или вынужден был стать таковым, не знаю.

Что касается литературы, как какого-то целого... если текст, написанный

по-русски, заставляет меня думать, шевелиться, радоваться прецеденту и чуток обмануться, будто это еще нужно мне, кому-то еще, место его написания не имеет для меня значения.

17. Ни дома, ни в путешествии, из которого возвращаются, здесь себя не чувствую. С домами и путешествиями отношения свои, давно. Просто от тамошнего отвык, к здешнему (кажется) привык.

18. Безусловно. Совершенно новое, принципиально невозможное априори знание, опыт. Звук мира с «моно» переключается на «стерео». Появляются, если метафору чуток развернуть, новые темы, мелодии, но все-таки в основном по-новому звучат старые, какие-то из них, прежде едва слышные, вылезают на первый план, казавшиеся важнейшими, наоборот, отступают. По-новому звучишь и ты. Для «чуткого уха» — рефлексизирующего ума — все это чрезвычайно интересно, в том числе и вопрос, зачем он, такой опыт, тебе нужен, ведь знаешь, чем за него приходится платить, и к чему он (как, впрочем, и все иные) приближает. Даже для долгого наблюдателя себя и окрестностей главное здешнее открытие заключается в *незнании себя и совершенном подчас незнании тех, кто окружал тебя прежде, вплоть до самых, казалось, близких и понятных*. Как после этого претендовать на какое-то знание целого чужекультурного мира, в котором ты вдруг оказался? Лишь впечатления, догадки, взгляд и «нечто». С осторожностью мог бы, пожалуй, лишь сказать, что при всей своей сложности и многообразии, *сущностно* он проще и мельче, чем могло казаться. Но и тут дело не в нем, но в инфантилизме непоправимо долго пребывавшего в изоляции наблюдателя, даже его скепсиса.

19. Обогащать немецкую культуру не пытался. Впрочем, что-то переводилось на немецкий, значит, какими-то немцами читалось; пару раз читал на немецкой публике. Что испытывала при этом Культура, понятия не имею.

20. Если бы пришлось жить на литературные заработки, посюсторонняя жизнь составляла бы лишь какую-то небольшую часть месяца, года, на остальное время приходилось бы переселяться в более тонкие миры. Стипендии, гранты могли бы частично решить этот вопрос, но я их никогда не получал.

21. Где бы то ни было значителен в результате лишь мощный талант, хотя степень его влияния на нынешний тотально прагматический мир — тема едва ли воодушевляющая. Русский литератор на Западе... как и прежде, неведома зверушка, репрезентирующая не себя, но неведомого Зверя. Раньше миру был хотя бы любопытен феномен выживания интеллигента в левиафановом чреве, ну, борьбы там какой-то («с удущьем»), нынче же художественный писатель должен удивлять всезнающего западного интеллектуала или просто читателя по взрослым меркам, а они ведь достаточно серьезны, отличных умных писателей в мире хватает, а уж профессионалов, умеющих делать качественный товар... Сразу стала очевидна наша провинциальность, малообразованность, малоинтересность попросту (и себе тоже, в чем главная причина обвального падения тиражей «толстых» журналов, серьезных книг поэзии, прозы; причем малоинтересными оказались и читатели, на чей запрос только и отвечает писатель, сколько бы он ни казался себе независимым)...

Не было и нет частной самостоятельной жизни, имманентных ей зрелых человеческих отношений со всей их сложностью, драматичностью и трагизмом, той, если угодно, психологии, на которой всегда стояла литература, и русская в 19-м веке тоже. Барахтанье в бардаке, в слегка американизированной зоне, под бандитами, ворами, разного калибра бесами. Далеко ли улетит даже самая вольная фантазия? Какая любовь может быть между «обесчещенными»? Добавим: нежность, благоговение, глубина и тонкость чувств, достоинство, доверие, судьба наконец? Обесчещенными же, скомпрометированными нынче оказались все. Разумеется, есть и хорошие поэты, и писатели, много молодых. А

без мирового интереса можно и обойтись, опыт есть. И полно вещей поважнее, чем литература. В России, несомненно, интерес интеллигенции к западной культуре, литературе несравнимо выше, чем на Западе к русской. Так было всегда, и это законно: смыслы, идеи, формы культуры приходили с Запада. Сегодня тоже, только эти формы, смыслы после катастроф уходящего века, под давлением экономизма и масскультуры и на Западе стали иными, в них больше нет гуманистически-романтического пафоса, творческой личности с ее надеждами, страданиями, отчаянием, бунтом, глубиной. Человек, единичный, художник, творец в прежнем смысле вообще оказался скомпрометированным историей, массой с ее претензиями и ценностями, усмирен и отодвинут на свой скромненький демократический сучок (не на нары, о чем в конце века трезвый западный вольнодумец очень помнит), где скромненько и чирикает без упований на свое мессианство, воздействие, влияние, на власть над умами...

О самореализации как-то неловко говорить, ведь, так сказать, лучшие годы, заодно и силы были угроблены на выживание, на защиту. Человек слаб, к преодолению себя не склонен, а когда только вниз, к простоте копошения всячески подталкивает система... Однако, есть нечто еще, и еще, против чего не попрешь. Талант, например. Вещица крайне редкая, нежнейшая, легко пропываемая и загубляемая, но без которой всякие разговоры о реализации или не... Чего без него реализовывать-то? Силы, усердие, способность переть, добрые побуждения? Зачем? Ну, реализовал себя некто на все 100 или 150 и помрет насыщенный чувством самореализованности, и что с того? Ну, не реализовал себя Вен.Ерофеев и на 5%, то есть, по житейской логике, мог бы больше, больше написать, если бы... Да, конечно, жаль, и вместе с тем не работает здесь такая логика, ибо искусство, талант именно вопреки всякой логике живут своим промыслом. Есть «Москва-Петушки» или «Пушкинский дом», вот и все. Писать пишущему, раз уж взялся и чешется, лучше, наверно, конечно, больше. И относиться к этому делу надо, конечно, добросовестно-серьезно, как к любому, за которое взялся. Но вот относиться к себе — писателю, скомороху божьему, слишком всерьез... глуповато, да и опасно для души и здоровья.

* * *

1. ВЕБЕР Вальдемар Вениаминович

2. —

3. 24 сентября 1944 года, посёлок Сарбала, Осинниковского района, Кемеровской (ранее Сталинской) области.

4. В 1968 году окончил Московский институт иностранных языков.

Кроме литературного перевода (поэзия, эссе, проза), писал сценарии к документальным фильмам, статьи для русских и немецких газет и журналов, подрабатывал устным и письменным переводом, работал гидом, озвучивал фильмы.

5. Первая публикация в начале 70-х годов в журнале «Неман» (Минск). Посещал семинар Бориса Слуцкого, переводческие семинары Вильгельма Левики и Аркадия Штейнберга.

Влияния — немецкая классическая и современная поэзия.

6. Основной жанр — лирика. Затем — художественный стихотворный перевод.

Публикации оригинальных стихотворений: две книги стихотворений на немецком и на русском; многочисленные публикации на русском и немецком в России, Германии, Австрии, Румынии, Бельгии, Люксембурге. После нескольких попыток опубликоваться на русском в начале 70-х годов не возобновлял этих попыток до 1995 года. На немецком печатался с конца 70-х годов как в СССР, так и за границей (ГДР, ФРГ, Австрия, Румыния). Писать по-русски не прекращал никогда.

Все эти годы переводил немецкую поэзию, переводы считаю неотъемлемой частью своей литературной работы. Они напечатаны в более чем 100 сборниках поэзии, девять из которых я составлял сам.

В русскоязычной мировой прессе в качестве публициста пишу крайне мало. Издаю «Немецко-Русскую Газету» (Мюнхен), редактирование чужой публицистики занимает много времени, поэтому «берегу себя» для собственных стихов и эссе.

7. Приехал в Австрию в 1992 году из Москвы, преподавал три года в австрийских университетах, затем переселился в Германию.

8. Поехал с семьей в Австрию преподавать, так как мне предложили гостевую профессуру, мне всегда хотелось поработать в какой-нибудь немецкоязычной стране. В Австрии и в Германии никогда не ощущал себя за границей. Поэтому эмигрантом себя не считаю.

Решение остаться в Германии было принято уже в Австрии — «по семейным обстоятельствам».

9. Приехал с семьей: женой, Татьяной Вебер — переводчицей, дочерью Натальей (1971–1995) и сыном Александром (род. в 1979).

10. Основной круг общения — немецкие и австрийские литераторы и журналисты, с которыми меня связывала прежняя деятельность. Через работу в «Немецко-Русской Газете» круг общения с эмигрантами достаточно широк.

11. Пишу и говорю на двух языках: русском и немецком.

12. Интерес к немецкой культуре у меня с детства. Его постарались привить мне мои родители — необрусевшие немцы. Позднее немецкая литература стала моей профессией, поэтому и повлияла на мой литературный труд. Слежу за немецкой литературой постоянно.

Мог бы назвать много имен, но, чтобы не перегружать читателя, назову одно имя: берлинский поэт Кристоф Меккель.

13. Смущает. Но протестовать по этому поводу бесполезно. Не хочу отнимать хлеб у массы всяких «истов», кормящихся этим. К тому же большинство писателей-женщин считают эту «отдельность» вполне удобной: «женские» литжурналы, библиотеки, семинары, симпозиумы, сборники, издательства и т.д. Протестовать против этого — все равно что протестовать против стихии.

14. Да, публикуюсь в России с 1995 года.

Большинство моих русских и немецких стихотворений появилось в печати в последние годы, так как не могли быть напечатаны по цензурным соображениям разного рода.

15. С издательствами «Весть», «Радуга», с журналом «Арион», «Иностранная литература».

16. Мне кажется, что нельзя сравнивать эмигрантов первых трех поколений с четвертой волной эмиграции. Последние приезжают добровольно, их никто из страны не гонит. Они также могут в любое время возвратиться на родину. Очень многие немецкие литераторы живут в других странах. Но новой эмигрантской литературой эту немецкую литературу никто не называет. Немецкий писатель, живущий в Риме или Париже, эмигрантом себя не считает.

У каждой волны эмиграции были свои темы, свои образы.

Я не верю в какую-то особую немецкую судьбу сегодняшней русской эмиграции. Не верю, что она найдет какую-то свою тематику, которая будет отличаться от остальной литературы. Возможно, появится какая-то атрибутика, связанная с проживанием в том или другом месте. Но не больше. Ведь едут именно в Германию чаще всего не по зову сердца, а потому, что эта страна предоставляет уникальные социальные льготы. Пятидесятилетние литераторы еще за несколько дней до приезда сюда об этой стране ничего не знали, многие немецкую культуру, да и саму Германию игнорировали, не любили, не любят и

сейчас. Вспоминаю, как один известный московский поэт, которому я предложил переводить для своей новой антологии современной немецкой поэзии, мне ответил: «Ну что я знаю о немецкой культуре? Ну, Гитлер, ну, Гете...» Теперь этот поэт живет в Германии.

В этой стране невозможно жить чисто эмигрантской жизнью. Германия — не страна эмиграции и никогда ею не будет. Понятия «эмигрант» в немецком законодательстве нет. От приехавших ожидается интенсивная интеграция. Ведь не случайно так произошло, что русская диаспора из Германии 20-х годов переместилась в другие страны. Еще до Гитлера.

У каждого из живущих здесь литераторов — своя индивидуальная судьба. Я не называл бы их эмигрантами в классическом смысле слова. Это — русские литераторы, проживающие в Мюнхене, Берлине, и т.д. Темы их произведений будут темами их индивидуальной судьбы. Понятие «Русское зарубежье» принадлежит прошлому, объединительным понятием оно стать сегодня не может.

17. Я даже издалека, из Сибири, не ощущал Германию как границу. Частично этому «виной» мое немецкое происхождение, частично моя профессия германиста. Я совершенно не ощущаю психологической разницы пребывания в Москве или Мюнхене, у меня всегда было два сердца: немецкое и русское.

18. Все случившееся со мной и моими близкими ощущаю как судьбу. Эта судьба и является темой моих стихотворений.

19. Уже тридцать лет перевожу с немецкого. Связь немецкой и русской культуры была темой моих университетских лекций и темой большинства статей, опубликованных в немецкой прессе. Статьи возникли на основании опыта по переводу немецкой литературы.

20. В отличие от России в Германии на литературные заработки жить не пытался. В конце 80-х, начале 90-х годов несколько раз был стипендиатом различных немецких литературных обществ, как например: литературного общества «Литературколлоквиум» в Берлине, фонда имени А.Тёпфера в Гамбурге, «Австрийского литературного общества» в Вене и т.д. В 1992 году был приглашен в Австрию для преподавания в университетах г.г. Граца, Инсбрука, Вены.

21. Знают в России в основном литераторов, уехавших из СССР. Уехавших позже «русским зарубежьем» в России сейчас не воспринимают, не считают эмиграцией, да и прежние — уже «не те» эмигранты, они всегда могут вернуться назад. Русская литература — едина. Русская диаспора — миф, она существовала только при закрытых границах. Я не понимаю, зачем сейчас, чтобы «обрести себя», реализовать себя, нужно эмигрировать. От Бреста до Владивостока говорят по-русски, везде по России возникают журналы и издательства. Вполне можно реализовать себя на этих просторах. Эмиграция современных писателей — добровольный шаг их личной судьбы, их самоощущения.

Интерес к русской литературе в Германии всё ещё очень высок. Но, к сожалению, судьбу её в Германии начали определять люди из среды славистов, пытаясь навязать ей исключительно постмодернистское лицо, т.е. желающие изобразить её не такой, какая она есть, а такой, какой ей надлежало бы быть по их представлениям.

Поздравительная открытка

Редакция журнала
«Родная речь» сердечно поздравляет
писателя Бориса ХАЗАНОВА с
присуждением ему Hilde-Domin-Preis.

Эту премию присуждает один раз в два года
город Гейдельберг писателям, живущим в изгнании.

Председателем жюри, состоящего из критиков и
издателей, является сама Хильда Домин, известная
поэтесса и эссеист, которая провела в изгнании больше
20 лет и вернулась в Германию в 50-х годах.

Премия присуждена «für den wegweisenden Beitrag
zur europäischen Gegenwartsliteratur».

«Родная речь» желает Борису ХАЗАНОВУ новых
талантливых книг и долгих лет жизни.



Редакция журнала «Родная речь»
сердечно поздравляет кинорежиссера Яна
Борисовича ФРИДА, ныне прожи-
вающего в Штутгарте, с 90-летием!

Более двадцати фильмов снял он
за свою творческую жизнь, среди них
такие известные и любимые зри-
телями, как «Двенадцатая ночь» и
«Собака на сене».

«Родная речь» желает Яну Бори-
совичу здоровья, бодрости, оптимизма и,
как знать, может быть, нового фильма
по сценарию одного из русских писате-
лей, живущих в Германии...



Рукописи для журнала «Родная речь» просьба присылать по адресу:

An Frau Olga Beschenkovskaja

Rotweg 43

70437 Stuttgart

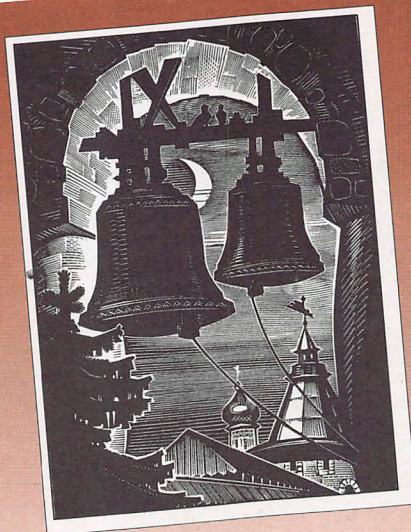
Tel.: 0711/874304

ISSN 1435-7712

Preis 11,- DM

3/98

Родная РЕЧЬ

LITERARISCHE
ZEITSCHRIFT
«RODNAJA RETSCH»

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ «РОДНОЙ РЕЧИ» ЧИТАЙТЕ:

Александр ТЮРИН. **Полное выздоровление.** Повесть

Юрий ФЕЛЬДМАН. **После убийства.** Повесть

(Из записок тюремного психиатра)

Михаил ГОРОДИНСКИЙ. **Мария.** Рассказ

Юрий КУДЛАЧ. **Речная лилея.** Рассказ

Вадим ФАДИН. **Одна забота - сохранение чести...** Стихи

Генрих КИРШБАУМ. **Первопечатники печали...** Стихи

Ольга ДЕНИСОВА. **Когда дерево жизни проступит на скулах страны...** Стихи

Илья ЧЛАКИ. **Бред.** Пьеса для чтения

Виталий ПЕЧЁРСКИЙ. **Немецкий омнибус.** Отрывок из повести

Абрам ВАРКЕНТИН. **Надпись на фронтоне.** Рассказ

Аркадий ПОЛОНСКИЙ. **Если смерть есть ночь, если жизнь есть день...**

(Христиан Иоганн Генрих Гейне)

Александр ЛАЙКО, Борис МАРКОВСКИЙ. Переводы из немецкой поэзии

Лариса ГРУНТМАН. **Праздник жизни, молодости годы...** Воспоминания

Борис КИРИКОВ. **Дорога ведёт к храму**

Леонид УСАЧ. **Вертинский в памяти моей**

А также - «Невечные мысли» Михаила ГЕНИНА,

дружеские шаржи Григория КРОШИНА, **книжная графика**

Анатолия КАЛАШНИКОВА, Светланы ЛУЦА и Евгения СИНИЛОВА